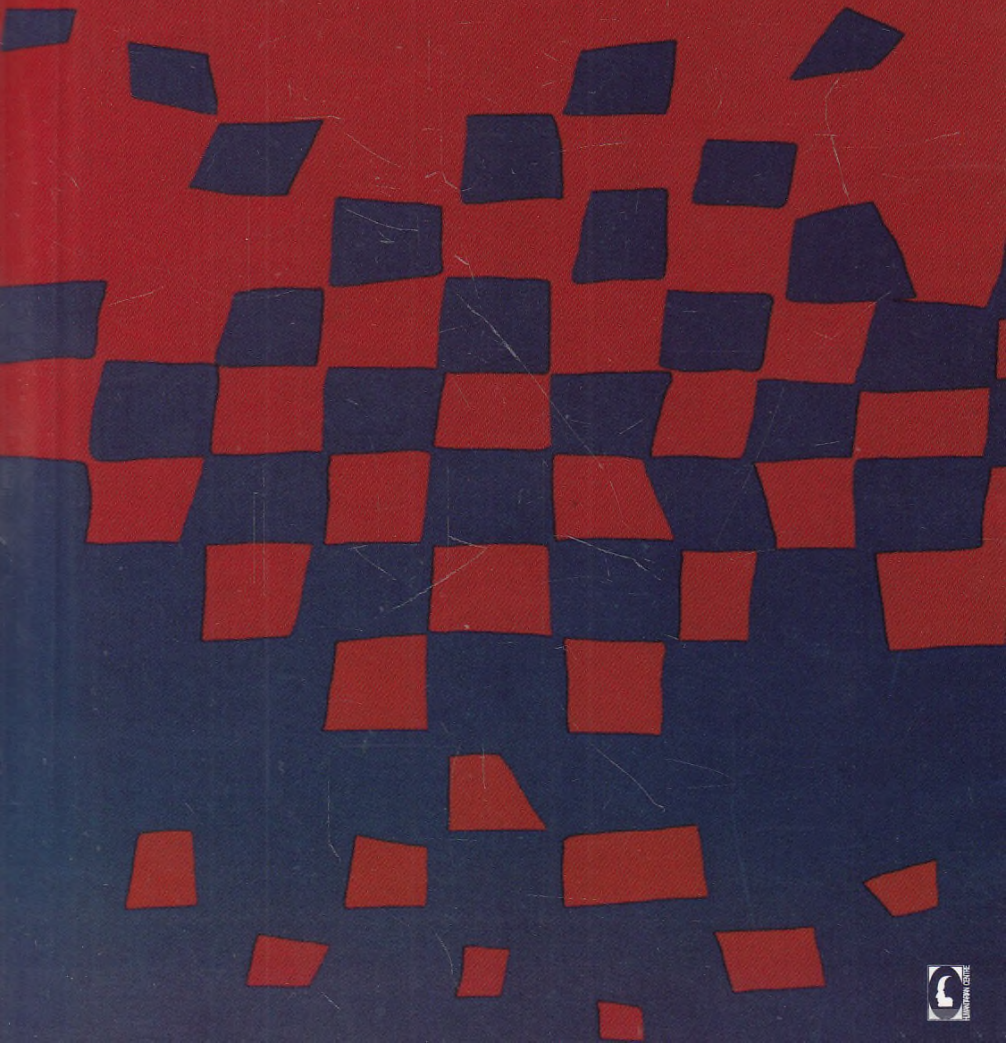
Кеннет Дж. Герген

Социальная конструкция в контексте



SOCIAL CONSTRUCTION IN CONTEXT

Social Construction in Context

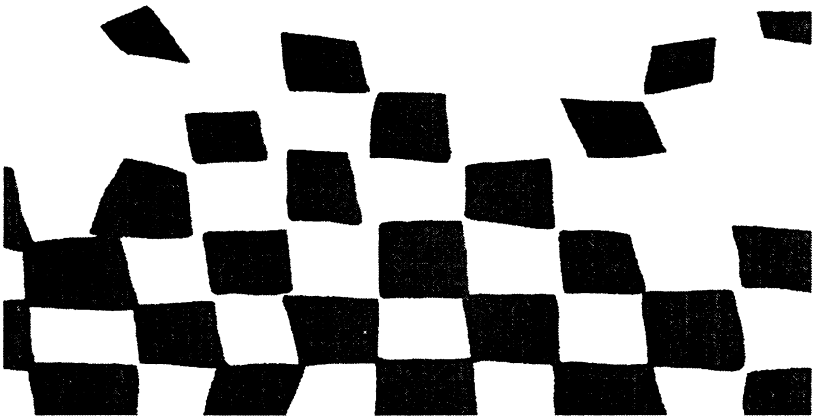
Kenneth J. Gergen



SAGE Publications
London • Thousand Oaks • New Delhi

Кеннет Дж. Герген

Социальная конструкция в контексте



Гуманитарный Центр
Харьков, 2016

УДК 316.2
ББК 60.5
Г 37

Авторы: К. Дж. Герген, Л. Вархус, С. Уортэм, Т. Тэтченкери.

Автор вступительной статьи: доктор психологических наук ***Анастасия Владимировна Микляева*** (РГПУ им. А. И. Герцена)

Редактор перевода: кандидат филологических наук ***Анна Аркадьевна Киселева*** (ИПП, г. Харьков)

К. Дж. Герген. Социальная конструкция в контексте / Пер. с англ. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр»/ А. А. Киселева, Ю. С. Вовк, 2016. – 328 с.

Мы рады представить читателю первый перевод на русский язык работы Кеннета Гергена – основоположника социально-конструкционистского подхода, который перевернул представление о науке и знании. Он поместил в контекст социального конструкционизма такие сферы, как психология, образование, организация и мораль. Автор расширяет сферу влияния социального конструкционизма, выходя за рамки традиционных социальных теорий. Такой подход открывает абсолютно новый взгляд на стратегию исследований и интерпретацию данных экспериментов.

Книга будет интересна специалистам в области социальных наук, политологам, психологам, культурологам, и всем, кто интересуется современными тенденциями в развитии общества.

We are glad to present the reader with the first Russian translation of a work by Kenneth J. Gergen, who is the pioneer of the social constructionist approach that up-ended the ideas of science and knowledge. He placed such domains as psychology, education, organization and ethics, within the context of social constructionism. Such an approach opens a whole new perspective on the strategy of research and interpretation of experiment data.

The book will be of interest for experts in social sciences, political analysts, psychologists, culture experts, and everyone interested in modern tendencies of the society's development.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству «Гуманитарный Центр».

English language edition published by SAGE Publications of London, Thousand Oaks, New Delhi and Singapore.

ISBN 0-7619-6545-9 (англ.)
ISBN 978-617-7022-62-5

© Kenneth J. Gergen, 2001
© «Гуманитарный центр», перевод, оформление, 2016

Содержание

Вступительная статья
Микляева А. В. Социальный конструкционизм: взгляд с позиции психолога 9
Предисловие 15
Введение 18
Цена процветающей парадигмы 19
Начиная работу с кон/текстом 22
Организация книги 23

Часть I. СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 27

1. КОНСТРУКЦИОНИЗМ И РЕАЛИЗМ: ЗАКОНОМЕРНАЯ ПРОБЛЕМА? 28

1.1. Конфликт в культуральном контексте 30
1.2. Противодействие реализму: отрицание материального тела 32
1.3. Пробуждая враждебность: радость от уничтожения 37
1.4. Реализм и конструкционизм как культуральные ресурсы 41
1.5. Вне дискуссий: навстречу противоречиям в практике 46
1.6. В заключение 53

2. МЕСТО ПСИХИКИ В СКОНСТРУИРОВАННОМ МИРЕ 54

2.1. Денатурализация и демократизация 58
2.2. Ревитализация и обогащение 65
2.3. Социальная реконструкция разума 72
2.4. В заключение 82

3. ГРАНИЦЫ ЧИСТОЙ КРИТИКИ 84

3.1. Завершение разговора 88
3.2. Критика как осуждение 92
3.3. Атомизация общества 95
3.4. Критика как тотализирующий импульс 97
3.5. Проблематика принципа 99
3.6. Критика как риторическая форма 102
3.7. Реляционные способы достижения критических целей 104
3.8. В заключение 112

4. КТО ГОВОРИТ, И КТО ОТВЕЧАЕТ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ? 114

4.1. Традиции рассказа 117
4.2. После дискурсивного поворота 128
4.3. Написание под вопросом 138
4.4. В заключение 141

5. ИСТОРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ: КОНФЛИКТ И ОБЩНОСТЬ 142

5.1. Эмпирические основания для взаимодействия психологии и истории 144
5.2. Историческое строение психики 151
5.3. Психологические дискурсы в историческом контексте 154
5.4. История и психология: навстречу полифоническому процветанию 160
5.5. В заключение 162

Часть II. СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 163

6. ТЕРАПИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 164

6.1. Социальная конструкция и терапевтическая позиция 165

6.2. Социальная конструкция и терапевтическая практика 176
6.3. Рефлексия и креативная задача 190

7. СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 193

7.1. Знание: экзогенная и эндогенная традиции 194
7.2. Гибель знания как индивидуальной собственности 196
7.3. Социальная конструкция знания 198
7.4. Разновидности конструкции 203
7.5. Образовательная политика и педагогическая практика 207
7.6. В заключение 225

8. ЭТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 227

8.1. Этическая задача глобализации 228
8.2. Проблематика принципов и санкций 230
8.3. Недостатки модернистской организации 232
8.4. Реляционный процесс и этика постмодернистского организовывания 237
8.5. Навстречу этически генеративной практике 241
8.6. В заключение 244

9. НАУКА ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ КОНТЕКСТЕ 245

9.1. Модернизм и формирование науки об организациях ..246
9.2. Постмодернистский поворот 254
9.3. Навстречу постмодернистской науке об организациях 260
9.4. В заключение: навстречу разговору-катализатору ..273

Часть III. СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 274

10. ОТ ИДЕНТИЧНОСТИ К РЕЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 275

10.1. Крах политики идентичности 277
10.2. Конструкционистский парадокс 281
10.3. Реляционный поворот в социальной конструкции 283
10.4. Навстречу реляционной политике 285
10.5. В заключение 296

11. ТЕХНОЛОГИИ, «Я» И МОРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 297

11.1. «Я»: гибель от рук технологий 298
11.2. Техно/сообщество: возрождение противостояния «каждый за себя» 308
11.3. Навстречу реляционному бытию 312
11.4. В заключение: поддерживая матрицу значения 316

Литература 318

Микляева А. В.

Социальный конструкционизм: взгляд с позиции психолога

Работы К. Гергена, одного из основоположников современного социального конструкционизма, переводятся на русский язык нечасто. По сути, можно вспомнить только изданный в Минске в 2003 году сборник статей Гергена под названием «Социальный конструкционизм: знание и практика»*, а также несколько статей в хрестоматиях по психологии и социологии**. Этот факт, а также досадный нюанс, связанный с разночтениями в транскрипции фамилии К. Гергена (в некоторых переводах предлагается другое написание его фамилии – «Джерджен») приводят к тому, что идеи социального конструкционизма не получили в современной отечественной психологии достаточного распространения.

В некоторых сферах психологического знания, в частности, в социальной психологии, положения социального конструкционизма применяются достаточно широко и используются для интерпретации разнообразных проблем взаимодействия людей: гендерных, поколенческих, этнических, социально-экономических, политических и т.д. Это неудивительно, потому что положения конструкционизма позволяют принципиально по-новому взглянуть на многие явления «социальной реальности», заставляя само словосочетание «социальная реальность» заключать в кавычки. Идея активного конструирования социальной общностью собственной специфичности оказалась эвристичной для объяснения широкого спектра интерсоциальных и интеркультуральных различий, многообразие которых фиксировалось в работах социальных психологов на протяжении всего периода существования эмпирических социально-

---

* *Джерджен К. Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика. Сб. статей. Минск: БГУ, 2003.*

** *Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия. М.: ИНИОН РАН, 1995.*

психологических исследований. Это способствовало настолько широкому распространению конструкционистских идей, что Е.В. Якимовой был сформулирован знаменитый тезис о вирусе постмодернизма, проникшем в социальную психологию в конце XX века*.

Социальный конструкционизм, бесспорно, является ярким отражением сути эпохи постмодернизма, коренным образом отличающейся от идеологии и методологии позитивизма, господствовавшей в науке на протяжении полутора веков. В рамках социального конструкционизма сформулирована принципиально новая парадигма построения знания. Классическое для позитивизма утверждение об объективной природе знаний, проявляющейся в том, что теории должны отражать реальный мир, соответствовать ему и объяснять обнаруженные закономерности, было подвергнуто критике (по крайней мере, применительно к знаниям о явлениях, имеющих социальную природу). Главенствующей идеей стало представление о знаниях как продуктах отношений между различными сообществами людей, имеющих конвенциональную природу.

Социальная психология в большей степени, чем другие области психологического знания, оказалась готовой к восприятию подобных идей, вероятно, в силу традиций противопоставления парадигме объяснения парадигмы понимания, заложенной В. Дильтеем еще в XIX веке**. Сегодня можно встретить большое количество социально-психологических исследований, в которых социально-конструкционистский подход выступает в качестве одного из теоретико-методологических оснований***,****,*****. Однако в других сферах психологического знания, в частности, в общей психологии, в силу принципиально иного методологического пути развития, идеи социального конструкционизма распространяются значительно медленнее, и применение со-

---

* *Gergen K.J. Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge (MA): HUPress, 1994.*

** *Шихирев П.Н. Современная социальная психология.– М.: изд-во ИП РАН, 1999.*

*** *Клецина И.С. Психология гендерных отношений.– СПб.: Алетейя, 2004.*

**** *Микляева А.В. Психология межвозрастных отношений.– М.: Свивт, 2014.*

***** *Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998.*

циально-конструкционистского подхода к интерпретации тех или иных явлений, традиционно относимых к предметному полю общей психологии, часто подвергается неоднозначной оценке.

В. Ф. Петренко в статье «Конструктивистская парадигма в психологической науке»* в качестве источника такого положения дел обозначает содержание базовой для общей психологии категории – категории отражения. Несмотря на не вызывающие сегодня в научном мире сомнений данные об активном характере сенсорно-перцептивных, мнемических, интеллектуальных, аффективных процессов, являющихся «инструментами» отражения, в коннотациях категории «отражение» сохраняется выраженный элемент реактивности психики. Он проявляется в том, что в качестве «информационного источника» отражения полагается «объективная реальность», фиксация элементов и закономерностей развития которой и рассматривается в качестве содержания психического отражения. В итоге, базовая категория общей психологии оказывается содержащей выраженное противоречие с исходным положением социального конструкционизма о том, что окружающий мир не является чем-то само собой разумеющимся, и любые продукты познания мира носят сугубо релятивный характер.

Очевидно, что подобного рода противоречие является весьма существенным и в силу этого препятствует распространению методологии социального конструкционизма в общепсихологических исследованиях. Тем не менее, представляется, что элементы социально-конструкционистской теории имеют выраженный эвристический потенциал и для общей психологии, особенно в тех ее областях, которые связаны с изучением личности.

Крайне интересным в этой связи является тот факт, что многие выдающиеся отечественные психологи, такие как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, в своих работах формулировали разнообразные идеи, которые с определенной долей условности можно назвать социально-конструкционистскими. Пальма первенства в этом вопросе, безусловно, принадлежит Л. С. Выготскому.

---

* *Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 3. С. 113–121.*

Среди наиболее «конструкционистских» идей Л. С. Выготского можно отметить, в первую очередь, идею опосредованности осознания субъектом действительности системой языковых средств, которые он использует в процессах єе отражения*. При этом языковые средства являются присвоенным содержанием общественного сознания. Эти положения, развитые впоследствии А. Н. Леонтьевым** и его последователями в исследованиях образа мира, напрямую коррелируют с идеями социальных конструктивистов о том, что знания об окружающей действительности конструируются людьми с использованием языковых возможностей тех общностей, к которым они принадлежат.

Другая «конструкционистская» идея Л. С. Выготского касается проблемы соотношения интер- и интрапсихического в контексте проблемы формирования высших психических функций. Положение о производности интрапсихического от символически опосредованных интерпсихических связей человека находит прямое отражение в утверждении конструкционистов о том, что процессы, изучаемые психологией, представляют собой различные формы координации взаимодействия между людьми, средством которой выступают языковые знаки***.

В работах С. Л. Рубинштейна также можно встретить ряд идей, корреспондирующих с идеями конструкционизма. Прежде всего, это разработка категории «бытие», которую С. Л. Рубинштейн предлагает как альтернативу понятию «объективная реальность»****. Бытие в качестве атрибута с необходимостью предполагает динамическую связь с существованием человека и его активностью в области познания своего бытия. Рассмотренный через призму категории бытия, мир, таким образом, может быть понят как определенным образом организованная система различных способов существования и самоосуществления субъектов. В такой трактовке прослеживается прямая аналогия с одним из основных положений социального конструкцио-

---

* *Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собрание сочинение. В 6 томах. Т. 3. М.: Педагогика, 1983.*

** *Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во МГУ, 1981.*

*** *Gergen K.J. Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge (MA): HUPress, 1994.*

**** *Рубинштейн С.Л. Человек и мир.– М.: Наука, 1997.*

низма – идеей о возможности существования бесконечного множества способов представлений о действительности и отсутствии единого эталона для оценки истинности или ложности каждого из них.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в отечественной психологии существуют весьма основательные предпосылки для расширения интереса к теоретико-методологическим возможностям социального конструкционизма за пределы преимущественно социально-психологического знания на всю проблематику, сопряженную с факторами социальности и субъектности психического потенциала человека. Психология в этих вопросах не в полной мере может пользоваться исключительно теми схемами познания, которые опираются на позитивистские положения и широко используются в естественных науках, в силу того, что многие психологические явления не отражают стабильные во времени универсальные закономерности, а, напротив, являются изменчивыми в культурно-историческом контексте феноменами. Это со всей очевидностью проявляется, например, при анализе количественных и качественных критериев психической и психологической нормы, определении границ девиации и патологии, которые, как сегодня хорошо известно, существенным образом варьируются в зависимости от культурно-исторического контекста их реализации.

Констатируемое культурно-историческое разнообразие подходов к разграничению нормы, девиации и патологии интересно не только с позиций применения положений социального конструкционизма для интерпретации природы отдельных явлений психического. Оно дает основания для рефлексии психологией как целостной областью знания своей роли в формировании современной научной картины мира. Вариативность психической и психологической нормы, с одной стороны, и его перспективность, с другой, позволяет увидеть, что категориальный аппарат психологической науки не только и не столько служит для описания некой «объективно существующей психической реальности», но, опосредуя осознание мира, по принципу «кольцевой каузальности»* конструирует эту самую «ре-

* *Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 3. С. 113–121.*

альность». В пределе оказывается, что и сама психика, выступающая сегодня предметом изучения психологической науки, может быть понята как социальный конструкт, содержание которого допускает самые разнообразные трактовки, что мы и наблюдаем сегодня в появлении разнообразных концепций психической организации, каждая из которых имеет полное право на существование в контексте характерного для постмодернизма «плюрализма мнений», отражающих с необходимостью различающиеся точки зрения на один и тот же предмет.

Таким образом, идеи социального конструкционизма имеют для современной психологии двойное значение. С одной стороны, социальный конструкционизм, выступая на уровне *методологии психологической науки*, позволяет дать принципиально новые толкования разнообразным психологическим феноменам, расширяя тем самым интерпретационный контекст современной психологии. С другой стороны, положения социального конструкционизма, реализуемые на *метанаучном методологическом уровне*, дают основания для рефлексии психологией своей роли в формировании современных представлений о мире и человеке, а также своей ответственности за возможные социальные изменения, в которых будут находить отражение возникающие теории и концепции. Все сказанное позволяет надеяться на высокую востребованность данного издания в научной психологической среде, что позволит социальному конструкционизму получить в психологии такое же широкое распространение, которое он имеет сегодня в смежных областях науки, прежде всего, социологии и философии.

А.В. Микляева
Доктор психологических наук,
доцент кафедры психологии человека
РГПУ им. Герцена

ПОСВЯЩЕНИЕ

Моим компаньонам в диалоге, которые неустанно призывали меня выйти за рамки: Курту Бэку, Майклу Биллигу, Джерому Брунеру, Мэри Герген, Гарольду Гулишиану, Рому Арре, Эдварду Сэмпсону и Джону Шоттеру.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Более 15 лет назад мы с Джоном Шоттером начали обсуждать необходимость интеллектуальной силы, которая связала бы полные огульного недовольства обсуждения в социальных науках. Могли ли мы определить тему, которая придала бы общую форму бесконечным поискам альтернатив вездесущей натурализации в гуманитарных науках? Среди прочих имели место любопытнейшие разработки в этнометодологии, феминистской социальной науке, этогенической психологии, теории навешивания ярлыков, символической антропологии, критической теории, диалектической психологии, теории власти/знания и исторической психологии. И казалось, что эти разработки были тесно связаны с крахом фундаменталистской науки и с ее заменой на историческую и социальную интерпретацию знаний. Как минимум один способ объединить все эти разнообразные движения вместе представлен понятием «социальной конструкции». Хотя этот термин позаимствовали из анналов социологии знания, сегодня он встречается во множестве дискуссий в целом ряде дисциплин. Самое главное, поскольку генезис знания можно проследить вплоть до общинного строя, науки больше не являются судьями реальности. Ученые больше не могут сбросить с себя ответственность перед человечеством за притязание на знания, попросту требуемые тем, что существует. После того, как знания денатурализируют и заново приобщают к культуре таким

образом, огромные пласты информации, которую считали самой собой разумеющейся – накапливаемой как минимум со времен эпохи Просвещения – становятся открыты для переоценки. Последствия казались грандиозными.

Мы с Джоном поделились надеждами на способствование диалогу и дальнейшему развитию конструкционистских изысканий с редакторами издательства *Sage* в Лондоне. Бурная смесь энтузиазма и мудрых советов, с которыми отреагировал директор издательства Зийад Марар, оказали значительное влияние на последовавшие за этим события: появление серии книг Sage, *Исследования в социальной конструкции* (*Inquiries in Social Construction*). В последующие годы мы с Джоном – позднее к нам присоединилась Сью Уиддикомб – помогали невероятно талантливой группе ученых из различных гуманитарных дисциплин в создании 21 тома работ конструктивистского направления.*

Мы с восторгом вспоминаем эти предложения – невероятно богатые, любопытные и часто смелые. В то же время, данная книга послужит указателем: она представляет собой заключительную работу в этой серии. Дело вовсе не в том, что интерес к этой теме утих. Скорее, она выступает в роли указателя потому, что диалоги о социальной конструкции стали настолько распространенными и разно-

---

* *The Social Construction of Lesbianism (1987) Celia Kitzinger*
Texts of Identity (1988) John Shotter & Kenneth Gergen (Eds)
Rhetoric in the Human Sciences (1988) Herbert Simons (Ed.)
Collective Remembering (1990) David Middleton & Derek Edwards (Eds)
Everyday Understanding (1990) Gun Semin & Kenneth Gergen, K (Eds)
Research and Reflexivity (1991) Fred Steier F (Ed.)
Constructing Knowledge (1991) Lorraine Nencel & Peter Pels (Eds)
Therapy as Social Construction (1992) Sheila McNamee & Kenneth Gergen (Eds)
Discursive Psychology (1992) Derek Edwards & Jonathan Potter
Psychology & Postmodernism (1992) Steiner Kvale (Ed.)
Constructing the Social (1993) Theodore Sarbin & John Kitsuse (Eds)
Conversational Realities (1993) John Shotter
Power and Gender (1994) Lorraine Radtke & Hendrikus Stam H (Eds)
After Postmodernism (1994) Herbert Simons H & Michael Billig (Eds)
The Social Self (1995) David Bakhurst & Christine Sypnowich C (Eds)
Reconstructing the Psychological Subject (1997) Betty Bayer & John Shotter (Eds)
Re-imagining Therapy (1997) Eero Riikonen & Gregory Smith
Constructing the Mediated Self (1996) Deborah Grodin & Thomas Lindlof (Eds)
Pathology and the Postmodern (1999) Dwight Fee (Ed.)
Social Constructionism, Discourse & Realism (1998) Ian Parker (Ed.)
The Social Construction of Anorexia Nervosa (1999) Julia Hepworth

образными, что концепция указанной мной серии больше не актуальна. Было бы в корне неверно предполагать, что существует конкретная серия книг, которая полностью излагает суть современных исследований. В определенных областях научного мира конструкционистская восприимчивость уже укоренилась настолько глубоко, что больше не требует конкретного обозначения. Серии удалось расширить всеобщее сознание, но на данный момент сознание требует большего, чем подобная попытка.

Я надеюсь, что эта книга послужит достойным завершением серии. В значительной степени содержание этих глав провоцировалось и стимулировалось такими предложениями. В этом смысле, данную работу можно рассматривать как дань авторам и редакторам, с которыми мы работали – это и дополнение, и комплимент. В то же время, я обязан этой книгой гораздо большему количеству людей. На этих страницах звучит столько голосов – далеких и близких, из прошлого и из настоящего – что невозможно перечислить их все. И потому в заключение я выскажу благодарность лишь одному человеку, и эта благодарность символизирует еще больший мой долг. Спасибо Синтии Холт, моей помощнице, чье плодотворное участие на каждом этапе проекта было незаменимым для успешного его завершения. Спасибо за то, что ты присоединилась ко мне в этой работе.

ВВЕДЕНИЕ

Рассуждения о социальной конструкции реального и хорошего захлестнули множество научных и гуманитарных дисциплин. Они привели к глубокому противоречию, связанному с такими выверенными временем понятиями, как истина, объективность, знание, разум, власть и прогресс. Они разожгли то, что мы теперь считаем «культуральными войнами» и «научными войнами». Как считают многие, мы больше не можем вернуться к удобным идеям традиционной научной работы и к ряду связанных с ней институтов – например, к ментальному здоровью, образованию, системе правосудия, организационной жизни и политике. Волнение и перемены наблюдаются повсюду. Почти двадцать лет я был глубоко увлечен этими рассуждениями. Я критически взглянул на многое из того, что когда-то ценил, начал поиски синтеза развивающихся диалогов, и принялся продвигаться к представлению многообещающих альтернатив. Большая часть проделанной работы изложена в двух моих предыдущих работах, *Реальности и отношения* (*Realities and Relationships*) и *Введение в социальную конструкцию* (*An Invitation to Social Construction*).

В основном благодаря моей погруженности в эту работу меня пригласили в ряд новых сфер обсуждения. И мои сторонники, и противники побуждали меня расширить границы мышления и выйти за пределы отдельных дисциплин, преодолеть трудности социальной практики и высказаться на разнообразные культуральные темы. Я сталкивался с разными концептуальными, критическими и практическими задачами, и меня просили исследовать потенциал и пределы конструкционистской мысли, в то время как она осваивает новые территории. В определенных отношениях это были нелегкие времена. Гораздо удобнее придерживаться одной-единственной траектории, в которой излюбленные идеи продолжают соединяться в новых комбинациях и приобретают удовлетворительные формы. Также довольно удобно продолжать старые битвы против устаревшего позитивизма, будучи уверенным в своих интеллектуальных и моральных основаниях. Но, к сожалению, комфорт

и упадок тесно взаимосвязаны – они приводят к бесконечному повторению одного и того же. Если я учитываю всю критику, принимаю вызовы, принимаю приглашения – я занимаю шаткую позицию. И все же я пришел к выводу, что в таких головокружительных моментах скрываются бесценные возможности. Следовательно, в данной книге я бы хотел поделиться некоторыми итогами этих разнообразных вызовов, в частности – в отношении с высшими учебными заведениями, социальной практикой и культуральной жизнью.

Цена процветающей парадигмы

Несомненно, в этих эссе рассматриваются кардинально разные вопросы. Однако в то же самое время в книге присутствует основополагающее единство, и в этом единстве и появилось название работы: *Социальная конструкция в контексте*. Необходимо обладать определенными предварительными данными, чтобы оценить то, что стоит на кону. Вначале диалоги о социальной конструкции основываются на многочисленных источниках из целого ряда наук и гуманитарных областей – социологии, литературоведения, истории, антропологии, феминистских исследований, психологии, коммуникации, культурологии и так далее. В моем представлении, эти диалоги в основном функционируют тремя важными способами – как *метатеория*, как *социальная теория* и как *социальная практика*. Как метатеория (или теория о теории), социальный конструкционизм не только бросает вызов эмпирическому изложению знаний, но и является препятствием для всех первичных философий знания. Для конструкциониста все заявления о знании, правде, объективности или инсайте уходят корнями в сообщества формирования значения – включая заявления самих конструкционистов. Конструкционизм в этом смысле связан не с истиной вне сообщества, а с тем, что можно назвать предопределенными способами понимать. На уровне метатеории, бо́льшая часть конструкционистского научного сообщества была настроена критически. Авторитетные заявления о природе мира сейчас повсеместно ставятся под сомнение; примеры «социальной

конструкции чего-либо» повсеместно подчеркивают культуральное и историческое значение того, что иначе считалось бы само собой разумеющимся. Однако постепенно формируются возможности «положительной программы» социальной конструкционистской науки.

На этом уровне метатеории от обстоятельного исследования не требуется ничего конкретного. Метатеория не содержит никаких конкретных требований к теории, методу или практике. Скорее, конструкционизм задает ряд новых вопросов – часто оценочных, политических или прагматических – в отношении выбора, совершаемого в этих сферах. Он также предлагает кардинально расширить то, что можно считать подлинным исследованием и проявлением. Однако, в то же время, многие социальные ученые были вынуждены расширить область социального конструкционизма как эмпирически жизнеспособной теории социальной жизни. Если возможно убедительно обосновать социальное строение научного знания на метатеоретическом уровне, тогда точно так же можно обосновать и генерирование знания во всех областях – в государстве, в системе правосудия, в мире бизнеса, медицине, религии, сообществах, семье, терапии и так далее. Более того, такие предположения можно продолжить, чтобы объяснить культуральный процесс в общем, характер «рационального», генезис памяти, циркуляцию значения, природу социальной власти и так далее. Описательной и пояснительной литературы много, и ее становится все больше.

Наконец, многие ученые и эмпирики основываются на конструкционистских идеях, чтобы создать новые формы практики. Например, в социальных науках под влиянием оказываются и фокус исследования, и методологические инструменты. Постоянно растущие исследования – например, исследования дискурсивных практик, риторической эффективности, популярной культуры, тонкостей идеологии, колониального влияния и медиа-репрезентаций – склонны демонстрировать конструкционистские предположения. Более того, конструкционистские диалоги инициируют стремительное развитие методологии; то, что сегодня называют «революцией в качественном исследовании», можно проследить напрямую к конструкционистским на-

правлениям мысли. Примерами этому являются нарративные, коллаборативные, автоэтнографические методы и методы перформанса*. Эти разработки в научном мире происходят параллельно со значительными трансформациями в практике за пределами академического мира. Стоит обратить внимание на разработки в таких областях, как организационное развитие, семейная терапия, социальная работа, консультирование, образование и медиация. По мере того, как разрастаются практики, акцентирующие диалог, совместное конструирование, сотрудничество, построение сообщества, нарративное и позитивное мышление, они также обыкновенно несут в себе и конструкционистские предположения.

Я считаю, что такие разработки в метатеории, теории и практике – невероятно захватывающие и достойны постоянного внимания. В то же время, однако, эти разработки имеют свою цену – цену растущей изоляции. Эти разнообразные диалоги и практики привели конструкционизм к продуктивному самосознанию, но при этом они стремились создать конструкционизм как самостоятельную область. Человек выходит на арену [конструкционизма] и находит ее настолько увлекательной и продуктивной, что она становится отдельным миром. Эта тенденция к изоляции также несет в себе элемент самодовольства – будто вклады этой области концептуально, идеологически и практически лучше всего, что было до нее. Медленно растет сдерживающий «щит» – вероятно, крайне важный для развития конструкционизма – что в итоге приводит к чрезмерности, жесткости и апатии.

Таким образом, в этом сборнике эссе я пытаюсь поддержать связь конструкционизма с контекстом – с теми культуральными текстами, из которых конструкционизм возник, но которые затем выстроили фундамент различий, откуда конструкционизм и позаимствовал свою идентичность и значение. Сегодня этот кон/текст в основном состоит из областей значения и практик, которые либо существуют независимо от конструкционизма, либо активно противостоят конструкционистским начинаниям. В первом случае

* *Методы перформанса – использование действия, танца, публичной акции, музыки – в качестве средства осуществления профессиональной работы (прим. пер.)*

большая часть населения планеты продолжает жить, не осознавая процесса конструирования, а конструкционисты не интересуются тем, что находится «за рамками диалога». Многие ученые вне диалога действительно начали считать конструкционистские идеи опасными. Многие полагают, что конструкционизм подрывает гарантии для притязаний на истину, очевидно, считая науку равной мифологии. Отсюда возникают «научные войны». Другие считают моральный и политический релятивизм конструкционизма скучным, если не предосудительным. И все же другие считают, что конструкционизм слишком увлекся критикой, и что его основной вклад в социальное понимание слишком узок. Следовательно, основной задачей большей части этой работы является преодоление этого и других мостов, соединяющих конструкционизм с контекстом.

Начиная работу с кон/текстом

Работая над этой книгой, я осознал, что мое решение задачи с преодолением границ контекста принимает три основных, но связанных между собой формы. Во-первых, есть попытка развить уместность конструкционистских идей в различных контекстуальных областях. В частности, я выбрал два академических направления – историческую психологию и организационную науку – и три практических области – терапию, образование и организационную этику. Эти разработки едва ли монологичны; цель не заключается в том, чтобы расширить до бесконечности область конструкционистской мысли. Скорее, я надеюсь расширить диалоги таким образом, чтобы открыть новые пути и привлечь новые практики. Однако меня также интересуют различные группы, часто противостоящие конструкционизму: реалисты, этические фундаменталисты и социальные активисты. Можно ли обратиться к этим голосам так, чтобы враждебность сменилась продуктивным диалогом? Этот вопрос приводит нас ко второму способу преодоления границ контекста.

В этом случае я обращаюсь к определенной критической саморефлексии. Я чувствую, что конструкционистские аргументы (даже мои собственные) часто служили ме-

чом, разящим эмпирические исследования, этический фундаментализм, реализм и так далее. С моей точки зрения, в конструкционизме нет таких нигилистических стремлений. Слишком часто аргументы были притянуты за уши, недостаточно внимания уделялось частично совпадающим предположениям, а преимущества этих в остальном «несостоятельных» традиций упускались. Таким образом, в нескольких главах – в особенности в главах о реализме, границах чистой критики и организационной науке – я пытаюсь критически рассуждать о конструкционистских начинаниях. Может быть, такие размышления могут побудить противников освободить голоса сомнения, свойственные и им тоже. Конечно, если мы будем говорить на множестве языков, мы найдем определенные области, в которых может возникнуть продуктивный разговор, а доминирующая враждебность ослабнет.

Наконец, попытка заменить пустоту отчуждения взаимообогащающими потенциалами принимает форму обстоятельной концептуализации и практики. Здесь я не столько пытаюсь начать диалог путем рассуждений и саморефлексии, сколько создать ресурсы, которые могут оказаться полезными и для не-конструкционистов. Не обязательно быть религиозным, чтобы оценить красоту средневекового собора, или вырасти в Японии, чтобы любить суши. Точно так же, если конструкционистские диалоги пробуждают занимательные идеи и полезные практики, они могут использоваться и другими. И снова границы начинают стираться. В главах о терапевтических и образовательных практиках я особенно внимательно рассматриваю эту возможность, а в завершающих главах – политику идентичности и технологию морального «Я», активно обозначая способы понимания и практики, применимые во множестве областей.

Организация книги

Вероятно, архетип Троицы находится на подъеме, поскольку и я тоже решил разбить книгу на три раздела. В первых пяти главах я рассматриваю конструкционистские идеи в контексте постоянных рассуждений о социальном научном знании. В разделе «Социальная конструкция

и гуманитарные науки» я поднимаю ряд критических вопросов о конструкционистских идеях, которые пересекаются в этой интеллектуальной области. Здесь я в первую очередь сосредоточиваюсь на основных моментах напряжения, которые встречаются, когда в области исследования возникают конструкционистские идеи. В 1 главе я рассматриваю нынешнее противостояние между конструкционистсткими учеными и реалистами. Здесь меня интересуют не только отношения между конструкционизмом и эмпирической традицией; меня особенно интересуют «левые реалисты», которые могли бы присоединиться к конструкционистам в критике традиционного эмпиризма, но которые сопротивляются конструкционистскому релятивизму в политических вопросах. Главный вопрос заключается в том, стоит ли поддерживать такие противостояния, или же существуют более продуктивные возможности? Похожие вопросы мы рассмотрим и во 2 главе, где я пытаюсь выйти за рамки науки деконструкции в психологии. Сегодня существует множество научных книг, которые освещают социально сконструированный характер психологических концепций – как в науке, так и в повседневной жизни. Предвещает ли вся эта литература конец психологической науке, или же существуют более многообещающие альтернативы? В 3 главе я перехожу от этих конкретных исследований к более общему интересу к функции критики. Здесь я исследую границы конструкционистской критики в общепринятой практике, и открываю дискуссию для более коллаборативных способов рассуждения.

Такие размышления о критике создают основу для двух последних глав в этом разделе, в которых я пытаюсь обнаружить различные последствия предыдущего анализа. В 4 главе я исследую формы голоса, которые используются в гуманитарных письменных трудах – как в традиционных, так и в экспериментальных. Таким образом, анализ приравнивает риторику романтизма, модернизма и постмодернизма в науках и позволяет нам поднимать вопросы об их ситуативной пользе. Наконец, в 5 главе я исследую отношения между историческими и психологическими учеными – как с позиции их традиционного противостояния, так и с позиции современной конструкционистской науки. Я призываю

[экспертов в области психологии] развивать позитивные программы сотрудничества между дисциплинами.

Во II части, «Социальная конструкция и общественная практика», фокус смещается с академических вопросов на социальную практику. В 6 главе ко мне присоединяется *Лиза Вархус*, используя конструкционистские идеи для размышления над разнообразнейшими инициативами в терапевтическом мире. Мы рассмотрим, как эти инициативы направлены на то, чтобы постичь терапию как процесс изменения, преобразования значений. Здесь конструкционизм не только служит упорядочивающим и интегрирующим механизмом, но и средством поддержки развития новых практик. В 7 главе ко мне присоединяется специалист в области образования *Стэнтон Уортэм*, и вместе мы пытаемся добиться такой же цели, как и с Лизой Вархус, но на этот раз – в области развития в образовании. В этой главе также выходит на первый план интерес к реляционной теории и практике, который проходит через всю эту книгу. Две последние главы в этом разделе представляют жизнь в организации. В 8 главе я принимаю вызов организационной этики и глубокой обеспокоенности этической бесчувственностью глобальной организации. Хотя глобализм обыкновенно считается угрозой человеческому благосостоянию, я пытаюсь определить способы, которыми реляционная ориентация на организационную жизнь может даже подтолкнуть глобальную организацию к позиции морального лидерства. В 9 главе ко мне присоединяется *Тоджо Тэтченкери* для изучения того, как можно усовершенствовать практики организационной науки с помощью постмодернистской мысли, воплощенной в конструкционизме. Подобно ситуации с терапией и образованием, мы используем возникающие практики, чтобы оживить потенциал.

В III части, «Социальная конструкция и культуральный контекст», я обращаюсь к вопросам широкой культуральной значимости. Я пытаюсь использовать конструкционистские идеи для [целей] социального понимания – чтобы заставить критический анализ поддерживать альтернативные варианты будущего, по возможности ценить их, и продуктивно работать ради них. Меня особенно интересуют две области – политика идентичности и коммуникацион-

ные технологии. В США движение политики идентичности, возможно, представляет наиболее значительные изменения в политических закономерностях последних тридцати лет. Отказываясь от традиционной двухпартийной системы, политическая принадлежность начинает зависеть от социальной идентичности человека – будь он афроамериканцем, женщиной, геем, латиноамериканцем и так далее. В 10 главе я рассматриваю близость и напряженность между этим движением и социальным конструкционизмом, чтобы выйти за пределы политики идентичности к более жизнеспособным формам политической включенности. В последней главе я рассматриваю последствия развития коммуникационных технологий двадцатого века для поддержки морального порядка. С моей точки зрения, такие технологии угрожают всякой надежде основать моральную деятельность на индивидуальных разумах или социальных группах. Как и в предыдущей главе, я пытаюсь найти трансцендентный переход к реляционному действию.

В широком смысле, в последних эссе я пытаюсь внедрить в практику некоторые аргументы, развитые в предыдущих главах – особенно в I части. Цель этих исследований – не «сказать правду» о социальной жизни и не выстроить некий новый фундамент смысла или ценности. Скорее, я надеюсь начать диалог о нашем нынешнем состоянии, сгенерировать дискурсивные ресурсы, с помощью которых мы можем критически и оценивающе рассуждать и открывать пространство для новых форм скоординированной деятельности.

ЧАСТЬ I

СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

1

КОНСТРУКЦИОНИЗМ И РЕАЛИЗМ: ЗАКОНОМЕРНАЯ ПРОБЛЕМА?

> Чтобы привести в действие политику преобразований, нужно правильно определить источник проблемы – но, с релятивистской точки зрения, не бывает такой вещи, как правильный анализ.[103]

> Святые собираются в реальных местах, испытывая свою прочную кожу на остром лезвии совести... их стенания доносятся до нас.[5]

В определенном важном смысле драматизм социального конструкционизма родился из противостояния. Изначально конструкционистские работы черпали свою энергию из многосторонней критики давней традиции позитивистской/эмпирической науки. Очень долго царило убеждение, что научные претензии на знание не имели никакого отношения к культуре, истории и идеологии – что эмпирическая наука действительно была высшим достижением человека в попытках постичь природу и себя самого. Конструкционистская критика возникла из истории науки и социологии знания, стала обширнее и глубже благодаря вкладу критической теории, феминизма, теории литературы, риторики и так далее. После этого она охватила и другие дисциплины, в результате превратившись в настоящий вызов всему, что считается приемлемым. Сомнению подверглась способность науки генерировать трансцендентальные истины – превосходящие границы истории и культуры – или «разобрать природу по косточкам» под напором скрупулезной методологии. Отсюда и возник драматизм – часто называемый «научными войнами» – который все больше

охватывает научный мир. Конструкционисты считают, что любые претензии на «реальное» уходят корнями в процессы взаимоотношений, а потому не существует неких внекультуральных способов раз и навсегда определить превосходство одной конструкции реального над другой. Реализм отступает, и реакция [реалистов] на это оказалась агрессивной и язвительной.

Конструкционистская критика завоевала невероятный интерес многих групп людей, чьи голоса и мнения игнорировала наука, и всех тех, чьи попытки добиться социального равенства и справедливости каким-либо образом пресекли существующие «обладатели» истины. Конструкционистские аргументы не только выровняли счет в игре этих противников, но и открыли путь для масштабной политической и моральной критики. Конструкционизм и культуральная критика шли рука об руку, о чем я и расскажу подробно в последующих главах. Однако постепенно активные сторонники социальных перемен начали понимать, что конструкционистский напор обернулся против них самих. Не существовало критики структуры власти, угнетения или несправедливости, которая бы могла заявить о своем праве на истину за пределами конструкции – ведь такая позиция сама по себе не была «одним из многих способов понимания», который противостоял бы «правильному способу». Произошел новый раскол, в котором критики культуры посчитали конструкционистские идеи непригодными для своих целей – недостаточно ревностными, уверенными или придирчивыми. Хотя «жертвы» критиков культуры существуют в сконструированных мирах, эти критики не захотели отказываться от привилегии права на истину. Таким образом, конструкционистские идеи подверглись атаке как «справа», так и «слева» в сопротивлении, в котором обе стороны сохранили верность реализму[103;412].

Конфликт становился все напряженнее: во-первых, многие сторонники социальных конструкционистских идей пожелали задокументировать свои выводы. Например, исследования основывались на процессах, происходящих во время разговора, а также на медиа и конструкции идентичности. И такие исследования часто отличаются приверженностью именно тем утверждениям об «истине через

метод», которые сам конструкционизм с таким трудом пытался опровергнуть. Если разговор – это основной способ, с помощью которого мы закрепляем истинное значение, то конструкционисты спрашивают, как можно «правильно понять» природу дискурса или разговора? Более того, гуманисты, феноменологи и когнитивные конструктивисты, которые сначала приветствовали конструкционистский акцент на создании значения и его критический вызов позитивистской гегемонии, вскоре обнаружили, что многие их собственные иконы – интенциональность, агентность, опыт и когнитивные интерпретации – подверглись сомнению. Упорно считая материальный мир конструкцией, все эти эксперты продолжали основываться на реальностях [индивидуального] разума в своих суждениях. В итоге отношение к конструкционизму стало менее рьяным[181;360]. На самом деле, научная атмосфера пронизана конфликтами – реализм и конструкционизм конфликтуют во всех отношениях. И как же, в таком случае, двигаться дальше?

1.1. Конфликт в культуральном контексте

Такую форму научного конфликта между реализмом и конструкционизмом полезно поместить в более широкий контекст общества. Концептуальные конфликты на самом деле свойственны научному миру, и, в определенных отношениях, они похожи на размолвки в обществе в целом – например, между политическими партиями, религиозными группами, профсоюзами работников и руководством и так далее. Буквально во всех случаях мы сталкиваемся с различными восприятиями реального, рационального и хорошего, а также с преданностью собственным паттернам действий и особой организации данных. Как отмечали многие комментаторы, конфликт в обществе становится чертой, которая все больше преобладает в современном культуральном ландшафте. Мы все чаще сталкиваемся с расколами не только на основе расовых, экономических и гендерных различий, но и на основе вопросов сексуальных предпочтений, окружающей среды, абортов, порнографии, религии, социальной справедливости и так далее. В другой своей работе[196] я попытался связать этот взрыв стихийного

активизма с возникающими технологиями коммуникации. Такие технологии позволяют людям с общими взглядами находить своих единомышленников, заявлять о групповом сознании и составлять планы действий, чтобы добиться перемен. Благодаря этим же технологиям мы сегодня становимся свидетелями растущего изобилия субкультур, которые формируются на основе общих ценностей. Я вернусь к этой растущей области различий в финальной главе.

В этой книге я надеюсь рассмотреть противостояние реализма/конструкционизма в более широком контексте социального конфликта, считая, что нынешний конфликт неразрывно соединен с обществом, и потому связан с его будущим. Как нам идти дальше, если мы развязали настоящую войну в области науки? Есть ли что-то в нашем поведении в этой ситуации, что имело бы более мощный потенциал для общества? Много ли открытий можно сделать на основе нашего взаимодействия – открытий, которые могли бы привести к более масштабным выводам? Работая над этими вопросами, я основываюсь на социальных конструкционистских диалогах. Я в особенности надеюсь отойти от воинственных и всепоглощающих споров, которые разделили реалистов и конструкционистов, и изучить наши общие действия сами по себе. С более общей исторической или культуральной точки зрения, почему мы так упрямимся, *что* мы ставим на кон, и какие альтернативы существуют или могут быть созданы?

Данный анализ состоит из четырех частей. Сначала я обращаюсь к противостоянию конструкционизма и реализма, к вопросу о том, почему стоит избегать радикальных притязаний на реальное. Затем я рассматриваю возможности решения конфликта реализма/конструктивизма с помощью аргументированного рассуждения. Здесь мой вывод неутешителен. В попытке продвинуться вперед я поднимаю вопросы о способах, которыми мы, как ученые и практики, помещаем себя в конкурирующие дискурсы реализма и конструкционизма. Что значит применение этих дискурсов в наших разнообразных отношениях? Рассматривая эти вопросы, мы начинаем определять место для примирения, которое мои ирландские коллеги называют «Четвертой провинцией» – нейтральной территорией

за пределами конфликта. Наконец, учитывая возможность смягчить различия, я обращаюсь к более общим значениям и способам их применения.

1.2. Противодействие реализму: отрицание материального тела

В качестве краткого обзора более общего анализа конфликта полезно обратиться к тем коллегам, которые присоединились к критике традиционной науки – часто прибегая к конструкционистским аргументам – но которые хотят при этом удержать остатки несконструированного мира. Конструкционистов часто критикуют за то, что они «выплескивают ребенка вместе с грязной водой» – слишком опрометчиво судят о деталях, забывая за ними о главном,– и просят придерживаться своей точки зрения в некоторых вопросах. Я во многом поддерживаю такую реакцию, но в то же время во многом и не согласен с ней. Именно это противостояние заслуживает внимания в первую очередь. Возможно, две области реального, которые мои коллеги принимают больше всего,– это *власть* и *тело*; власть особенно важна для культуральных критиков, а *тело* – для профессий в области здравоохранения. Я рассмотрю вопросы власти более подробно в 7 главе. А сейчас давайте поближе рассмотрим вопрос «материального воплощения». Статья Джона Ланнаманна[316] является удобной текстуальной основой для дискуссии. Обращаясь преимущественно к аудитории терапевтов, Ланнаманн начинает со своей личной истории: его родители были последователями учения «Христианская наука» и не верили в современную медицину. В результате Ланнаманн пережил бессмысленную смерть своего брата. Отрицание телесной реальности последователями «Христианской науки» и, как следствие, агония, напоминали Ланнаманну условия, к которым привел социальный конструкционизм. Конструкционисты тоже отрицают реальность тела за пределами дискурса. Ланнаманн заявляет, что именно материальное тело представляет собой «границы» конструкции, реальность, которая обязательно должна наполнять смыслом и корректировать все слишком «игривые» странствования конструкциони-

ста. Пренебрегать материальным телом – значит повторять близорукость «Христианской науки», в которой за мифом о духе скрывается реальность болезни и смерти.

Конечно, это серьезное обвинение, которое я искренне поддерживаю. Разумеется, я живу в том же мире, что и Ланнаманн; мы оба очень серьезно воспринимаем тело, болезнь и смерть. Когда мои дети были физически больны, я обратился к специалисту медицины, а не к духовному наставнику. И я с готовностью буду говорить о своих болях и удовольствиях, ходить на ежегодные медицинские осмотры и жертвовать деньги на помощь голодающим и одежду – Пурпурному сердцу*. Однако конструкционизм становится незаменимым инструментом именно в этом моменте «твердого знания», в котором тело – это только то, чем оно является, когда мы хорошо знаем, что испытываем, и можем четко различить здоровье и болезнь. Конструкционистская ясность открывает нам великолепную возможность для размышления, переосмысления и возможной реконструкции. Здесь содержится огромный потенциал, который позволяет нам освободиться, выйти за пределы само собой разумеющегося и вырваться из удушающей хватки банальности. И здесь же скрывается возможность нового будущего, потому что нам предлагают рассмотреть возможности реконструкции. Нас побуждают исследовать альтернативные взгляды на то, «в чем же дело», и определить значения, которые позволяют нам двигаться дальше более адекватно. Для тех, кто живет в сложных социальных условиях, потенциал креативной реконструкции – это безграничное сокровище; для унылых, измученных, безнадежных жизней такие источники могут быть особенно важными.

Именно в этой области аналитики проявили особенный критический интерес к «телесным начертаниям**», то есть, к разнообразным способам, которыми тело конструируется в современном обществе.[163] Здесь мы видим типично критическую попытку поставить под сомнение сами собой раз-

---

* *Пурпурное сердце – военная медаль США, вручаемая всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника. (прим. пер.)*

** *Телесное начертание – начертание, которое производится на теле со стороны культуры. (прим. пер.)*

умеющиеся предположения о надежде на освобождение. Например, критики ставят под сомнение презумпцию гендерных различий[84;294], общепринятую конструкцию красоты и женского тела[524], понятие больного тела[263;358], и так далее. Были также активные попытки размыть традиционное различие между человеческим телом и машиной. Начиная с классического анализа киборгов Донны Харауэй[249], теоретики стремились исследовать политический потенциал разрушения метафоры человек/технология.[146;229]

Конструкционистская чувствительность также раскрывает новую область для диалога о здоровье и болезни. Для конструкциониста «здоровье» и «болезнь» – это термины, которые приобретают свое значение в рамках конкретных традиций в отношениях. Мы можем согласиться: в том, что мы называем своим телом, «что-то происходит», но такое согласие не выдвигает никаких обязательных требований к конфигурации фонем, которые мы используем в описании или объяснении, или к тому, как мы это тело лечим и лечим ли вообще. Словами Нельсона Гудмена[226]: «Если я спрашиваю о мире, Вы можете сказать мне, какой он в рамках одной или нескольких точек зрения; но если я настаиваю на том, чтобы Вы мне сказали, какой он вне всяких рамок – что Вы можете сказать?» С этой стороны, Кляйнман[298] и Янг[592] ставят под сомнение существующие понятия тела в современной медицине. И книга Артура Франка *Раненый рассказчик*[174] предлагает грандиозное открытие относительно возможностей лечения. Если болезнь – это просто болезнь, тогда мы можем отдать наше тело на поруки экспертов медицины и закончить на этом. Однако, как настаивает Франк, в таких условиях можно рассказать и другие истории. В частности, он указывает на преимущества «нарратива поиска», в котором человек использует случай с болезнью, чтобы пуститься на поиски – движение, которое приводит к более глубокому пониманию себя и общества. Кто-то может увидеть возможность перемены в характере через страдание, возможность говорить от имени страдающих, свидетельствовать и тем самым сделать свой вклад в мудрость общества. Также, если материальная смерть – это просто материальная смерть, и на ней все заканчивается, тогда какой же скудный мир значе-

ний мы наследуем! Если смерть может также значить воссоединение с ушедшими близкими, место рядом с Богом, движение в бесконечном круге становления или конечное спокойствие, наш мир обогащается: культуральная жизнь более пригодна для существования.

Существуют и другие причины отказаться от несконструированной концепции тела: если в мире существует лишь материальное тело – и ничего больше – что еще нам придется добавить к категории неоспоримого в таком случае? От коллег в области социологии я узнаю о реальности социальной структуры; экономисты рассказывают мне о тяжелой реальности экономики; политологи говорят о *realpolitik*; многие антропологи убеждены, что культура – неоспорима; а большинство моих коллег в области психологии не может отрицать существование когнитивного процесса. Тогда на каких основаниях мы принимаем материальное тело в область неоспоримо реального, но при этом отказываемся включать туда все остальные явления? Если таких оснований у нас нет, и мы не сможем отрицать эти области реального в разных дисциплинах, что еще мы будем вынуждены считать реальным вне культуры и истории? И вот мы принимаем все очевидные реальности мира за нечто неоспоримое – так разве мы в итоге не вынуждены поддерживать общепринятую условность, существуя в [фиксированных] мирах значения, выстроенных без учета постоянно возникающих новых жизненных условий? И каковы тогда конструкционистские надежды на освобождение и реконструкцию? Чем больше мы расширяем область очевидно реального, тем больше мы способствуем социальному параличу.

Продолжая эту мысль, стоит вернуться к вопросу, возникшему в начале главы: *что* нам мешает не только заботиться о лечении физических болезней, но и усомниться в реальности психической болезни, которая для большинства моих коллег практикующих врачей просто «есть», независимо от дискурсивного сообщества? Конечно, по их словам, мы сталкиваемся с жестокой реальностью депрессии, синдромом дефицита внимания, шизофренией и так далее. Но так ли это? Мы можем соглашаться, что в поведении человека есть что-то необычное, но почему мы

должны предполагать, что общество практикующих врачей и психиатров правы, называя такое поведение «душевной болезнью», и беспрекословно принимать на веру категории DSM*?** Почему мы должны соглашаться, что «болезнь депрессии» – которую никто не «открывал» до нынешнего века – сегодня поражает каждого десятого человека в нашей культуре? И почему мы должны покорно принимать повальное выписывание таких препаратов, как Прозак, Ридилин и литий? Если мы откажемся от нашей возможности ставить под сомнение подобные заявления – слишком очевидные реальности субкультур или обществ – мы превратимся в жертв.

Конструкционистское сопротивление продолжается: такие понятия, как «реальный», «истинный», «рациональный» и «объективный», имеют смертоносный потенциал. Конечно же, они крайне полезны в определенных обществах для укрепления традиций и взаимного доверия, обеспечения форм координации и для поддержки коллективного энтузиазма. Однако они чреваты опасностью, когда члены таких обществ переносят локальное в область универсального – реального для всех людей, трансцендентально истинного, фундаментально рационального, неоспоримо объективного. Когда очевидная реальность локального растягивается таким образом, одновременно возникает фундамент для разрушения чужих традиций: те, кто «не видят вещи такими, какие они есть», обитают в «ложном сознании», «размышляют неидеально» или просто «безнадежно субъективны». Также маловероятно, что голос обитателей таких культур обретет вес, потому что он явно невежественный, фольклорный, мифичный, мистичный или еще куда хуже[150]. Именно эта локальная надменность распалила западное пламя колониализма – и последовавшее за ним разрушение традиций по всему миру. Я с готовностью поддерживаю реакцию Ланнаманна на бессмысленную потерю жизни, в которой он обвиняет «Христианскую науку» и ее

---

* *DSM – руководство по диагностике и статистике ментальных расстройств, выпускается Американской психиатрической ассоциацией. (прим. пер.)*

** *Конструкционистская критика душевных расстройств сейчас представляет из себя самостоятельный жанр. Вы можете ознакомиться со списком моих книг на сайте www.swarthmore.edu/SocSci/kgergen1/ (прим. автора)*

убеждения. Я уверен, что испытывал бы то же самое на его месте. В этой ситуации опасность кроется не в скорби и злости, а в умалении ответственности «Христианской науки» за то, что та не признает истины материального тела. И если мы будем бесконечно растягивать эту простую истину, нам придется вовсе искоренить традицию «Христианской науки» – а вместе с ней и все остальные традиции, утверждающие, что дух важнее реальности материального.

1.3. Пробуждая враждебность: радость от уничтожения

Хотя все эти аргументы достаточно понятны, они не во всем привлекательны. Не прекращаются атаки как с консервативной, так и с радикальной сторон. Во многих отношениях ход развития таких дебатов достаточно знакомый. По сути, в этих дебатах форма научного ведения конфликта превращается в оплот научной жизни. Вознося идеал или ценность над «неверной», варварской противоположностью, можно разбудить настоящую драму. Это относится как к защите научной объективности от разрушительного действия шарлатанства, мистицизма, идеологизма или фундаментализма, так и к осуждению ущемления, расизма или несправедливости, или к отстаиванию гуманистического видения человека. Отказаться от участия в этом сражении добра против зла – значит упустить одну из самых ярких радостей научной жизни. Нам даже не нужно было ждать развития своей научной карьеры, чтобы присоединиться к этому культуральному ритуалу. Так повелось уже давно, с тех пор, когда мы защищали свои песочные замки от свирепых захватчиков, близкого друга – от клеветнических сплетен, или ущемленное меньшинство – от несправедливой политики. В определенном смысле, все мы – «христианские воины... армии свободы, на баррикадах, марширующие в Преторию...» и, конечно, «мы победим». Что же нам сегодня предлагают наши традиции, если учесть, каких почестей удостаивается защита добра перед лицом зла[391]?*

** В книге «Объективность и ее Другой» под редакцией Наттера, Шацки и Джонса[391] подробно рассказано о том, насколько тесно вопросы «хорошего» связаны с эпистемологическим конфликтом. (прим. пер.)*

В основном, самым подходящим вариантом является (и всегда являлась) изоляция и подпольная борьба. Довольно просто разделить нас на фрагментированные, враждебные и самодовольные области. Мы присоединяемся к нашим крошечным группам единомышленников, обозначаем свои интеллектуальные и моральные основы, распространяем свои истины через журналы и конференции, защищаемые нашими соратниками, и ищем способы подорвать вклад других коллег и учреждений извне. Такой стиль работы широко характеризует современные отношения между эмпириками и конструкционистами. Сейчас такое положение вещей становится актуальным для групп, настроенных против эмпиризма – например, для теоретиков феминистской точки зрения, марксистов, культуральных критиков и гуманистов. И это положение вещей грозит разделить всех, кто пытается найти альтернативы «доминирующему дискурсу» – или тому, что мы ошибочно таковым считаем.

Разве мы можем не считать такое состояние подпольной борьбы плачевным? Дело не просто в том, что мы таким образом принимаем условие «все против всех». Это же условие лишает всякой силы тех, кто находится в конкурирующих анклавах. Так как такое состояние зиждется на разделении – на процессах солипсического* самовосхваления – есть мало способов разрешить конфликт, и никакого плодотворного противостояния, которое могло бы приблизить вопросы к решению или предложить новые точки зрения и возможности. Более того, характерный процесс продолжает питаться от самого себя в определенных кругах, бесконечно переформулируя мир такими способами, которые все больше препятствуют возможности критического рассуждения. Таким образом, значение, по сути, застывает в обществе создателей знания, одновременно отчуждаясь от окружающей культуры. Структура знания общества не только кажется все более отдаленной, непонятной и неуместной, но и в самом обществе культура в целом кажется всё более невежественной**.

---

* *Солипсический – сосредоточенный на индивидуальном восприятии мира, которое считается единственно верным. (прим. пер.)*

** *Как многие сегодня считают, экономическая наука во многом перешла в это отчужденное состояние. Экономическая теория и исследования во многом ссылаются сами на себя, другие науки редко ставят пред-*

Затем нам следует спросить: каковы последствия такого самодовольства и тщеславия со стороны науки для общества? Если задуматься о том, что же научная профессия говорит обществу о природе различия, нам следует покрепче запереть двери. Ведь наши муки политкорректности означают, что мы, ученые – едва ли нечто большее, чем просто сварливые клеветники; и к тому же, мы даем обществу понять, что в отношении культуральных войн мы мало что можем предложить.

Есть и второй вариант, вдохновленный существующей враждебностью: аргументативная конфронтация. И снова мы, как ученые, полностью готовы к этому ритуалу, и в некоторых отношениях наше поведение делает вклад в общество в целом. Мы демонстрируем потенциал замены вооруженного сражения словесным, расширяя возможности мирного разрешения конфликта. Таким образом, мы можем стремиться к рациональным дебатам, обозначая линии борьбы более резко и четко в надежде, что со временем победит тот, чья аргументация убедительнее и лучше. Мы избегаем ступора и оцепенения и движемся к высшему уровню восприятия – по крайней мере, так должно быть. Я очень сомневаюсь, что традиционная аргументация приведет к привлекательным решениям в таких случаях. В 3 главе я рассмотрю несколько основных проблем, свойственных аргументации как способу преодоления различий. Однако есть один серьезный недостаток в процессе аргументации, свойственный нашей ситуации: и реализм, и конструкционизм переполнены разными предположениями о природе знания, разума и ценности. В результате позиции несоизмеримы по своей природе. Их нельзя сравнивать в терминах лишь одной из сторон, потому что сами предположения, от которых отталкиваются спорящие стороны, автоматически исключают возможность альтернативной способности быть понятыми – *понимаемости**. Например, реалист не может убедить конструкциониста,

---

положения под вопрос, практически не ведется диалог с учеными вне экономики, и работу экономистов редко понимают или ценят другие ученые. (прим. автора)

* *Англ. intelligibility – способность быть понятым либо понимать; в этой книге данное понятие будет переводиться словом «понимаемость» – в значении доступность, постижимость, а также словосочетанием «способность понимать». (прим. пер.)*

апеллируя к доказательствам, скажем, «реальной материальной природы», потому что такие доказательства не имеют веса в рамках конструкционистской онтологии. Само использование реалистской риторики оказалось бы идеологически проблематичным. Более того, конструкционист не может использовать риторическую виртуозность, чтобы убедить реалиста, потому что признание «самой риторики» лишило бы его аргументы всякого веса. Подобным образом, конструкционистские обвинения в идеологической пристрастности не имеют под собой достаточных оснований, потому что реалисты допускают возможность объективных или свободных от идеологии толкований мира. Хорошие доводы в одном лагере окажутся обманчивыми и ошибочными в другом.

В то же время, если бы конструкционисты использовали те аргументы, которые смогли бы убедить реалиста, они бы нарушили основания конструкционизма и тем самым противоречили бы самим себе. То же было бы справедливо и для реалистов, если бы они доказывали превосходство своей точки зрения, основываясь на лингвистической меткости или более привлекательных текстуальных тропах. На этом моменте можно было бы принять третью, более нейтральную точку зрения, с которой можно было бы вынести какой-либо вердикт. Однако это бы представило еще одну, третью онтологию, противоречащую обеим сторонам. Захотел бы конструкционист или реалист, чтобы спор разрешил, например, духовный фундаменталист или магистр Дзен?

В случае общества в целом, такая аргументация может быть значительным улучшением в сравнении с изолирующей антипатией. Однако вряд ли стоит надеяться, что аргументация сможет однажды смягчить напряжение борьбы. С нынешней точки зрения, мы можем ожидать противоположного результата – спор только еще больше распалит противостояние и усиливающуюся вражду. Это определенно типично для ученого мира. Если стороны не согласны друг с другом в том, что лежит в основах различий, и того, что считается рациональностью и доказательствами, споры редко разрешаются с помощью аргументации. Как отметил Томас Кун[305], слишком часто такие сражения утихают только из-за того, что противостояние изживает себя.

1.4. Реализм и конструкционизм как культуральные ресурсы

Учитывая то, что проблемы присущи и пассивным, и активным формам противостояния, какие варианты остаются у нас? Один многообещающий вариант – найти общий язык, определить хотя бы одно важное предположение, общее для реалистов и конструкционистов. Например, хотя реалисты и конструкционисты (и практически все, кто относится к западной традиции производства смысла), придерживаются разных гипотез, все они считают само собой разумеющимся, что люди используют язык, планируя свои повседневные действия. Использование [выраженных с помощью языка] просьб, команд, благодарностей, исправлений, приветствий и так далее имеет практические последствия в культуральной жизни. Если эта точка зрения разумна, мы можем также согласиться, что, помимо всего прочего, аргументы и реалистов, и конструкционистов – это формы дискурса. Как бы они ни функционировали, оба дискурса используются (в первую очередь учеными) для реализации форм культуральной жизни. Вместо того, чтобы рассматривать способность понимать у реалистов и конструкционистов как проявление индивидуального разума, как трансцендентальную логику или как постулаты истины, в данный момент мы можем условиться считать их формами устной или письменной речи – соединениями слов и фраз, используемых людьми в разных случаях и в определенных условиях. Ввиду того, что такие дискурсы полезны для разных групп, мы видим их как культуральные ресурсы, способы понимания, сформированные в рамках определенных культуральных традиций и теперь пополняющие современный культуральный репертуар. С такой точки зрения, мы можем более детально исследовать ситуативную пользу обоих дискурсов. Такой анализ, в свою очередь, может открыть ряд новых способов продолжать работу вместе*.

---

* *Прекрасный пример осознанного использования и реалистского, и конструкционистского дискурсов представили Бохан и Расселл в своей работе «Беседы о психологии и сексуальной ориентации»[60]. В этом случае каждый дискурс имеет определенное риторическое значение, а их комбинация оказывается гораздо мощнее и влиятельнее, чем два этих дискурса по отдельности. (прим. автора)*

Для начала, давайте предположим, что все действующие лица в реалистских/конструкционистских дебатах имеют в своем распоряжении оба дискурса. Действующим лицам доступны обе способности понимать. Мы можем допустить такую обоюдную способность просто на основании их желания вступить в эти дебаты; вряд ли кто-то захотел бы отстаивать свою точку зрения в споре, не ознакомившись с противоположной. Учитывая широкую доступность этих дискурсивных источников для противостоящих сторон, давайте также предположим, что бывают случаи, в которых разные стороны склонны использовать устойчивые выражения из каждого дискурса всерьез. Пользователи хотели бы, чтобы к их словам отнеслись серьезно – то есть, отнеслись согласно общепринятым правилам дискуссии. Таким образом, например, самые ярые конструкционисты будут полагаться на реалистскую традицию, когда будут учить своих детей «вот это – собака» и «вон то – кошка». И если бы конструкционист увидел, что его дом горит, и закричал «Бегите, пожар!», он вряд ли захотел бы, чтобы его семья посмотрела на него с подозрением и ответила «Ох, это всего лишь твоя конструкция происходящего». Конструкционист хотел бы, чтобы его предупреждение восприняли согласно реалистским условностям. Подобным образом, те, кто принял принципы реализма, часто обращаются к арсеналу конструкционистских аргументов. Захотел ли бы самый преданный реалист убрать из своего репертуара такие конверсационные ходы, как: «Это лишь твоя версия», «Это культуральный миф», «Они все выдумывают», «Этот новостной репортаж искажен в пользу государства» и «Ты слишком жестко об этом высказываешься»? Даже нереконструированный эмпирик, не знакомый с конструкционистской теорией, может захотеть сказать: «Учитывая их теоретические убеждения, я могу понять, как они пришли к такому выводу» или «Физика, биология и психология являются разными способами концептуализации мира».

Является ли обладание такими двойственными словарями дилеммой – спорный вопрос. Однако, в свете работы Биллига и его коллег[56], мы можем с большой долей уверенности предполагать, что для большинства людей эти потенциально противоречащие дискурсы без особых проблем

стоят бок о бок наряду с множеством других альтернатив (например, духовный, романтический, мифический дискурс). Иметь в арсенале множество дискурсов – все равно, что уметь играть во множество игр. Умение хорошо играть в шахматы не обязательно исключает такую же способность к игре в бридж или покер.

Учитывая способность всех действующих лиц обращаться в дебатах как к реалистскому, так и к конструкционистскому дискурсу, мы можем также предположить, что бывают случаи, в которых буквально все сходятся во мнении о том, какой из дискурсов приемлем или уместен. То есть, в некоторых случаях большинство участников реалистских/конструкционистских дебатов объединятся в гармоничном использовании похожего диалекта. Так как у большинства из нас общая культуральная история, и так как мы все находились в похожих системах образования и пользуемся похожими привилегиями, наши предпочтения и традиции будут совпадать – начиная с пристрастий в еде и напитках и заканчивая стандартами научной успешности. Подозреваю, что в таких условиях почти все мы уверенно воспротивились бы неонацистам, мафии, мусульманскому терроризму, торговле героином, пыткам и убийству. Используя неоспоримый дискурс реализма, мы бы указывали на многочисленные ошибки и безнравственные поступки. Затем, в безупречной конструктивистской форме собеседники с обеих сторон с радостью продемонстрировали бы, как национал-социалистическая партия – путем рационализации, приукрашивания и циркуляции дискурса в немецкой культуре – создала условия, приведшие к Холокосту. Точно так же яростно мы бы сопротивлялись распространению подобных дискурсов сегодня.

Учитывая полное единодушие сторон в вопросе об использовании дискурса, позвольте сделать иронический вывод: тот, кто обычно отстаивает конструкционизм, может обращаться к реалистскому дискурсу, чтобы прижать к стене реалиста, а реалист может с готовностью обратиться к конструкционистским аргументам, чтобы ниспровергнуть конструкционизм. Хотя это может казаться маловероятным, при ближайшем рассмотрении оказывается, что подобная тактика встречается довольно часто. В социоло-

гических исследованиях науки давно было признано, что ученые в попытке продемонстрировать сконструированную природу научного знания, будут обращаться к эмпирическим доказательствам (материалы, фотографии, документы), чтобы отстоять свое. Именно без таких ссылок на конструкцию в реальном мире лабораторных реальностей социальные исследования науки вряд ли добились бы возможности присоединиться к научным диалогам. С другой стороны, как часто конструкционисты сталкивались с реалистами, рьяно доказывающими, что конструкционистские аргументы сконструированы сами по себе. Здесь реалисты, в сущности, принимают конструкционистские аргументы, чтобы подорвать конструкционизм. В США к обвинению в «политкорректности» часто прибегают реалисты-консерваторы, чтобы отстоять свои традиции перед конструкционистскими формами атаки. Как они утверждают, такая критика – это просто идеологические предубеждения под личиной благоразумия, и она ущемляет их традиции. И все же такая форма спора, по сути, заимствована у конструкционистских критиков, которые поставили их, реалистов, под угрозу. Демонстрация идеологической подоплеки само собой разумеющегося – это, по сути, риторическая основа основной конструкционистской критики доминирующего порядка.

В одном достойном внимания варианте такой зеркальной иронии реалисты часто критикуют конструкционистов за реализм, и наоборот. Как отмечают реалисты, конструкционисты обращаются к реалистским предположениям, описывая совокупность знаний как сконструированную. Для конструкционистов «дискурс» считается реальным, как и нарративы, метафоры и отношения. Однако, если конструкционист на самом деле является реалистом, как предполагает такая критика, зачем реалисту возражать? Конечно, большинство конструкционистов отрицают реальность того, что они описывают, заявляя, что они вынуждены прибегать к реалистскому языку из-за условностей письменной речи. Язык не допускает «комбинированной съемки», в которой человек одновременно говорит и отрекается от своих слов. И все же нет сомнений в том, что такие деконструкционистские оправдания приобретают реалистский оттенок.

Таким же образом, конструкционисты обвиняют реалистов в конструировании своих миров. Но почему это обязательно должно быть обвинением? Как еще можно сделать мир понятным вне условностей конструирования?

Мы приходим к выводу, что и те, кто представляет себя как конструкционистов, и те, кто использует реалистские аргументы в научной сфере, обращаются к дискурсу своего оппонента – часто в ходе дебатов и, несомненно, вне их. В этом отношении мы можем рассматривать эти дискурсы как культуральные ресурсы, способы устной и письменной речи, основанные на особых традициях и доступные всем для выполнения повседневных занятий – профессиональных и любых других. Если этот вывод кажется разумным, мы обращаем внимание на особые функции или цели таких дискурсов. Как они используются, и каковы их социальные последствия?

Особенно любопытно то, как эти дискурсы разворачиваются в контексте различных культуральных практик. Здесь кажется очевидным, что реалистский дискурс необходим для достижения сложных форм человеческой координации. Пилот, пытающийся посадить самолет, должен говорить на том же языке, что и диспетчер, и быть знакомым с той же знаковой системой этого языка, иначе не избежать катастрофы. Для всех намерений и целей, «самолет», «высота», «взлетная полоса», «скорость воздушного потока» и так далее вполне реальны. Здесь можно сказать, что реалистский дискурс – это язык взаимного доверия; он объединяет участников, способствуя порядку и предсказуемости. В то же время, такой дискурс также функционирует как инструмент контроля. Он ограничивает область возможностей, тем самым способствуя силам консерватизма и формальному порядку вещей. Он подпитывает недоверие ко всем, кто не разделяет его традиции понимания. Конструкционистский дискурс часто функционирует наоборот: он является освобождающим агентом, который бросает вызов само собой разумеющемуся и открывает новые пути восприятия и действия. Однако, действуя таким образом, он также ставит под сомнение правомерность драгоценных традиций, а также практики сложной координации и взаимного доверия. В бахтинском смысле, мы можем сказать,

что реализм действует центростремительно – поддерживая единство и солидарность, а конструкционизм действует центробежно – нарушая и создавая порядок. В таком свете мы видим, что оба дискурса могут быть жизненно необходимы для нашего будущего благополучия.

1.5. Вне дискуссий: навстречу противоречиям в практике

Мы приходим к выводу, что восприятие конструкционистских дискурсов как культуральных дискурсов – подобно нашим демократическим и юридическим институтам, системам образования, науке, искусствам и духовным практикам – позволяет нам открывать новые, не такие соперничающие области для разговора. Однако важно, чтобы мы не заканчивали обсуждение различий на данном этапе. Скорее, сейчас мы стоим на пороге новой проблемы. Как минимум одна важная функция дискурсов реализма и конструкционизма – это поддержка особых способов действовать. Таким образом, даже если мы оставим поиски лучшего, более общего дискурса, мы все еще сталкиваемся со множеством действий, рационализированных данными дискурсами. Более того, существует много занятий, которым в одном из этих дискурсов отдается предпочтение, а в другом они, в свою очередь, ставятся под сомнение – и даже презираются. Например, традиционные реалисты в социальных науках часто поддерживают проверку гипотез, экспериментальные манипуляции, нейтральное наблюдение, статистический анализ, обобщающие объяснения и избегание идеологических дискуссий. Критические реалисты отказываются от всех этих практик и выбирают прямолинейную критику доминирующих и угнетающих порядков в обществе. Многие конструкционисты видят серьезные проблемы в обеих формах деятельности – например, проблемы негуманности, доминирования, наивности и империализма в случае с эмпиризмом, и ничем не стесненный антагонизм в случае с критическим реализмом. В то же время, как эмпирические, так и критические реалисты считают слишком либеральными и свободными изыскания в качественных исследованиях, историческом

и культуральном анализе и теоретических инновациях, которые предпочитают конструкционисты. И снова, как же нам продолжать вместе? Неужели война – открытая или тайная – это единственный ответ? Неужели мы снова оказались на позициях взаимного уничтожения?

Это – важные вопросы, а в более широком культуральном контексте, в котором они возникают, они становятся еще важнее. Такие виды противостояния преобладают как в пределах одной культуры, так и во всем мире. Наша способность найти способы сосуществования внутри науки имеет значение для жизни и за ее пределами. Если мы не сможем найти альтернативы взаимному уничтожению, мы должны спросить себя, не создают ли наши действия модели общественного конфликта. И наоборот, если мы можем определить способы взаимности, они могут послужить важными источниками для культуры. В определенных случаях наибольший потенциал для культуры в целом может скрываться в наших конкретных формах отношений, а не в философиях знаний и ценностей*.

Масштаб этой задачи невозможно переоценить, и на этом моменте я могу лишь положить начало дискуссии о возможностях, возникающих из конструкционистского сознания. Эта дискуссия начинается в этой главе, но продолжается во многих последующих главах книги. В дальнейшем обсуждении политики отношений (10 глава) я попытаюсь объединить некоторые ключевые результаты этих дискуссий. Однако пока что будет полезно вернуться к предыдущему анализу. В частности, можем ли мы определить в этом подходе к антиномии реалистов/конструкционистов концептуальные инструменты самодостаточных практик, которые могут предоставить многообещающие выводы на будущее? Какой вклад может сделать анализ в проблематику конфликтующих практик? На мой взгляд, существует четыре важных вывода.

** Строгое разделение теории и практики необоснованно, так как сама теория представляет собой форму практики, а все формы исследований частично состоят из теоретических способов обозначения. Однако, с целью расширения соответствующих умозаключений, в данном случае полезно придерживаться традиционного различия. (прим. автора.)*

Изменение дискурсивного стиля речи

Хотя в большинстве моих работ за последние десять лет я критиковал реализм и одновременно поддерживал потенциал конструкционизма, в данной главе я пошел в другом направлении. Я попытался отойти от враждебной/защитной позиции и найти способы разобраться в антиномии как таковой. В более широком смысле, мы можем считать это изменением дискурсивного стиля речи, переходом от позиции внутри конфликта к позиции, которая изучает сам конфликт. Об эффективности такого хода для смягчения враждебного импульса остается судить читателю. Однако в такой смене стиля скрывается значительное преимущество, если рассматривать стиль как лингвистический перформатив. Я больше не ставлю своего оппонента в положение «злого другого» – я скорее предлагаю ему рассмотреть вместе со мной наше общее положение. Если он принимает это предложение, мы вступаем в новую форму отношений, с потенциально продуктивной, а не деструктивной, целью (аналогичный анализ конструкционистского и эссенциалистского подходов к сексуальной ориентации можно найти здесь[60]). В таком изменении дискурсивного стиля речи можно усомниться, так как предложенные основания для рассуждения могут показаться слишком схожими с конструкционистскими аргументами. Говорить о реализме и конструкционизме как о дискурсивных источниках – это уже значит принять основные положения конструкционистского письменного жанра. Для меня такой вывод безоснователен. Как я подчеркнул, взгляд на язык как на прагматический ресурс – одновременно реалистский и конструктивистский. Это значит, что мы представляем конструктивизм как реализм. Не существует скрытой и уникальной связи между предположениями лингвистической прагматики и социального конструирования.

Изменение дискурсивного стиля речи перекликается с практиками, разработанными в семейной терапии. Когда пара или семья движется в деструктивном направлении (например, оскорбления, насилие, риск для жизни), важное решение, разработанное семейными терапевтами, заключается в том, чтобы переместить клиентов на метауровень дискуссии. Муж, вместо того, чтобы отвечать на

резкую критику свирепой контратакой, может спросить, например, «почему мы это делаем», «действительно ли мы этого хотим», или «можем ли мы разобраться с этим по-другому». В каждом случае переход к мета-дискуссии по сути прерывает паттерн взаимных оскорблений, в который вовлечены участники. В некоторых случаях ответ на такие мета-вопросы может быть менее важен, чем тот факт, что новое рассуждение является альтернативным способом общения – обычно менее деструктивным. Такое изменение дискурсивного стиля также предполагает, что мы можем бесконечно расширять наши вопросы, чтобы включать новые факторы, которые могут помочь нам отойти от паттернов взаимного обвинения*;[370]. Может существовать множество других способов прекращения текущих ритуалов противостояния, прерывания и переориентирования их таким образом, который может сохранить, а не разорвать отношения.

Разграничение способов выражения и личности говорящего

Согласившись с тем, что все участники в дебатах о реализме против конструкционизма обращаются и к реалистскому, и к конструкционистскому дискурсу в разнообразных условиях – соглашаясь или оспаривая – мы можем точно так же разграничить говорящего и речь, идентичность и дискурс. В этом смысле, мы можем сказать, что не существует реалистов и конструкционистов как таковых – не существует людей, чья сущность навсегда заклеймена лишь одним способом выражения. Скорее, все мы являемся культуральными участниками, которые используют те или иные дискурсы в разных ситуациях в общении. В этом смысле, наши работы как ученых на эти темы могут быть не связаны с нашими дискурсивными привычками в других условиях – в разговорах с детьми или родителями, с водителями автобусов или священниками. Скорее, само

* *Чтобы узнать больше о вариациях изменений в дискурсе реалистско-конструкционистских дебатов, обратитесь к Мерттенс[370]. Вместо непосредственной, прямой вовлеченности – аргумент как война – она формулирует свой аргумент в виде нарратива от первого лица; в такой форме повествования «главная проблема» перестает быть ключевым моментом в разговоре. Здесь нам предлагают рассмотреть ее условия жизни и место теории в таком контексте. (прим. автора)*

противопоставление реалистского и конструкционистского дискурсов является занятием, которое преимущественно встречается в научной области. Мы начинаем как многоголосые участники, но в этом случае соглашаемся представлять себя одним голосом, противостоя друг другу.

Один из важных результатов разграничения людей и их слов заключается в том, что мы ослабляем тенденции *психологического обоснования зла*. Если мы сталкиваемся с действиями, которые считаем негуманными, несправедливыми или угнетающими, мы не считаем, что эти действия отражают негуманное, несправедливое или агрессивное ментальное состояние. Действия не определяют сущности человека; это просто то, что этот человек делает в определенном случае. Точно так же можно воспринимать собственные действия – являются ли они комментариями о реализме или конструкционизме, культуральной критике или качественном исследовании – как «то, что я делаю», а не «то, чем я являюсь». Такое разделение открывает путь для продуктивного разговора между коллегами или соседями. Нам предлагают подумать, как на нас влияют поступки другого человека, и какую роль они играют в данном контексте – то есть, так можно понять, почему в остальном нормальный человек (а не морально испорченный) может так поступать. Однако это не значит, что нужно отказаться от критического подхода; скорее, мы меняем свое отношение к поступкам другого человека. В результате у нас появляется выбор.

Исследование потенциала многоголосия

Как было предложено ранее, реалисты и конструкционисты могут высказать позицию друг друга, и на деле это действительно часто происходит. В самом деле, в данной главе я озвучил обе позиции, а вместе с ними – третью, которая заключалась в моих более эпистемологически размытых предложениях. Следовательно, действительно ли я – конструкционист? Что значит «действительно» в этом случае? Все-таки, на кону стоит не только наше понимание дискурсивных потенциалов. Жизни обычно состоят из богатого и постоянно изменяющегося спектра действий.

Осудить человека за определенное поведение – значит закрыть глаза на этот более широкий спектр действий. Когда осужденную деятельность вырывают из более широкого спектра жизненных процессов, человек теряет свою многомерность; его сводят к отвратительной сингулярности – к одному-единственному голосу. И наоборот, исследование всего спектра действий других людей в мире обычно лишь усложнит суждение. Другие – это множество, а не единица, и многие из этих голосов принадлежат также и нам. Например, конструкционист может осуждать то, что кажется невероятной растратой ресурсов в лабораторном тестировании циклических и политически оскорбительных гипотез. Однако, когда обвинитель предстает перед «виновником» как любящий родитель, который посвящает время местной кухне, жертвует деньги на движение по защите окружающей среды и отвечает за благополучие парализованного брата, характер критики различий трансформируется. Мы не только можем найти себя в другом, но и осознать ценность другого в различных важных вопросах. Объединение некоторых феминистов и религиозных фундаменталистов против порнографии – хороший пример. Однако конфликт в итоге разрешен, и в идеале он должен брать в расчет такие сходства между собой и другим. Это последнее утверждение тесно связано с последним вопросом.

Признание взаимосвязей

Существует окончательный, более тонкий вывод из предыдущего анализа, который можно дополнять по ходу книги. Давайте снова взглянем на взаимозависимый характер дискурсов конструкционизма и реализма. Как мы обнаружили, эти дискурсы не только нуждаются друг в друге из-за их способов понимания, но даже каждый из них использует элементы своего противника в попытке переубедить друг друга. На самом деле, способы понимания в обоих дискурсах не могут оставаться нетронутыми; их логические основы тесно переплетаются. Имеет ли такое состояние перекликающихся дискурсов аналоги в более общей области конфликтующих практик? Это важный вопрос с широкими теоретическими и практическими выводами. Если

мы можем смотреть на дискурс как на форму действия, мы можем ожидать, что двойная основа значения, характерная для дискурса, может также поддерживать значение действия в более общем смысле. Таким образом, подобно дискурсу, все, что мы считаем культурально обоснованными действиями, приобретает свое значение на основе того, чем оно не является (например, альтернативным паттерном действий). В этом смысле, действия ни обоснованны, ни ценны сами по себе; они приобретают такое значение на основе отличий от других действий. Таким образом, например, выполнение качественного исследования приобретает значение в противопоставлении количественному исследованию; универсализированные гипотезы приобретают понимаемость благодаря своему отличию от историзирующих гипотез, и так далее. Эти действия нераздельно связаны между собой. Существует также много случаев, в которых определенное действие требует особого противопоставления, чтобы стать доступным для понимания. Например, по традиции и качественное, и количественное исследования допускали существование независимого мира, который они пытаются открыть, и оба исследования используют различия, чтобы обозначить контуры этого мира и охватить континуум большего/меньшего*. Определенные концепты помогают объединить эти исследования.

В самом общем смысле, мы вынуждены исследовать более общие условия взаимоотношений конфликтующих практик. Как практики, которые мы осуждаем, связаны с теми, которые мы принимаем? Создает ли наша приверженность особой форме жизни автоматическую основу для существования класса отчужденного Другого. Например, поддерживать среду без курения – значит считать курильщиков «нежеланным классом»; без свой любви к курению этот класс людей не привлекал бы никакого внимания. Так в какой же степени конфликтующие позиции основываются на одной и той же традиции, тем самым подспудно поддерживая друг друга? Когда военное движение разрушило

---

* *За последние годы в качественных исследованиях произошел заметный «постмодернистский поворот», и сегодня множество исследователей отказывается от прошлых реалистских предположений, а также от некоторых из таких традиционных тенденций. Подробно об этом можно прочесть в работе Дензина и Линкольн*[146]. *(прим. автора)*

бомбой муниципальное здание в Оклахоме, отняв жизни более 130 людей, ярость была повсеместной. Большинству из нас казалось справедливым, что подрывателя, Тимоти Маквея, приговорили к смертной казни. И все же, если мы рассмотрим идеологические убеждения военного движения, мы обнаружим, что они глубоко уходят корнями в гордые американские традиции свободы и справедливости. Если считается, что федеральное правительство разрушает индивидуальные права и отнимает последнюю копейку у простых граждан, вооруженная защита оправдана. И, на основе все тех же традиций, мы имеем основания приговорить Маквея к смертной казни. Великая традиция соблюдается в обоих случаях.

1.6. В заключение

Конструкционистский и реалистский дискурсы могут быть настроены друг против друга. Однако враждебная аргументация – это лишь один вариант, доступный нам в случае расхождений. В этой главе я попытался показать, что существуют другие, менее «естественные» варианты, которые могут привести нас к более перспективным результатам. Также эти варианты не подразумевают синтеза – возникновения некой новой позиции, которая содержит элементы обеих предыдущих. Скорее, считая эти дискурсы культуральными ресурсами, мы получаем возможность оценить их положительную мощность и их возможные ограничения. В данном случае я также попытался показать, как такая ориентация открывает возможности преодоления конфликтующих традиций как в науке, так и в обществе. Изменение дискурсивного стиля речи, размежевание способов выражения и личности говорящего, подчеркивание полифонического способа выражения и исследование взаимосвязи – это способы ослабления враждебных импульсов, ведущие к более богатым и устойчивым формам общественной жизни.

2

МЕСТО ПСИХИКИ В СКОНСТРУИРОВАННОМ МИРЕ

Сегодня дискуссии о социальной конструкции охватывают перечень вопросов в естественных, гуманитарных науках и в профессиональных школах. Школа конструкционизма направила свои усилия на:

- понимание зарождения, трансформации и подавления того, что мы считаем объективным знанием;
- исследование литературных и риторических инструментов, с помощью которых значение достигается и становится убедительным;
- выявление идеологической и ценностной нагрузки заурядного или само собой разумеющегося;
- документирование подразумеваний той или иной конструкции мира в распределении власти;
- выработку оценки процессов отношений, в которых реальное и хорошее обретают свой смысл;
- понимание исторических корней и [постепенных] преобразований разных форм понимания;
- исследование диапазона и разнообразия человеческой способности понимать в разных культурах;
- и так далее (об итогах этой работы можно узнать в работах Гергена[194;200]).

Тем не менее, хотя психологи выполняют широкую генеративную функцию, они остаются единственными, кто противится присоединению к конструкционистским диалогам. Социальный конструкционизм – редкая тема для общих обсуждений функционирования психики и ее нарушений.

Существует много причин для общей обособленности психологической науки от этого интеллектуального «водораздела». Несомненно, одна из важнейших таких причин

заключается в том, *что именно* многие считают фундаментальным противостоянием между психологическим и конструкционистским проектами. В традиционной психологии ментальные процессы – это не только главный предмет изысканий; они также служат критической точкой, от которой «отталкиваются» интерпретации действий человека. А вот для теоретиков конструкционизма, напротив, главный объект для понимания – это не «психика», а процессы взаимоотношений. Все, чему психология приписывает ментальное происхождение, конструкционисты пожелали бы объяснить микросоциальными процессами. Если бы психологический проект был полностью обоснован и подкреплен фактами, не осталось бы ничего, что требовало бы объяснения – то есть, не осталось бы мира человеческих действий, в котором социальный конструкционизм был бы необходимым «помощником». Обратное кажется столь же правдоподобным: фактическая интерпретация конструкционизма ознаменовала бы конец психологии.

Однако такого прискорбного итога можно избежать. Его в первую очередь приветствуют реалистская метафизика и корреспондентная теория языка*, и оба этих подхода придерживаются взгляда на науку, согласно которому существует единственная доступная для познания реальность, а теории конкурируют между собой за превосходство в объяснениях и предсказаниях. Именно такой взгляд на науку привел к регулярному междоусобному противостоянию в психологии, в котором бихевиоризм искореняет ментализм, а когнитивизм, в свою очередь, заглушает бихевиористские голоса. Однако, как мы увидели в предыдущей главе, ученые-конструкционисты не всегда склоняются исключительно к реалистской метафизике или к корреспондентной теории языка. Для конструкциониста едва ли существует оправдание для фундаментальных заявлений о реальном; все, что мы считаем значимым – это результат социального взаимообмена. Теории невозможно опровергнуть, основываясь на их соответствии чему-то, что зовется «реальным»; их можно опровергнуть лишь в пределах условных положений, принятых в конкретных анклавах

* *Корреспондентная теория языка – по аналогии с корреспондентной теорией истины, совокупность методологических направлений, определяющих соответствие фрагмента языка объекту реальности. (прим. пер.)*

значения. Следовательно, конструкционисты не создают трансцендентных оснований для уничтожения какой-либо теоретической формулировки. С этой точки зрения, уничтожить теоретический подход – значило бы не только потерять один из человеческих способов понимать (вместе с сопряженными с этим способом социальными практиками), но и лишить голоса целое общество, создающее значения. В пределах конструкционистской метафизики было бы виртуально невозможно определить основания для такого подавления, и многие, действительно, готовы заявить, что в конструкционизме [наоборот] скрывается мощная плюралистская этика[459].

Как же нам тогда, ввиду конструкционистской метатеории, рассматривать профессиональный вклад в психологические исследования, а также практики лечения ментальных заболеваний, рекомендации в области социальной политики и другие практики, основанные на онтологиях ментального процесса? Какова роль онтологии разума в конструкционистской ориентации на действия человека, если не уничтожение? Или, наоборот, какое место занимает социальный конструкционизм в психологии? Именно в этих вопросах становится ключевым конструкционистский интерес к прагматике использования языка. Для конструкциониста язык не служит ни картиной, ни картой того, что происходит; скорее (согласно Витгенштейну[579]), он приобретает свое значение, когда люди используют его в общении друг с другом (и такое использование может включать в себя «игру в описание реальности»). С этой точки зрения, любой анализ научных или академических описаний мира преимущественно (но не исключительно) касался бы способов применения таких языков. В каких же типах отношений, в таком случае, языки играют важную роль, и каковы результаты [использования] особых форм языка для тех, кто принимает прямое или косвенное участие в этих отношениях? Мы не можем составить канонического списка критериев, чтобы проанализировать такие оценки, поскольку в разных обществах будут существовать разные интересы, и даже сами эти интересы могут меняться в зависимости от времени и обстоятельств. Более того, даже то, *как* эти вопросы о языке задают и *как* на них от-

вечают, следует рассматривать как побочный продукт [деятельности] общества, потому что они не основываются на «реальном», и ответы на них также не связаны с «реальным». Скорее, [эти вопросы и ответы] отражают насущные интересы и условные положения общества. Такими заявлениями я едва ли хочу дискредитировать эти исследования [языка в связи с реальным]; едва ли можно сделать больше, чем поднять вопросы о реальном и хорошем в пределах конкретных традиций. Скорее, я хочу открыть научный и академический дискурс для полного спектра соответствующих обществ – при этом не предоставляя ни одному из этих обществ абсолютных «оснований для оценки», тем самым заглушив другие голоса.

В этом контексте во 2 главе я бы хотел рассмотреть три главных направления психологических исследований на основании конструкционистской метатеории. Первое направление, которое настаивает на *денатурализации и демократизации*,– одновременно самое развитое на конструкционистской арене и самое критичное в отношении существующей психологической школы. В то же время, позитивный для психологии потенциал этого направления не был достаточно изучен. Второе направление – *ревитализация и обогащение* – гораздо позитивнее в своей ориентации на психологические исследования. Несмотря на то, что это направление развито менее всего, его разработка кажется самой важной для будущего [психологической] дисциплины. И, наконец, я также хочу рассмотреть конструкционистские попытки устранить определенные проблематичные элементы из перечня ментальных предикатов и реконструировать их дискурс в более перспективном ключе. В частности, мы с вами рассмотрим попытки превратить психику в социо-культуральный феномен. В последние годы эти *попытки социальной реконструкции* значительно усилились, однако их внутреннее напряжение и более широкие последствия до нынешнего момента никто не рассматривал. С помощью этого анализа мы сможем добиться более разностороннего понимания взаимоотношений между психологическими и конструкционистскими усилиями, оценить сходства и взаимозависимость между традиционным и конструкционистским подходами к пси-

хологии, а также с большей покорностью встречать испытания, которые возникают при создании значения.

2.1. Денатурализация и демократизация

Помимо главной угрозы [психологическому проекту], существуют и другие причины, по которым большинство психологов отказывается присоединиться к более широким дискуссиям о социальном строении знания. Несомненно, одна из таких причин – это критически настроенная позиция большей части конструкционистской школы на сегодняшний день: импульс, который, очевидно, направлен на подрыв авторитета психологической науки. Также, из-за ограниченных форм аргументации в эмпирической области психологии, за редким исключением[258], приверженцы этой науки с трудом давали отпор [конструкционистским] атакам. Ни проникновение в суть методологии и статистики, ни обращение к «достоверным фактам» – излюбленные приемы в традиционной эмпирической аргументации – не считаются весомыми возражениями формам конструкционистской критики. И все же, критический конструкционизм не образует единое однородное целое; на кону оказываются разные аргументы. Чтобы оценить мощь этих критических попыток – вместе с их потенциалом и недостатками – важно различать их между собой. Будучи конвергентными, они все равно основываются на трех разных цепочках рассуждений: *идеологическое разоблачение*, *риторическая деконструкция* и *социальный анализ*.

В случае с идеологическим разоблачением конструкционистские критики указывают на социальные последствия способов, которыми психология описывает и объясняет действия человека. По мере того, как в культуре распространяются профессиональные интерпретации с печатью научного авторитета, они влияют на действия людей и управляют социальной политикой. Говоря на языке Фуко[169], притязания на знание и культуральная власть состоят в тесных отношениях. Учитывая способность профессии генерировать множество разнообразных оценок человека, выбор в описании и интерпретации зависит от моральных и политических последствий. В рамках этого контекста

профессиональная психология становится главной мишенью критического разбора – критики, которую еще больше распаляют лицемерные притязания профессии на ценностный нейтралитет. Таким образом, ученые-конструкционисты не раз ставили перед собой задачу продемонстрировать способы, которыми существующие психологические интерпретации (и основанные на них практики) прибегают к усилению правительственного контроля[447]; разрушению демократических основ[446]; поддержке нарциссизма[561]; поддержке индивидуалистской идеологии[170;455]; разрушению общества[43;455]; поддержке патриархального порядка[209;245;376]; укреплению западного колониализма[205]; и так далее.

Такая форма критики резко контрастирует с литературной и риторической деконструкцией. Она представляет собой слияние наработок в континентальной семиотике, постструктуральной литературной теории и риторических исследованиях. В таком случае разумно считать, что все осмысленные предположения о людях содержатся в более обширных системах значения. В значительной степени любое предположение обретает свою понимаемость благодаря тому, что оно находится внутри системы [значения], а не благодаря его референциальной связи с нелингвистическими явлениями (например, моя способность конструировать понятные предложения о природе «любви» в основном зависит от текстуальной истории, а не от наблюдений «за феноменом как таковым»). Риторики делают важный вклад в этот интерес к текстуальному характеру психологической понимаемости: они демонстрируют способ, которым такой дискурс формируется, чтобы возыметь эффект на общество. Согласно такой точке зрения, описания и интерпретации ментальной жизни во многом зависят от способности оратора достичь понимаемости («убедить») с определенной публикой (чтобы объяснить или выразить «любовь» ребенку, романтическому партнеру, священнику или представителю новогвинейского племени, понадобится кардинально разный выбор слов). Риторики часто отслеживают корни понимаемости к различным риторическим приемам – таких, как нарратив или метафора. Например, независимо от «имеющихся данных», интерпретации человеческого развития не могут избежать требований к «правильному повествованию».

В этом контексте проблема профессиональной психологии заключается не в ее дискурсивных предпочтениях как таковых, а в ее притязаниях на объективные обоснования этих предпочтений. Разумно предполагать, что цель притязаний на истину – заглушить противоречащие голоса; дискурс объективности и политический тоталитаризм идут рука об руку. Таким образом, задача конструкционистского критика – разоблачить литературные и риторические стратегии, ответственные за разумность (объективность, понимаемость, удачность) предположений о ментальном мире. Один из первых примеров такого разоблачения – это попытка Смедслунда[497] продемонстрировать, что большинство экспериментальных гипотез в психологии неопровержимы, потому что такие опровержения были бы лингвистически непоследовательными. Подобным образом, я заявлял, что все предположения, которые связывают ментальные предикаты с внешним миром (со стимулами или реакциями), цикличны; их понимаемость основывается на подразумеваемой тавтологии[195;560]. В более широком смысле, ученые не раз заявляли, что теории разума не основываются на наблюдениях (индуктивно) – их извлекают из преобладающих метафор[213;501] и традиций нарратива или повествования[203;462]. Конструкционисты много раз исследовали:

- как с помощью риторических приемов создаются «факты» когнитивной дисфункции («иррациональность»)[338];
- как Руководство по публикации Американской психологической ассоциации (*APA Publication Manual*) поддерживает подразумеваемые предположения о человеческих действиях[37];
- и как такие руководства определяют формы коммуникации и отношений – как в пределах профессии, так и между профессией и культурой в целом[77].

Третий логический подход конструкционистской критики – социально-аналитический – получает стимул от весомых прорывов в социологии знания и в истории науки. Здесь ученые особенно интересовались способами, которыми социальные процессы формируют предположения профессии о ее предмете, методологии и, наконец, о выводах относительно природы мира[301;219]. Для психологии

весомый аргумент заключается в том, что исследователи формируют основополагающие предположения (онтология, эпистемология), в рамках которых будет проводиться исследование, с помощью социальных переговоров. Когда основополагающие предположения (парадигмы) достигнут консенсуса, все интерпретации доказательств будут неизбежно служить их поддержкой; таким образом, парадигмы не «тестируют» на фактах – скорее, они сами определяют, что будет считаться фактами. Исходя из такого положения вещей, критический аналитик указывает на необоснованные и тоталитарные притязания научной психологии на точные и объективные объяснения разума. Разоблачение социальных процессов, неотъемлемых от производства истины, также служит затем, чтобы бросить вызов давним ограничениям в [психологической] дисциплине. Дисциплины сохраняют традиционную приверженность [постижению] истины специализированными методами, из-за чего они крайне склонны становиться обособленными и корыстными; в результате этого дисциплины отстраняются от более широкой вовлеченности в дискуссию – как в науке, так и в обществе в целом. Таким образом, социальная критика служит катализатором для более широкого взаимообмена между науками.

Социальная критика в психологии практически сразу заручилась поддержкой этнометодологических исследований социального обсуждения действительности – например, суицида[185] и гендера[301] – и от определения девиантного поведения[504] с позиции теории навешивания ярлыков*. С того момента исследователи принялись за изучение социальной конструкции разума, включая когнитивные процессы[114], гнев[23], эмоции[247], шизофрению[464], детское развитие[68], сексуальность[535], анорексию и булимию[259] и депрессию[576].

Это направление изысканий дополнили исследования исторических и культуральных контекстов убеждений о психологических процессах. Работая с историей, ученые

---

* *Определение девиантного поведения с позиции теории навешивания ярлыков – теория, согласно которой влиятельные группы навешивают ярлыки на людей из менее влиятельных групп и навязывают им определенные правила; если человек нарушает эти правила (или если представители влиятельных кругов заявляют, что он их нарушил), такого «нарушителя» определяют как «девианта» и навешивают на него ярлык – например, больного человека. (прим. пер.)*

неоднократно интересовались происхождением человеческих конструкций о дурных и приятных запахах[113], ментальном развитии[294], расщеплении личности[237], скуке[502] и «человеческом субъекте» в психологическом исследовании (о недавней интеграции актуальной исторической литературы читайте в работе Кашмена и статье Голднер[127;223]). Культуральные антропологи также изучают культуральную встроенность разнообразных понятий о разуме[75;257;343]. На самом деле, связь само собой разумеющихся убеждений о разуме с местными обстоятельствами ставит под угрозу традиционное предположение об «универсальном предмете исследования».

Прежде всего, эти три направления критической науки (часто идущие рука об руку) всерьез угрожают традиционной эмпирической психологии. Если эмпирические основы для притязаний профессии на истину подорваны, такая же участь ждет и логические основания для традиционного исследования, а также – притязания профессии на авторитет в культуре в целом. К тому же, сами критики часто подкрепляли чувство грядущего уничтожения психологических исследований. Названия работ под редакцией Йена Паркера и его коллег, например – *Деконструируя социальную психологию*[411] и *Деконструируя психопатологию*[410] – удачные тому примеры. Однако такой мрачный вывод безоснователен. Как я утверждал ранее, в конструкционизме нет ничего, что непременно говорило бы в пользу любой формы дискурса. Хотя конструкционистская критика часто может показаться нигилистической, она сама не имеет под собой оснований или оправданий. Конструкционисты сами оказываются жертвами собственных способов критики; их интерпретации неизбежно прогибаются под грузом этических и идеологических подразумеваний, содержащихся в традициях письма, созданных для риторического преимущества, а их «объекты критики» сконструированы в пределах определенного общества и для него. Объекты критики конструкционистов сконструированы не меньше, чем традиционные объекты исследования, а их моральные притязания не имеют под собой трансцендентной, универсальной основы.

Это – еще не конец. Даже по конструкционистским стандартам, можно сгенерировать логические обоснования

для эмпирического исследования. Один из ключевых аргументов в конструкционистской метатеории заключается в том, что язык не подражателен: то есть, он не функционирует как картина или карта независимого мира. Скорее, язык функционирует перформативно и конститутивно; им пользуются общества или собеседники с целью поддержания отношений – включая свойственное для данной местности строение реального и хорошего. Как я уже утверждал в другой работе[195], такой взгляд не уничтожает эмпирическую науку; он просто лишает ее привилегии в притязании на истину за пределами конкретного общества. Например, в конструкционистских аргументах нет ничего, что призывало бы прекратить медицинские исследования. Конструкционист лишь отметил бы, что онтологические категории такого исследования, а также определения «болезни» и «лечения» нужно рассматривать не как универсально верные, а как побочные продукты исторически, культурально и идеологически определенных целей. Точно так же, психологи могут правильно использовать концепции ментального процесса в эмпирическом исследовании, а такое исследование можно использовать, чтобы дополнить процессы прогнозирования в других секторах культуры (например, прогнозирование результатов голосования, предпочтений присяжных или процента самоубийств). Конструкционистское утверждение в первую очередь заключается в том, что нет никаких оснований использовать в языке формулировку «нечто – верно/истинно» в таких вопросах.

Мы можем сделать вывод, что критический голос конструкциониста не нужно считать разрушительным. Скорее, эти направления критической науки служат важным функциям денатурализации* и демократизации. Денатурализируя «объекты исследования» вместе с методологиями, отчетами об исследованиях, статистикой и итоговыми практиками, критическое исследование сначала внушает необходимое смирение. Его цель – обуздать бесцеремонные притязания на безграничную универсальность, на истину за пределами культуры и истории, и на факты без

* *Денатурализация – буквально: лишение подданства или гражданства; в данном контексте термин используется в значении «лишение принадлежности к определенной области науки». (прим. пер.)*

интерпретации. Такие притязания вызвали широкий скептицизм в культуре [к которой принадлежит ученый с подобными претензиями], а также – глобальное осуждение со стороны тех, кто к этой культуре не принадлежит. В то же время, такая критика постоянно побуждает психолога избегать шор единичного объяснения и расширять диапазон интерпретативных возможностей, доступных в профессии и в культуре. Все, что кажется «очевидным», может оказаться другим. Вскоре мы вернемся к этому вопросу.

Помимо преимуществ денатурализации, конструкционистские формы критики также приветствуют плюралистическую политику – как в рамках профессии [психолога], так и в ее взаимоотношениях с многочисленной публикой. В рамках профессии эти формы способствуют приостановке летальных конфликтов между соревнующимися школами, а также – расширению базы для диалога в области психологии. Конструкционисты противостояли бы дисциплинарному «мейнстриму», поскольку такое условие означало бы интеллектуальное ограничение и очерствение. Гуманисты, феноменологи, феминисты и спиритуалисты, например, разделили бы мотивы и результаты с бихевиористами и когнитивистами. Другие культуры считались бы не областями для распространения чьей-то местечковой модели разума, а богатыми хранилищами альтернативных способов понимать. Конструкционистская критика также открывает доступ к психологии для множества голосов культуры в целом. Тогда как психология в основном была глуха к этическим и идеологическим сомнениям касательно ее практик, критическая наука приветствует такие сомнения [для обсуждения] на профессиональном форуме. Такая плюрализация голосов особенно важна, поскольку постулаты эмпирической психологии не предлагают никаких способов для самоанализа, кроме как в рамках этих самых постулатов. Наконец, попытки денатурализации и демократизации способствуют развитию диалогических отношений между психологией и ее многочисленной публикой – то есть, развитию форм взаимодействия, которые не просто помогают сделать профессиональную работу [психолога] более понятной, но и улучшают применимость профессиональной работы на общее благо. Фактически, когда

мы убираем угрожающую риторику конструкционистской критики, мы видим, что она может значительно расширить наши возможности взвешенных рассуждений и социальной вовлеченности.

2.2. Ревитализация и обогащение

Предполагается, что в конструкционистской метатеории не существует ничего, что непременно препятствовало бы эмпирической работе в психологии. Подобным образом, конструкционизм сам по себе не закрывает доступа какого-либо термина в лексикон ментальной жизни. В этом смысле, критики конструкционизма, которые жалуются на его склонность недооценивать или принижать «Я»[251;406], агентность и уникальность[164] или ставить социальное выше материального[370], путают метатеоретическую ориентацию с фундаментальной онтологией. Конструкционистская метатеория ни отрицает, ни утверждает существования каких-либо ментальных «сущностей» или «процессов». Конструкционистский вопрос заключается не в том, существует ли разум «на самом деле»; конструкционизм избегает вопросов фундаментальной онтологии в пользу вопросов о прагматике интерпретации в обществах. Подобным образом, традиционные психологические дискурсы о познании, эмоциях, мотивации, ментальном расстройстве и так далее не противоречат конструкционистской метатеории. Скорее, для конструкциониста такие дискурсы – это просто формы конструирования человека в развивающемся профессиональном обществе, формы, которые могут быть тесно взаимосвязаны с распространенными способами говорить и действовать в культуре[124].

Для профессионального психолога ментальные дискурсы имеют высокую коммуникативную ценность. Действительно, без общих дискурсов такого типа не было бы ничего, что можно было бы осмысленно назвать «профессией». Однако, учитывая ценную традицию дискурса и практики, конструкционистская метатеория все же приводит к ряду провокационных рассуждений. Среди них: какие формы психологического дискурса стоит предпочитать, и для каких целей? Для кого эти языки [то есть, формы дискурса] полезны, и для

каких проектов? Помогают ли современные разработки [в области психологии] преимущественно представителям профессионального общества? Каким образом они помогают – или вредят – получателям категорий, [формируемых в таких дискурсах]? Какие политические стратегии, институты или отдельные действия приветствуются ввиду того, что культура перенимает профессиональный дискурс? Какие формы культуральной жизни оказываются невидимыми и уничтоженными? И, учитывая потенциальное влияние таких дискурсов на социальную трансформацию, какие новые или восстановленные формы дискурса приветствуются?

Именно в этой области дискуссии мы видим второе по значимости направление психологических исследований, одобренных с конструкционистской точки зрения. Хотя рассуждения о ценности текущих изысканий крайне важны, конструкционизм также позволяет исследователю отказаться от само собой разумеющихся онтологий психологии. Стремление к консенсусу («унифицированная психология») ослабевает, и ученого побуждают исследовать полутени возникающей понимаемости, типы возможных, но нереализованных формулировок. Здесь я говорю не о слепом накоплении [примеров] «психо-лепета»*, а об осторожном и внимательном развитии психологического дискурса, направленного на специфические культуральные (моральные/политические) цели. Если люди пользуются психологическим языком для ведения культуральной жизни, новые формы языка предлагают альтернативные варианты будущего. Альтернативные концепции функционирования психики могут поспособствовать возникновению форм жизни, которые для многих людей обещают больше, чем нынешние, очевидные и не подлежащие сомнению формы. В этом случае ученый отказывается от проблематичной задачи описать, «в чем дело», и вместо этого, принимается выковывать языки, тем самым содействуя тому, что может произойти. Беспристрастное наблюдение открывает путь для того, что мы можем считать *поэтическим активизмом*.

И все же, хотя конструкционизм снимает с нас бремя существующих онтологий, движение к значению едва ли

* *Психо-лепет – письменная или устная форма, в которой используется психологический жаргон, «модные» слова и эзотерический язык, чтобы произвести впечатление правдивости или убедительности. (прим. пер.)*

может продолжаться за пределами традиций какой-либо общности. Дискурс, созданный за пределами текстуальных историй какой-либо культуры, не просто не смог бы коммуницировать – не существовало бы практик, в которых он был бы релевантен. Не было бы возможности выполнять никакую культуральную работу. Именно по этой причине так много дискурсов, созданных в изолированных научных анклавах, в других областях отметают как «простой жаргон». Фактически, конструкция новых значений должна происходить из живых традиций, при этом не дублируя их. Здесь полезно рассмотреть потенциал дискурсивного обогащения на основе, во-первых, традиций родной культуры (историческая археология) и, во-вторых, на внешних традициях (культуральное толкование).

В случае с исторической репрезентацией, основной вызов дискурсивного обогащения – поддерживать психологические традиции, которые в ином случае были подавлены доминирующими дискурсами. Например, гуманистическую традицию по большей части игнорируют все основные психологические труды. И все же, хотя гуманистический дискурс индивидуального намерения и проблематичен в некоторых отношениях, его гибель представляет собой угрозу заветным культуральным институтам (например, демократии и этике). Подобным образом, хотя феноменологическая теория была, по сути, разрушена ранним развитием бихевиоризма, забытье языка субъективного опыта лишает культуру важной причины ценить человеческую жизнь. Воскрешение этих языков в современных теоретических и культуральных диалогах (гуманистических – с одной стороны[453] и феноменологических – с другой[430]) кажется крайне важной задачей. Подобным образом, жизненно важное обогащение ресурсов представлено в попытке оживить герменевтическую традицию[1;357;370], которая когда-то имела первостепенное значение для самого понятия психологии как *Geisteswissenschaft* (нем. *гуманитарная наука*). Герменевтические рассуждения выполняют важную функцию – они препятствуют способам деперсонализации, таким распространенным в эмпирической исследовательской традиции.

Также, на мой взгляд, нужно отдать должное работе, источником которой стали наши [конструкционистские]

традиции, чтобы расширить диапазон «оценочного дискурса». Профессия психолога была настолько «очарована» инструменталистским этосом и его акцентом на решении проблем, что в результате она в основном предлагала культуре дискурс дефицита[195]. Например, масштабная и постоянно растущая терминология ментальных заболеваний – это способ поставить под угрозу социальную идентичность. Когда такой дискурс начинает действовать, он дискредитирует, разделяет и отдаляет. Поэтому нам жизненно необходимы дискурсы, которые побуждали бы людей к более ценным способам бытия, а также – к способам конструирования себя и других, которые бы укрепляли чувство здоровья и человеческого благополучия. Среди работ, сделавших важный вклад в эту область, я бы указал ранние попытки реконструировать женскую психологию в «ключе» большего самоусиления[40], концепцию Лифтона[332] о протеевском «Я» как об источнике стойкости, конструкцию Чиксентмихайи[122] опыта «потока» и возрастающий интерес к мудрости[515]. Также можно поприветствовать недавние попытки создать позитивную психологию, чтобы компенсировать ориентацию на дефицит, которая царила в области психологии до сегодняшнего дня. (Смотрите, в частности, выпуск января 2000 года журнала *The American Psychologist*). Несмотря на свои реалистские предпочтения, в каждом случае теоретики все же подкрепляют и обогащают те языки, которые наделяют людей особыми дарами, потенциалом и силами.

Другое [направление] работы в «позитивном ключе» находится под более прямым влиянием конструкционистской метатеории. Здесь ученые меньше склонны «описывать существующие состояния», а больше – поддерживать расширяющиеся возможности конструкции собственного «Я». Например, Аверилл и Нанли[24] отстаивают возможность вести «эмоционально креативную» жизнь, которая выходит за пределы традиционных выражений и восприятий эмоций. В своей книге *Конструируя ход жизни* Губриум, Хольстейн и Бакхольдт[233] отказались от традиционного взгляда на эпигенетические* траектории развития,

---

* *Эпигенетический – (биол.) возникший или развившийся в результате неких вторичных процессов. (прим. пер.)*

и вместо этого, исследуют возможности совместной (коллаборативной*) конструкции индивидуального будущего. Эта же ориентация на креативное использование конструкции сегодня охватила значительную часть терапевтической теории и практики[10;364;568;574].

Это – лишь несколько примеров того, как ученые могут использовать существующие культуральные диалоги, чтобы сформировать онтологию** человека, способы понимания, которые зачастую более «осуществимы», чем формальные подходы науки, и которые открыто ведут к культуральной трансформации. Потенциал такого поэтического активизма почти не изучался. Например, духовные традиции невероятно важны в культуре, однако при этом их практически целиком искоренили из психологического словаря. Оживление и повторное присвоение истории также необходимо усилить, открыв область [психологии] для альтернативных культуральных концепций. Понемногу мы начинаем осознавать потенциал индийских рукописей о разуме[408], азиатскую социальную психологию[520], конфунцианские концепции «Я»[540] и концепты человека и ментального здоровья у метисов[432]. Такой процесс «перекрестного опыления» пока что находится на этапе становления и заслуживает серьезной поддержки.

Я считаю, что конструкционизм делает особый акцент на воскрешении, создании и присвоении психологических способов понимания; при этом дисциплина пополняет дискурсивные ресурсы культуры. Следовательно, попытка заключается в том, чтобы обогатить психологию способами, которые могут способствовать позитивным трансформациям в обществе. Однако в данном случае необходим момент рефлексии. Особого внимания требуют три вопроса. Во-первых, такое предложение [помощи] может показаться неискренним. Критик может спросить: если конструкционизм упраздняет все основания или последние гарантии предположений о людях, не окажутся ли последующие попытки «описать и объяснить» – как описано выше – пу-

---

* *Здесь мы используем слово «коллаборативный», чтобы передать, что такая конструкция происходила благодаря сотрудничеству, совместной работе ученых. (прим. пер.)*

** *Онтология – наука о бытии как таковом, которая изучает его сущности, категории, структуру и закономерности. (прим. пер.)*

стыми («просто словами»), или, что еще хуже, формами пропаганды? Зачем психологу тратить свои усилия на это? И в чем тогда заключается разница между рассуждениями психолога о «потоке», «потенциале перевоплощения», «мудрости» и так далее, и проповедями священника о боге или духовной жизни? В ответ на это у ученого-конструкциониста нет никаких оснований отстаивать такие способы понимания. [Он] поддержит интерпретации [действий] человека не потому, что они «истинны», а, скорее, потому, что они предлагают важные варианты действий. Когда теоретик ведет речь о психологических процессах, он не должен страдать от недостатка уверенности или от чувства вины за неоднозначность – ничуть не более, чем если бы он объявил «фол» в бейсбольной игре или заявил, что растление малолетних в его обществе считается злом. Уверенность и чувство подлинности рождаются из всеобщей вовлеченности, а не из обоснований «истинного», «реального» или «универсально этичного». В этом смысле, психологическая теория – не более (и не менее) истинна, чем спиритуализм или физика. Зерна культуральных способов понимания дают побеги на самой разной почве. Однако традиция ментальной интерпретации – богата и важна, и во многих отношениях она – ключевая для главных институтов Запада. Важность взвешенного, креативного, совместного внимания к дальнейшему развитию [ментальной интерпретации] трудно переоценить.

Вторая проблема связана с формой прагматизма, подразумеваемого в представленных аргументах, а особенно остро – с инструменталистской интерпретацией прагматизма. Как я обосновывал, конструкционизм побуждает ученого рассмотреть пользу психологической теории для общества и вдохнуть жизнь в концепции, которые отдают предпочтение определенным моделям будущего культуры и мира, при этом игнорируя другие модели. В то же время, такой взгляд вынудил бы теоретика исполнять роль великого стратега, который перекраивает мир на свой манер. Такой вывод был бы неутешительным. В этом смысле, инструменталистская концепция прагматики – это не лучший «товарищ» для конструкционизма, хоть эта концепция и объединяется с прагматической традицией. Ин-

струменталистский взгляд – это, по большому счету, результат индивидуализма, и, в частности, предположения, что люди – это рациональные и автономные существа, которые принимают решения, чтобы добиться своих личных целей. Однако конструкционизму не только не удается представить человека как автономного актора; когда его [конструкционизма] концептуальные подразумевания расширяются, он поощряет подход к человеческим действиям, который весьма отличается от традиционного подхода. Хотя вскоре мы рассмотрим этот подход, в этом контексте важно в полной мере оценить разницу между конструкционистским и инструменталистским концептом прагматики. Конструкционизм придает особое значение осмысленному действию, включенному в расширенные паттерны взаимообмена. Таким образом, осмысленное действие всегда последовательно – то есть, оно обозначает взаимозависимость между тем, что было, и тем, что будет. Таким образом, по традиции, действия человека поддерживают и/или подавляют то, что было раньше, и в то же время их функция – создать настоящее с будущим развитием и последствиями. В чем именно заключаются эти «последствия» – это вопрос, открытый для постоянных дискуссий. В свою очередь, такие дискуссии сами выполняют прагматическую функцию в этом более относительном смысле[64].

Наконец, в подобных предположениях критик может увидеть «трансформационистские предрассудки» – то есть, постоянную поддержку нового, расширенного и революционного в противовес общепринятому, традиционному и надежному. Несомненно, в этом и заключается главный подтекст рассуждений, которые я представил выше. Однако такие предрассудки нужно рассматривать на фоне современного контекста – интеллектуального и культурального. Поскольку западная психология – это, по сути, дитя культурального модернизма[193], а культуральный модернизм занял господствующую позицию (сегодня на его положениях основывается большинство основных институтов западной культуры), психология, которая попросту поддерживает статус-кво, мало что может предложить культуре. Она становится «тоненьким голоском» в мощном хоре. Сам по себе конструкционизм не противоречит традиции; на самом

деле, традиция необходима для конструкции всех значений. Однако, если некто желает присоединиться к профессии, которая играет важную роль в увеличении ресурсов культуры, конструкционистские аргументы могут предложить такому человеку серьезную поддержку. На самом деле, кажется, что в нынешнюю эпоху каталитическая* концептуализация может дать больше, чем повторение давних способов понимания.

2.3. Социальная реконструкция разума

Существует и третий подход к «психике», предложенный в конструкционистских работах – подход, для которого предыдущие аргументы служат важными предпосылками. Как мы уже увидели, традиционную психологию немало критиковали за ее скрытую поддержку индивидуалистской идеологии и институтов. Согласно разнообразным утверждениям, объясняя действия людей психологическими причинами, мы поддерживаем взгляд на людей как на фундаментально изолированных, самостоятельных и самодостаточных существ. С традиционной точки зрения, отношения между людьми – это искусственные побочные продукты деятельности людей, обычно действующих автономно; социальное – вторично и происходит из индивидуального. Критики заявляют, что по мере того, как такие концепции воплощаются в культуральной жизни, они делают естественным и привычным отчуждение (каждый из нас одинок в своем опыте), поглощенность собой или нарциссизм и конфликт всех против всех (каждый человек – за себя). Однако этой критике сопутствует второе логическое направление, которое мы уже рассматривали ранее; в основном, оно заключается в том, что главной целью науки, с конструкционистской точки зрения, должно быть обогащение культуральных ресурсов. В частности, путем развития новых онтологий можно открыть альтернативные и, возможно, более перспективные способы действовать в рамках культуры. Соединяясь, эти линии аргументации способствуют реконцептуализации человека в новых, не индивидуалистических, терминах.

---

* *Каталитический – придающий импульс, ведущий к изменениям. (прим. пер.)*

Существует много форм реконцептуализации, среди которых – экологическая, социальная, структурная и социоэволюционная. Однако конструкционистская метатеория особенно приветствует *социальную* реконструкцию человека. То есть, во множестве диалогов, из которых состоит конструкционистское движение, предпочтение отдается именно социальному, а не индивидуальному. Например, особое внимание уделяется языку, диалогу, переговорам, социальной прагматике, позиционированию в разговоре, ритуалам, культуральной практике и распределению власти. Как я уже говорил раньше, теоретики-конструкционисты не обязаны заново подкреплять примерами конструкционистскую метатеорию в своих научных интерпретациях мира или людей. В этом отношении метатеория не диктует им ничего. Однако, поскольку конструкционистская метатеория подразумевает альтернативу индивидуализированной концепции действий человека, есть весомая причина изучить потенциал [метатеории] в разработке более социальных или реляционных* описаний человека. На самом деле, цель третьей конструкционистской ориентации на [изменение] психологического мира – реконструировать его как область социального.

Конечно же, попытки концептуализировать человека как социального актора давно выделялись на интеллектуальном ландшафте[79]. Нынешние конструкционистские попытки следует рассматривать как продолжение этой традиции. В то же время, существуют важные различия между современными теоретиками – различия в их приверженности ключевым конструкционистским принципам. В аналитических целях полезно рассмотреть непрерывный ряд концептуализаций, которые в разной степени соответствуют традиционному индивидуализму (и его тесному союзу с эмпиризмом) – в отличие от конструкционистских работ, в которых главную роль играют отношения. Давайте сначала рассмотрим более консервативный «полюс». Глубоко уважая существующие традиции, мы находим концептуализации социального «Я», которые 1) делают особый акцент на специфических психологических состояниях и процес-

** Здесь мы используем понятие «реляционный» как связанный с отношениями, взаимодействием между сторонами. (прим. пер.)*

сах; 2) предполагают реальность своего предмета изучения (за пределами культуральной конструкции); 3) полагаются на будущие исследования или пытаются сформировать для них фундамент; 4) считают язык анализа соответствующим природе, а ученого рассматривают как информатора культуры; 5) считают научные попытки политически/идеологически нейтральными. Для сравнения и оценки давайте сначала рассмотрим социальные реконцептуализации, которые подчеркивают такие традиционные тенденции.

Люди как носители культуры

Противостояние нативизма* и энвайронментализма**, ставшее центральной темой большинства серьезных дискуссий прошлого столетия в области психологии, предоставляет плодотворный контекст для одной из наиважнейших попыток социального реконструирования «Я». Тот факт, что люди находятся под влиянием своего культурального окружения, виртуально послужил само собой разумеющимся теоретическим подразумеванием в психологии. Очевидно, что именно так обстояло дело во время «царствования» бихевиоризма, однако даже нативистски ориентированные когнитивисты не смогли – если только они не «сели на мель» солипсизма – оставить этот концептуальный причал. И все же манера, в которой социальные реконструкции человека сегодня расширили эту традицию, формирует драматическое несоответствие между бихевиористскими и когнитивистскими формулировками. И бихевиористы, и когнитивисты убеждены, что человек наделен определенными психологическими структурами или процессами. Для бихевиориста окружение может стимулировать внутренние состояния или влиять на них; для когнитивиста окружающие условия предоставляют «сырье» для когнитивного присвоения. Ни в одном из случаев ментальный фундамент как таковой не строится, не уничтожается и не трансформируется. Именно это движение характери-

---

* *Нативизм – философско-психологическая концепция, согласно которой человеку присущи независимые от опыта врожденные идеи, с помощью которых он познает мир. (прим. пер.)*

** *Энвайронментализм – концепция, согласно которой окружающая среда играет важную роль в обществе и оказывает на него существенное влияние. (прим. пер.)*

зует ряд недавних попыток социальной реконструкции. Не раз и по-разному обосновывали: не самодостаточный человек предшествует культуре, а, наоборот, культура устанавливает базовый характер психологического функционирования [этого человека].

Эти попытки не только основываются на энвайронменталистской традиции – в большинстве случаев важные связи создаются с помощью теорий из прошлого психологии. Например, крайне влиятельная работа Брунера[75] основывается на работах Выготского, Бартлетта, Мида и целого пантеона других выдающихся психологов в предположении, что «именно культура, а не биология, формирует человеческую жизнь и человеческий разум, придает значение действию, помещая его глубинные намеренные состояния в интерпретативную систему»[75]. И наоборот, Джеймс Ги[189] «выжимает» поддержку из мириады лингвистических и когнитивных предположений, чтобы заявить, что «человек интерпретирует опыт, формируя «народные теории», которые в сочетании с нелингвистическими инструментами разума заставляют человека говорить и действовать определенным образом...»[189]. Подобные попытки «социализировать» «Я» значительным образом основывались на работах Джорджа Келли[389], Фрейда[177] и теории объектных отношений[374].

Для примера давайте рассмотрим обширное описание человека как носителя культуры (авторства Арре и Жиллета[250]). Хотя они отрицали именно дуализм, гипотетически-дедуктивную программу и лабораторные эксперименты, в своей книге они стремительно перешли к обсуждению природы психологических состояний и условий. Мы узнаем, что «Концепты – это основа мышления, и они выражаются словами»[250]. Затем «мы должны учиться считать разум точкой пересечения множества структурирующих воздействий...»[250]. После этого авторы приступают к описанию процессов мышления, «когнитивных систем, которые могут справиться со сложностью и разнообразием опыта реального мира ...»[250], а человека – как агента своих действий, опыта и восприятия. Реальность этих разнообразных процессов никогда не ставится под вопрос, как и их функция во взаимодействии с «миром таким, какой он есть на самом деле ... а не таким, каким кто-то хотел бы его

видеть»[250]. Затем целая глава («Дискурс и мозг») посвящена связи этих ментальных процессов с нейронными сетями. Обсуждение функции мозга служит дополнительным способом «загрузки» анализа в установленные и принятые знания. Таким образом анализ обретает под собой основу. В своей книге авторы открыто пытаются установить основу для «второй когнитивной революции». То, что в своем анализе они пытаются пролить свет на истину о человеческом функционировании,– это предположение, которое никогда не подвергалось пристальному рефлексивному изучению. В своей книге авторы заявляют, что их дискурс «несет в себе истину», а читатель для них необходим в качестве несведущей аудитории. При этом книга не считается идеологической. Ее основная цель – проинформировать читателя о природе человеческого действия, «сделать доступными основные положения и некоторые результаты исследований дискурсивной психологии»[250].

Эти разнообразные попытки концептуализировать ментальный процесс как производную социального процесса представляют собой важный шаг к пересмотру концепта человека в психологии. И, хотя многие конструкционисты считают такую ориентацию на объяснение все еще слишком консервативной, сама ее созвучность с предыдущей традицией может послужить ее важнейшим риторическим инструментом. Взгляды инновационны, но не радикально разрушительны; они вовлекают существующие способы понимания и навыки в диалог вместо того, чтобы подрывать их; они скорее сотрудничают, чем осуждают. А значит, нужно ли искать альтернативы метафоре человека как носителя культуры? Многие бы ответили, что нужно. Такие ориентации на объяснение – распространенные и знакомые, а потому есть риск, что существующие традиции целиком их поглотят. Они слишком легко могут стать кандидатами для эмпирической оценки, и такая оценка косвенно укрепляет дуалистсткую метафизику, которая в итоге должна уничтожить сами эти концепты [человека и ментального процесса]. Метафизика эмпирической оценки предполагает существование ученого, который может претендовать на истину за пределами культуры, понимание за пределами «народной психологии», универсальность вместо исто-

ричности. Если эти теории разума как носителя культуры являются кандидатами на истину, их в итоге необходимо опровергнуть.

Это – не единственная причина расширить способы понимания за пределы взгляда на людей как на носителей культуры. На концептуальном уровне эти взгляды оставляют сложные проблемы без решения. С моей точки зрения, ключевой вопрос – как человек может усвоить культуральные способы понимания – остается теоретически неразрешенным. Как я утверждал[195], эта проблема не имеет решения в принципе. Если ментальный процесс отражает социальный процесс, тогда усвоение социального должно происходить без ментальной обработки. Если ментальный процесс необходим, чтобы понять социальное, тогда ментальное должно предшествовать социальному. Социальный взгляд на индивидуальное разрушается. Более того, многие конструкционисты находят такие интерпретации недостаточно рефлексивными – не только из-за иерархий в их притязаниях на власть, но и из-за невосприимчивости к этическим и политическим подразумеваниям их работы. Поэтому необходим альтернативный пересмотр [концепта] человека.

Люди, погруженные в культуру

Вторая, меньшая группа теорий не так очевидно связана с традиционными предположениями в области [психологии]. В этом случае фокус внимания перемещается с изложений психологического процесса, сформированного культурой, к социальному процессу, из которого невозможно «извлечь» (и понять) функционирование человека. Такие интерпретации фактически уничтожают противопоставление «Я»-другой (человек-культура). Для теоретиков этого направления традиционная психология предлагает мало концептуальных ресурсов (за исключением избранных работ Гарри Стэка Салливана и Выготского); поэтому необходимо найти другие традиции. Например, Эдвард Сэмпсон[463] во многом основывается на идеях Витгенштейна[583] и Бахтина[29;30], утверждая, что «всякое значение, включая значение собственного «Я», уходит корнями в социальный

процесс и должно считаться постоянным выполнением этого процесса. Ни значение, ни индивидуальный разум не являются предпосылками для социального взаимодействия; скорее, они возникают из разговоров, которые происходят между людьми, и находят поддержку в этих разговорах»[30]. Разрабатывая «риторически ответный» взгляд на человеческие поступки, Шоттер[484] расширяет диапазон актуальных в этом вопросе работ и включает в него Вико, Валосинова и Гарфинкеля. Шоттер интересуется тем, как «ответные значения сначала всегда «ощущаются» или «чувствуются» в самом разговоре ... и при этом они поддаются дальнейшему ответному (чувствительному) развитию»[484].

В этом контексте в книге *Диалогическое «Я»: значение как движение* (*The dialogical self: meaning as movement*) Германс и Кемпен[261] наглядно противопоставляют свою работу анализу Арре и Джиллетта. Развернутые интерпретации ментального процесса в последней работе можно сравнить с анализом *sotto voce* (итал. вполголоса) разума авторства Германса и Кемпена. Например, эти авторы считают, что эмоции – это «риторические действия», а агентивность – это побочный продукт участия в диалогических отношениях. Такая более щадящая интерпретация ментального процесса – близкий спутник сдержанного реализма. В своей теоретической интерпретации[261] авторы также чутко отнеслись к функции метафоры, признав, что их дискуссия о ментальном процессе основана на метафоре нарратива. Оставив попытки предоставить фундамент, они полагают, что «Главная цель [их] работы – свести вместе два уже знакомых концепта, диалог и «Я», и объединить их так, чтобы стал заметен более обширный взгляд на возможности разума»[261]. И, хотя они время от времени вплетают данные в свой анализ, они используют доказательства не для того, чтобы исправить вывод. Скорее, «мы хотим представить некоторые эмпирические изыскания, которые служат иллюстрацией для наших более обширных теоретических и концептуальных дискуссий»[261].

Германс и Кемпен едва ли разъясняют социальные/политические последствия своих интерпретаций; они гораздо больше заинтересованы тем, какой вклад их работа делает в научное общество, а не в более общий этос политики.

Сэмпсон[460] и Шортер[484] более политичны в своей работе над этим вопросом. Анализ Сэмпсона конкретно посвящен «прославлению другого» и потенциалу такой формулировки в подрыве власти и в ослаблении подавления. Шоттер[484] весьма интересуется политической стороной повседневных взаимодействий, а также тем, как использовать психологию, чтобы дать слабым голосам больше пространства для выражения.

Реляционное строение «Я»

Существует третья, более радикальная реконцептуализация ментального, и она же больше всего соответствует конструкционистской метатеории. Как было указано, такая метатеория отслеживает возникновение онтологических постулатов к языку, а происхождение языка – к процессам отношений. Предположительно, все, что можно сказать о ментальном процессе, возникает в процессе отношений. Если же максимально развить эту точку зрения, возникает возможность исследовать ту область теоретического способа понимания, в которой ментальные предикаты никогда не выполняют референтную функцию, а социальный процесс служит существенной опорой для объяснения. То есть, [в этом случае] мы можем полагаться на «свержение» психологических состояний и патологий в качестве объяснений поступков человека, а также – на воссоздание психологических предикатов в сфере социальных процессов.

Один из важных путей к социализованной психологии возник из современного дискурс-анализа. Такой анализ обычно фокусируется на прагматике дискурса наряду с вопросами референции (семантики). Следовательно, в случае с ментальным дискурсом аналитик меньше интересуется ментальными феноменами, на которые дискурс может ссылаться или не ссылаться, чем способом, которым дискурс функционирует в отношениях. Например, в основополагающей работе Поттера и Уэтерелла[431] понятие «установка» лишено ментальных референтов и, на их взгляд, служит, чтобы указать на притязания [человека] относительно своего позиционирования в социальном взаимодействии. Следовательно, установка – это, по сути, социальное притя-

зание («Я чувствую...», «На мой взгляд...», «Я предпочитаю...»), а не внешнее выражение внутреннего импульса. В своем эссе о памяти[54] Биллиг фокусируется на том способе, которым люди обсуждают прошлое, тем самым определяя память не как ментальное событие, а как достижение в отношениях. Или, как предполагает Шоттер[483], память – это «социальный институт». В своей работе *Дискурсивная психология*[149] Эдвардс и Поттер излагают важную попытку заменить когнитивные процессы дискурсивными в объяснении взаимодействий между людьми. Интерпретация «текстуализации бытия» Стеннера и Экклстона[513] также созвучна с этой линией аргументации.

Значительная часть моих собственных работ в этой области основывается на дискурсивной психологии. Однако, хотя меня интересует именно дискурс, в эту работу я пытаюсь включить (1) больше обогащенных паттернов проявлений («перформансов» определенных эмоций) и (2) паттерны отношений между участниками. В первом случае, хотя дискурс часто является ключевым для анализа, устная и письменная речь не исчерпывают спектра интересующих [меня] вопросов. В идеале сюда стоит включить физические, телесные действия участников, а также разнообразные объекты, «реквизит» и физические условия, которые делают такие проявления доступными для понимания. Что же касается паттерна отношений, он сосредоточен на паттернах, которые повторяются во взаимодействии. Чтобы разъяснить такое предположение, давайте рассмотрим пример с эмоцией. Термины для определения разных эмоций (например, гнев, любовь, депрессия) могут служить ключевыми элементами разговора, а атрибуция эмоций себе и другим играет первостепенную роль в социальном взаимообмене. Однако я посчитал, что полезнее рассматривать эмоциональные проявления в более конкретном воплощении[195]. Это значит считать лингвистические выражения возможными, но не ключевыми компонентами действий, которые могут требовать паттернов жестов, взглядов, телесной ориентации (и, возможно, физические артефакты или определенную местность), чтобы добиться понимания этих выражений. Здесь я в первую очередь обязан работе Аверилла[23] об эмоциональных проявлениях. Однако я пы-

таюсь шагнуть за пределы индивидуального проявления, чтобы рассмотреть паттерны взаимообмена, в котором это проявление происходит, и без которого оно бы превратилось в культуральную бессмыслицу.

Я использую термин «сценарий отношений», чтобы указать на повторяющиеся паттерны во взаимодействии (*прожитые нарративы*), в которых «психологические проявления» играют неотъемлемую роль. Таким образом, например, проявление *злости* (вместе с дискурсом, выражениями лица, положениями тела) обычно вплетено в сценарий, в котором может потребоваться предшествующее *оскорбление*, чтобы проявление злости имело смысл; проявление злости также подготавливает почву для последующего появления *извинения* или *защиты*; и если предлагается извинение, то в западном сценарии предпочитаемым ответом является *прощение*. На этом моменте сценарий можно завершить. Все действия, из которых состоит последовательность – от оскорбления к прощению – нуждаются друг в друге, чтобы обрести свой законный вес. Эта форма анализа также применима к другим формам психологического проявления[196].

В отличие от большей части дискурс-анализа (и отчасти конверсационного анализа), в такой интерпретации доказательства – не главное. На смену цели «истина» приходит цель «понимание». В результате такой замены читатель остается в роли «незнающего», однако моя интерпретация собственной позиции как «знающего» подвергается сомнению. На самом деле, понятность интерпретации невозможна без согласия читателя. Более того, в соответствии с конструкционистской метатеорией и ее акцентом на «потребительской ценности» языка, я все больше выхожу за рамки языка печатной страницы, чтобы найти или развить соответствующие культуральные практики. Например, если определенные эмоциональные сценарии не способствуют благополучию участников, как эти сценарии могут понятно и доступно изменить знакомый ход действий? Таким образом, моя попытка заключается в том, чтобы распространить «потребительскую ценность» теоретического дискурса на паттерны повседневной жизни[365]. И хотя большая часть (но не вся) дискурсивной работы политически нейтральна,

эта моя работа открыто направлена против индивидуалистской идеологии и связанных с ней практик.

Хотя эти попытки воссоздать «Я» как реляционное понятие более радикальны, чем предыдущие альтернативы, в итоге нам также нужно признать ограничения таких попыток. С одной стороны, многие ученые считают, что эти попытки слишком выбиваются из установленного порядка, и поэтому запрещают их использование в более распространенных (и профессионально приемлемых) целях. С другой же стороны, ученые, более склонные к социологическим направлениям, заявляют, что подобные ориентации слишком микросоциальны. Человек действительно может переписать понятие «разум» в более коллективном «ключе», заявив, что рассудок, память и так далее широко распространены в организациях или культурах[142]. Однако некоторые все же находят такие ориентации слишком элитистскими*. Подобный анализ понятен только привилегированным ученым. Наконец, считается, что сильный акцент на отношениях противоречит важным ценностям, свойственным индивидуалистской традиции (например, демократии, гуманизму, равенству). Позитивному характеру традиции уделяется мало внимания, отчего она оказывается в опасности.

2.4. В заключение

Мы обнаружили, что социальный конструкционизм вовсе не подрывает психологическую науку – наоборот, он функционирует генеративно, расширяя и обогащая ее потенциал. Прежде всего, конструкционистское стремление к денатурализации и демократизации побуждает ученого не только взглянуть на то, какой именно вклад его работа делает в моральное и политическое «полотно» культуры, но также и открывает область для более обширного диапазона диалога. Особое предпочтение отдается формам диалога, которые могут связать дисциплину с ее культуральным окружением, взаимно трансформируя способы понимания так, чтобы психология играла более важную роль в обществе. Конструкционистские идеи также побуждают учено-

* *Элитистский – здесь: доступных лишь для избранных. (прим. пер.)*

го рассмотреть преимущества восстановления и обогащения «справочника» по ментальному дискурсу. Испытывая острый интерес к моральному и политическому контексту, ученый участвует в формах теоретической поэтики, которые открывают культуру для новых, забытых или как-либо подавленных способов понимания, а благодаря этому – для новых альтернатив действия. Наконец, мы увидели, как конструкционистские взгляды могут стимулировать развитие реляционных альтернатив традиционной концепции самодостаточного человека. В важных отношениях такой пересмотр личности является источником изменений в обществе. Нет никакой необходимости в противостоянии конструкционизма и психологических исследований. Скорее, есть причина полагать, что благодаря конструкционистской метатеории психология может играть гораздо более важную роль в обществе, чем прежде.

3

ГРАНИЦЫ ЧИСТОЙ КРИТИКИ

> Цинизм... это модернизированное несчастное сознание, над которым уже поработало Просвещение небезрезультатно и в то же время напрасно. ...Богатое и убогое одновременно...[497]

Большую часть последних двадцати лет я был крайне увлечен критической работой, а также работой по реконструкции в социальных науках. Поначалу атакам подверглись общепринятые практики бихевиористских исследований наряду с сопутствующими формами теории и их обоснованиями в эмпиристском фундаментализме. Не раз град упреков обрушивался на традиционные предположения о совокупном, накопительном знании, на свободные от ценностей теоретические формулировки, непредвзятые наблюдения, познание путем проверки гипотез, измерение психологических процессов и так далее. Постепенно я осознал степень, в которой такой работе предшествовали и сопутствовали стабильно растущие попытки в области философии и в социальных науках – попытки, которые в совокупности формируют то, что мы сегодня считаем жанром *постэмпиристской критики*. Работы Поппера, Куайна и целого пантеона философов обыденного языка* посеяли смуту своими предположениями об эмпиристском фундаментализме, а более поздние работы Куна, Фейерабенда и других историков знания наряду с пантеоном социологов знания начали предлагать альтернативы традиционному пониманию научной деятельности. Со временем к их голосам присоединялось все больше представителей соци-

* *Философия обыденного языка – одна из школ лингвистической философии, которая полагает, что традиционные философские проблемы основываются на ошибочном понимании философами того, что в действительности означают обычные слова – то есть, на искажении смысла обычных слов (прим. пер.)*

альных наук – гуманисты, критические теоретики, герменевтики, конструкционисты, феминисты, феноменологи, специалисты в этногенезе и многие другие. Возможно, эмпиристский фундаментализм и связанные с ним практики продолжают доминировать, но для немалого количества ученых они уже, по сути, мертвы.

Одновременно и интертекстуально с расширением постэмпиристской критики развивались две другие важные формы критической науки. Как было отмечено в предыдущей главе, с постепенным разрушением эмпиристской интерпретации интеллектуальное пространство все больше открывалось для *идеологической критики* или *разоблачения* (смотрите 2 главу). Если теоретические интерпретации нельзя считать авторитетными в силу эмпирических данных, и если эти интерпретации входят в социальную жизнь как стимулирующие или подавляющие факторы, наука открывается для формы оценивания, которую редко упоминали с девятнадцатого века. В частности, научную теорию можно оценить по ее влиянию на культуру, по формам социальной жизни, которые она усиливает и уничтожает, или, вкратце, по ее идеологическому влиянию. Такую критику долгое время продвигали марксисты и критические теоретики, но с эмпиристским разрушением открылся путь для жизненно необходимого расширения идеологической критики. В настоящее время область этой критики постоянно расширяется. Феминистская критика была отточена до остроты каблука-шпильки; темнокожие ученые, коренные американцы, азиатские, латиноамериканские, арабские ученые и ученые-геи открывают новые важные измерения для существующих проблем. Даже самые давние жертвы такой критики – обычно правоцентристские, преимущественно мужские круги – теперь отвечают собственной формой идеологической критики: они возражают против тирании политической корректности.

Оружие для нападения в области постэмпиристской и идеологической критики было укреплено благодаря развитию *постструктуралистской критики* (также смотрите 2 главу). Теория читательского отклика* подрыва-

---

* *Теория, в основе которой лежит взаимодействие вымышленного текста с реальным читателем. (прим. пер.)*

ет предположение о том, что [письменные] тексты несут в себе врожденную, изначально присущую им мудрость или глубину; напротив, тексты имеют ровно столько власти, сколько им готовы ее предоставить интерпретирующие сообщества. Теория деконструкции более подробно демонстрирует моменты внутреннего напряжения в тексте, зависимость сказанного от несказанного и вечный парадокс неопровержимого. Согласно теории деконструкции, не только тема текста перестает быть серьезным вопросом, но и разум автора перестает быть первичным источником. И, вместе с теорией читательского отклика и теорией деконструкции, риторический анализ еще больше приоткрывает «сундучок» с фокусами, уловками и хитростями, необходимыми для понимаемости и убедительности любого текста. В таких условиях ставятся под сомнение любые попытки власти установить знание, передать мудрость или установить ценности.

Таким образом, сейчас в нашем распоряжении – гигантский арсенал оружия для критики. Мощь такой технологии не сравнима ни с одной многолетней научной традицией. Не существует буквально ни одной гипотезы, доказательной базы, идеологической позиции, литературного канона, системы ценностей или логической структуры, которую нельзя было бы разобрать, разрушить или высмеять с таким оружием. Лишь глубочайшие предубеждения, сила привычки или разъяренная расплата раздутых эго могут выстроить защиту против интеллектуальных взрывоопасных веществ в нашем распоряжении. Сегодня повсюду в научном мире капиталистические эксплуататоры, гнусные мужчины-шовинисты, культуральные империалисты, нео-колониалисты, милитаристы, фанатичные белые англосаксонские протестанты, хилые либералы, научные догматики, фундаменталисты и эссенциалисты всех мастей находятся в бегах. И эти силы брошены на ослабление и истребление не только лишь научных кругов. Постэмпиристская критика находит множество мишеней в обществе. Фундаменталистские или эссенциалистские предположения можно найти во всех областях принятия решений высшего уровня – в правительстве, в бизнесе, на войне, в образовании и так далее. Подобным образом

мишени идеологической критики вряд ли ограничиваются научным миром. Феминисты, критические теоретики и группы меньшинств сталкиваются с ущемлением и предрассудками «на каждом углу» – в кино, в архитектуре, в одежде и даже в дизайне общественных туалетов. С зарождением постструктуралистской критики все, что считалось мнением, достойным доверия – в политической сфере, в новостных масс-медиа, в судах и в министерствах – теперь граничит со вздором. Революция в действии, головы повсюду катятся с плеч, и потенциальным разрушениям нет границ.

Однако именно на этом моменте и начинается представленное в этой книге исследование. Потому как я не питаю оптимистических надежд касательно нашего нынешнего состояния и будущего, которое оно за собой влечет. Дело не только в том, что мы – те, кто совместно обладает арсеналом критического оружия – не всегда стоим по одну сторону баррикад, и это оружие может обернуться против нас же самих. (Уже сейчас существуют противоречия между разнообразными постэмпиристскими анклавами, феминистскими лагерями, группами геев и лесбиянок и постструктуралистскими кланами). Скорее, меня, прежде всего, интересуют границы критики – в особенности возникающий корпус критики – как жанр в науке. Наше нынешнее положение несколько похоже на положение французских революционеров: то и дело раздается эхо «свободы, равенства, солидарности» (политически корректная замена «братству»). Но предстоит ли в результате всепоглощающая кровавая резня? Неужели не будет существовать достойных доверия или уважаемых взглядов – лишь разрушение, которое в итоге обратится разрушать самое себя? Как комментирует Сейла Бенхабиб: «Постмодернизм в его бесконечно скептическом и губительном отношении к нормативным притязаниям, институциональной справедливости и политической борьбе – определенно глоток свежего воздуха. Однако при этом он также разрушителен»[45]. В этой книге нас будет интересовать именно этот потенциал разрушения. Очевидно, необходимо трезво поразмыслить о наших формах исследования – об их понимаемости, последовательности и результатах для общества.

Далее я определю пять основных проблем, которые кажутся мне неотъемлемой частью этой попытки критики*. Три первых проблемы кажутся присущими всем формам существующей критики; две последних особенно уместны в контексте недавно возникшей критики. В конце я уделю внимание возможным альтернативам.

3.1. Завершение разговора

И импульс к дальнейшему развитию, и понимаемость критики происходит из предшествующих аргументов в пользу [некой рассматриваемой позиции]. Чтобы создать импульс к отрицанию – и сделать этот импульс понимаемым – необходимо выдвинуть утверждение (или сеть утверждений), [которое можно было бы отрицать]. В этом смысле, критика – это симбиотическое** предприятие, в основе которого должно лежать некое «родительское», изначальное суждение. Однако из своего генезиса критика приобретает определенные характеристики – главным образом, те, которые были присущи ее предшественнику. То есть, критика не может обрести собственное свободное право голоса; скорее, термины критики определяются онтологией (реальной или приписываемой) ее предшественника. Если суждение заключается в том, что «вооруженное вмешательство необходимо», тогда критика ограничивается дискурсом, в котором ключевым определяющим агентом является противопоставление понятий «война/не война». Ответить на пропаганду вооруженного вмешательства словами «я выпью чашечку чаю» или «я болею за Зеленых» не значило бы вступить в критику (на самом деле, такие замечания можно было бы посчитать бессмысленными вмешательствами в разговор). Такие замечания *можно* было бы посчитать критикой, если бы можно было показать, что пить чай или голосовать за Зеленых – значит противосто-

---

* *В этой главе я буду использовать термин «критика» в значении формы дискурса, созданной, чтобы демонстрировать слабые стороны определенной точки зрения с целью убрать ее из обсуждения или заменить другой альтернативой. Я хочу отделить критику от процесса исправления и обучения, поскольку оба этих подхода демонстрируют недостатки или области для потенциального усовершенствования с целью укрепления определенной позиции. (прим. автора)*

** *Взаимовыгодный. (прим. пер.)*

ять вооруженному вмешательству. Например, распивание чая могло бы стать метафорическим выражением презрения, а поддержка Зеленых отражала бы антивоенную позицию партии.

В качестве начального этапа такое взаимовыгодное условие означает, что голос критика будет функционировать, чтобы воплотить условия противопоставления понятий. На самом деле, критика поддерживает онтологию, подразумеваемую в начальной сети утверждений – онтологию, которая может «завянуть» или раствориться без критического импульса. Теоретики феминизма проявляют особое внимание к этому вопросу. Как отмечают многие, аргументы против мужского превосходства в то же время воплощают различия между мужчинами и женщинами; они функционируют, чтобы превратить гендер в фактическое различие. Подобным образом, так как множество критических замечаний кроется в языке расового конфликта, сохраняется концепт существенных различий между расами; высказываться против превосходства высшего класса – значит положить начало реальности классовых различий. Если значение реальности зависит только от противопоставления двух понятий, такая ограниченность приводит к тому, что очертания мира становятся негибкими, и он погружается в бездействие.

Эта проблема застоя тесно связана со второй проблемой – размывания периферии. До тех пор, пока споры будут основываться на противопоставлении двух позиций, все остальные реальности, ценности и интересы будут оставаться без внимания. Именно условия противопоставления понятий создают для собеседников базу для отношений и даже фундамент для их идентичностей в этих отношениях. Например, в борьбе против разрушения окружающей среды вопросы расового неравенства пропадают из поля зрения. Критика расовой несправедливости игнорирует гендерное неравенство, и так далее. Конечно, трудно одновременно спорить по всем вопросам. Однако, когда взаимодействие поляризовано относительно единственной оси, происходит убийственное упрощение мира и подавление других голосов. Каждый собеседник в глазах другого теряет свою многомерность; все человеческие характери-

стики, отношения, пристрастия и точки зрения, не связанные с противопоставлением понятий, подавляются. И сами собеседники становятся глухими к голосам семьи, друзей, нуждающихся и так далее, не разделяющим реальность, которую те создают и поддерживают. Как утверждает Дэвид Харви:

> Концентрация на одном лишь социальном классе скрывает, изолирует, лишает силы, подавляет и, возможно, даже ущемляет все виды «других*» именно потому, что она не может открыто признать существования неоднородностей и различий, основанных, например, на расе, гендере, сексуальной ориентации, возрасте, способностях, культуре, месте обитания, этнической принадлежности, религии, обществе, потребительских предпочтениях, принадлежности к группе и так далее.[255]

Существуют и другие последствия такого состояния. Как только арена воплощений определена, противостоящие стороны начинают зависеть от образа другого, нуждаясь в нем, чтобы поддерживать собственное существование. Каждая позиция остается понятной и важной лишь до тех пор, пока в дискурсе сохраняется противопоставление. Если же это противопоставление устранить, позиция, которая в нем побеждала, теряет смысл. Таким образом, например, покуда новообращенные «последователи» могут поддерживать категорию «неверного», они сохраняют за собой особую склонность и причину для приверженности. Для приверженцев критика извне может быть даже полезной, потому что она поддерживает или укрепляет их цель. Здесь критик не разрушает свою «жертву», а лишь укрепляет силу того, что он сам же и ненавидит. Те, кто обладает политической властью, например, могут отчасти способствовать выражению критики (от, например, студентов университетов), потому что она может внушить им еще бо́льшую приверженность «делу» (взгляните на распространенные выступления левоцентристов, геев, либералов и других «неамериканцев» в университетах).

---

* *В данном контексте «другой» используется как категория современной философии – «не я», «противостоящий мне», «отличный от меня». (прим. пер.)*

Пример дополняет мой собственный ранний опыт в Сообществе экспериментальной социальной психологии. Ассоциация изначально была создана, чтобы продвигать жесткий и систематический подход к пониманию социального взаимодействия. Термин «экспериментальный» был принят не столько из приверженности лабораторным экспериментам как таковым, сколько потому, что эксперименты считались самым искусным способом обосновать утверждения о причинно-следственных связях. В самом деле, многие члены ассоциации обращались к методам интервью, опросов, полевых наблюдений и других исследовательских техник. Семиотически термин «экспериментальный» был попросту синонимом понятию «систематично научный». С тем, как ассоциация стремительно становилась сильнее и привилегированнее, некоторые из нас задумались о том, что выбор названия неудачен. Казалось, что термин «экспериментальный» возвеличивал лабораторный эксперимент как единственно приемлемую методологию. Другие формы исследования не поощрялись, и систематическая теоретическая и концептуальная работа была полностью заброшена. На этом моменте я объединил свои усилия с несколькими коллегами в попытке изменить название организации, убрать или заменить термин «экспериментальный». В последующих дебатах мы принялись оживленно защищать экспериментальную методологию (которая на тот момент не находилась под угрозой) и к атаке всех остальных методов как худших, а также вернулись к существующему названию организации. Сегодня книги и учебники вторят хору голосов, защищающих экспериментальную методологию, и это превращается в настоящую литанию*. Периодически в тематических журналах второстепенного значения представляют противоположный взгляд, но само появление такой критики в «периферийных» журналах лишь укрепляет понимаемость «превосходства эксперимента» в доминирующих кругах. Фактически, атака критики главным образом была нацелена на то, чтобы обозначить противопоставление понятий, стимулировать ее защиту и обеспечить, чтобы дальнейшая критика оставалась на периферии сознания дисциплины.

** Литания – молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных взываний. (прим. пер.)*

3.2. Критика как осуждение

В начале этой главы я часто использовал метафору «спор как война». Этот выбор не случаен, поскольку, выражая эту распространенную норму[313], мы можем лучше оценить стратегические последствия критики. Рассмотрим позицию теоретиков аргументации, ван Еемерена и Гроотендорста: «пользователь языка, который высказал свое мнение в отношении некой чужой позиции, должен быть готов *отстоять* это мнение. А ... пользователь языка, который усомнился в обоснованности такой точки зрения, должен быть готов ее *оспоривать**»[554]. Учитывая эту формализацию широко распространенной концепции аргументации, позиция того, кто становится мишенью для критики, вряд ли может быть какой-либо, кроме защитной. А диапазон такой защиты может быть невероятно обширным. В западной традиции слова человека – это действительное выражение сути его личности. Предполагается, что они отражают самые глубинные способности человека – его Логос – первобытный процесс, который ставит людей выше животных (и, традиционно, делает человека подобным Богу). Следовательно, критика чужих взглядов – это не просто лингвистическая задача. В западной традиции критиковать позицию другого человека – значит объявить недействительной самую его суть. Или же, продолжая рассуждение в символическом ключе, можно сказать, что критика превращает попытку самовыражения у жертвы в простую глупость, обман или слабоумие. Это значит лишить слова человека всякого веса; поставить под угрозу его сходство с Богом, королем, героем и отцом; и свести его до роли непослушного ребенка – теперь наказанного сведущим родителем.

Чем может ответить на критику ее жертва, учитывая этот провокационный контекст? Вряд ли стремлением к открытому и гармоничному исследованию, с готовностью разрешить эти вопросы справедливо и беспристрастно. Когда человек – его чувство собственного «Я» и его достоинство – подвергается силам уничтожения, выбор невелик: ему остается искать любые способы преодоления угрожающей силы. Таким образом, критика пробуждает контр-

* *Авторский курсив.*

критику, а когда контркритика вступает в действие, мы оказываемся в сценарии, остановить который практически нет возможности.

Даже если противников подталкивают к цивилизованному общению, существуют принципиальные причины того, почему критика и контраргументация вряд ли могут привести к единодушию. В открытом диалоге человек может бесконечно оставаться уверенным в своих убеждениях – никак не реагируя на контраргументы – потому что сама структура диалога обеспечивает такую возможность. Главная причина этой существенной неразрешимости [спора] кроется в реляционном взгляде на [природу] понимания[198]. Считается, что во многом именно аудитория говорящего определяет, присваивать ли его словам значение, и какие значения эти слова могут иметь. Высказывания говорящего становятся текстами, которые можно интерпретировать и присваивать множеством способов и с разнообразнейших позиций. В той степени, в которой это верно, ни одна сторона в споре не может контролировать значение своего аргумента; слова остаются открытыми для множества интерпретаций или выборочного присвоения [значения] со стороны противника, и такой выбор, вероятно, отразит степень вовлеченности этого противника в дискуссию. Таким же образом высказывания противника подвержены ответной реконструкции. Фактически, каждый собеседник сталкивается с ситуацией, в которой «я не могу контролировать то, как ты интерпретируешь мои слова, но я имею право посчитать твой ответ понятным (или непонятным), или же исказить твои слова в угоду своей интерпретации».

Существует множество разнообразных способов разрушить понятность другого человека. Можно вырывать предложения из контекста, изменять концепты путем реконтекстуализации, доводить до абсурдных крайностей аргументы, искажать примеры с помощью пародии, вменять в вину гнусные намерения, и так далее. Описанные выше критические движения – антиэмпиристское, идеологическое и постструктуралистское – шаг за шагом дополняют способы разрушения точки зрения противника и обоснования собственной. Таким образом, существует множество способов запутать, усложнить, осквернить или преобразить

любое высказывание в свою пользу. В результате, у аргументации в принципе нет конца – если только участники дискуссии не ограничены внешними требованиями (как, например, в зале суда) или строгим порядком выполнения действий (как, например, в математике). Каждый из противников сохраняет контроль над фактическим содержанием позиции своего оппонента.

Весьма иллюстративен краткий пример из работы Пола Фейерабенда *Наука в свободном обществе*. В своих ранних работах Фейерабенд осуществил ряд яростных атак против фундаменталистских взглядов в науке, заявив, что любой без исключения порядок выполнения действий, использованный для «развития знания» по традиционным стандартам, подавил бы любые попытки в этом направлении. Контркритика развивалась стремительно, и большая ее часть была весьма искушенной. В идеале можно представить такую ситуацию как контекст для пространного диалога, ведомого надеждами на лучшее понимание. Для сравнения рассмотрим реакцию Фейерабенда на своих критиков:

> ...Я думал, что столкнулся с индивидуальной некомпетентностью: ученые мужи (и одна ученая дама, которая присоединилась к танцу) были не очень умны и плохо осведомлены, и потому они, естественно, опозорились. С тех пор я понял, что это – довольно поверхностный взгляд на вещи. Ведь ошибки, которые я заметил и раскритиковал, не просто изредка встречаются в обзорах – они довольно распространены. И их частота – это не случайность истории, временная утрата интеллекта – это закономерность. Как ни парадоксально, мы можем сказать, что некомпетентность, став стандартизованной, превратилась в ключевой элемент профессиональной успешности. Больше нет некомпетентных профессионалов – есть профессионализированная некомпетентность.[165]

Разумеется, диалог между Фейерабендом и его коллегами буквально зашел в тупик.

3.3. Атомизация* общества

Такой интерес к риторическим результатам критики едва ли ограничивается одними отношениями между собеседниками. Как я говорил в предыдущих главах, функция языка – поддерживать социальные паттерны поведения. Когда общества достигают онтологического и ценностного согласия, стабилизируются и паттерны отношений. Например, прийти к согласию насчет концепта работы – ее референтов и ценности – значит заложить фундамент для взаимно приемлемого образа жизни. Таким образом, отказаться от собственных утверждений перед лицом критики – значит не просто уступить перед логикой и доказательствами. Это скорее значит поставить под угрозу собственные формы отношений с другими людьми и образ жизни. Убедить пацифиста в том, что сражаться – это на самом деле правильно, означало бы не только проигрыш в споре; более важно то, что это значило бы крах отношений и традиций, на которых основывался язык протеста [этого пацифиста].

В связи с этим рассмотрим группу людей, коммуникация между которыми открытая, плавная и беспроблемная. Каждого участника группы признают и принимают другие участники, и все они предпринимают попытки прийти ко всеобщему пониманию. На самом деле корпус доступных означающих циркулирует относительно легко, позволяя развиваться новым комбинациям, а языку понимания – эволюционировать со временем. Теперь рассмотрим внедрение в это общество критического подхода. Вначале критика служит, чтобы сформировать общее сознание у тех, кого мы рассматриваем. Либо создают (например, «фундаменталист») либо выдвигают на первый план («гей») категорию, которая без этого могла бы остаться незамеченной. Таким образом, жертвам критики сообщают, что сомнению подвергаются все, кто разделяет их – жертв – особые убеждения (и связанные с ними практики). Под угрозой оказываются не только идентичности жертв, но и отношения, в которых они состоят. В таких условиях культура предлагает мало возможностей, кроме коллективной защиты. Те,

---

* *В этой книге мы будем использовать слово атомизация (англ. atomization) в значении «дробление», «разделение». (прим. пер.)*

на кого направлена атака, подтверждают свои отношения, формулируют ценность своей традиции и находят тысячи доказательств того, что атакующие – несправедливы и несведущи. Те, кто вызвал достаточно сомнений, поднимают знамя защиты, отстаивая собственный *Raison d'être* (фр.– смысл существования).

Одновременно с тем, как происходит процесс подтверждения и оправдания определенной позиции, попытки критики этой позиции подавляются. Дело не только в том, что критические замечания жертв остаются без внимания – эти жертвы пытаются защититься с помощью «дешевых уловок» (продолжают маскировать собственные недостатки) и совершают необоснованные контратаки. Культурально разумный ответ на такие неотесанные, грубые реакции на критику – увеличить мощь атак, упрочить солидарность в своих рядах и завербовать в свои ряды новых приверженцев, чтобы укрепить собственные позиции. Если такие попытки окажутся успешными, они столкнутся с подобными действиями со стороны группы «под прицелом». На деле, в результате такие действия приводят к полярному расколу в обществе в целом. Взаимное признание и общее стремление к пониманию оказываются разрушены или, если точнее, становятся уделом отношений в строгих рамках каждой из групп. Скоординированные действия, необходимые для создания общего значения, сходят на нет, и по мере развития языка в каждом из лагерей, общение между группами становится все труднее. Интерпретативные сообщества в итоге развивают собственные жаргоны, которых противостоящее общество не знает, не признает или считает их абсурдными. Взаимоисключающие реальности (несочетаемые парадигмы) укрепляются, оставляя мало надежд на примирение.

Здесь полезен пример. Я трудился над одной из своих ранних критических работ в контексте того, что – в середине 1970-х – называлось «кризисом в социальной психологии». В тот момент[194] я пытался разрушить предположение о том, что социальная психология была кумулятивной наукой, настойчиво двигаясь к созданию истин вне исторического контекста, и стремился заменить подобную ориентацию исторически включенными и идеологически чувстви-

тельными формами исследования. В годы, последовавшие сразу за этой критикой, велось множество споров в этой области. Главные журналы вели диалог. И все же, тогда как мои интересы все больше совпадали с интересами других диссидентов, серьезные журналы постепенно отошли от противоречий. С тех пор изменились времена и отношения, и теперь я нахожусь в сердце большого и разнообразного общества антифундаменталистов. Теперь у нас свои журналы, ассоциации, линии научной работы и планы действий. Традиционные социальные психологи мало бы поняли из того, о чем мы говорим – так много жаргона, мистификации и не относящихся к реальной жизни вопросов в наших обсуждениях. А если бы они и поняли, они были бы возмущены и оскорблены тем, в каком свете они предстают в наших книгах. В то же время, они продолжают работать как обычно; кризис решен. (По иронии, книга 1991 года о «классических толкованиях в социальной психологии» *критикует* мою первоначальную критику; а оригинальный тезис в обсуждении не упоминается). Точно так же, случись кому-нибудь из *нас* посетить *их* собрания или прочесть их статьи, мы бы сочли их попытки устаревшими, наивными и политически поверхностными. Атомизация обществ фактически завершена.

Эти три проблемы – ограничение разговора, риторический тупик и атомизация сообщества – свойственны процессу самой критики, по меньшей мере при ее использовании в западной культуральной традиции. Однако сейчас я хочу затронуть две проблемы, особенно актуальные для постэмпиристской или постфундаменталистской критики. Поскольку критика основывается на этих областях, возникает довольно серьезное напряжение.

3.4. Критика как тотализирующий импульс

Большая часть современной критики создана, чтобы разрушить любую форму тотализирующего дискурса – то есть, любой набор описаний, объяснений, принципов, критериев приемлемости, указаний или метатеорий, ограничивающих ряд голосов, которым позволено говорить о любом вопросе или положении дел. Это беспокойство заметно, например, в социальной конструкционистской критике эм-

пиристской метатеории, в феминистской критике патриархального языка, в марксистской критике капиталистической экономической теории, в деконструкционистской критике практик маргинализации и в постмодернистской критике модернистского фундаментализма. Буквально все эти попытки направлены на то, чтобы разрушить доминирующий дискурс и расширить ряд голосов, определяющих наше культуральное будущее.

И все же, в какой степени критический импульс на самом деле выполняет функцию демократизации? Как мы увидели, проблемы начинаются с симбиотической природы критической формы. Как только за утверждением следует критическое отрицание, ряд соответствующих голосов радикально сокращается. По мере укрепления поля битвы любой голос, который раздается за пределами противостояния противоположностей, становится неактуальным. Если мы спорим о правах на аборт, у нас не найдется места для сторонника прав работников-мигрантов; психологи, которые спорят о превосходстве экспериментального опыта над более гуманистическими альтернативами, не готовы к появлению сторонников духовного в психологии. Как только устанавливается противостояние, остается возможность услышать не любой голос, а лишь те голоса, которые остаются в рамках определенного мира структурированного спора.

Затем, так как оппоненты традиционно радикальны в своих целях – в попытке уничтожить зло или ошибочное упорство в заблуждениях другого – в критическом общении зарождаются тенденции к тоталитаризму. Когда несогласный голос пытается уничтожить дискурсы, которые кажутся несправедливыми, негуманными, эксплуатирующими и так далее, он в то же время пытается предложить себя в качестве преемника. Однако этот дискурс-преемник не оставляет места для того, что он намеревался уничтожить. Если критика окажется успешной, достижением станет не расширение дискурсивной области. В результате на смену одной форме тотализации придет другая, противоположная. Это – инверсия противостояния, которая приведет к такому же застою.

В качестве примера: я долгое время участвовал в атаках на дискурсы о дефиците, создаваемом профессиями, связанными с психическими расстройствами[198]. Я утверждал,

что, по мере того, как языки психического расстройства распространяются в обществе, люди используют их, чтобы понять самих себя. Конструируя себя в терминах болезни, люди создают потребность в той профессии, которая создает этот язык. И, по мере того, как к профессии обращаются и оплачивают ее, она развивается и процветает. За этим процветанием следует еще большее развитие в терминологии дефицита. Фактически мы наблюдаем за развитием по спирали терминов, которые ослабляют общество, и критика главным образом сосредоточена на системе диагностики психического расстройства. Говоря современными терминами, создается противостояние между *созданием терминов ментального дефицита* и их *не-созданием* (или, если быть точными, созданием альтернативных и более многообещающих конструкций). [Последняя] предпочтительная позиция, безусловно, увеличила бы количество доступных подходов, тем самым фактически расширяя ряд доступных голосов. Однако критическая форма аргументации работает таким образом, что понятность новой альтернативы может возникнуть, только если противник в споре потерпит крах. Специалисту-психиатру больше негде распространять «плохой старый язык» дефицита, потому что такой язык мешает появлению альтернатив. Фактически симбиотический характер критики заглушает голос жертвы; [я] разрушаю тотализирующий дискурс другого, чтобы заменить его противоположным дискурсом, который предпочитаю я.

3.5. Проблематика принципа

Во взаимосвязанных критических позициях последних лет мы обнаруживаем глубокое недоверие к существующим структурам знания, системам убеждений и идеологиям. Все однозначное, фундаментальное и определенное подвергли сомнению. Для постэмпиристских конструкционистов такое подозрение основывается на убеждении, что мы не обусловливаем наши сами собой разумеющиеся суждения тем, «как обстоят дела», а извлекаем их из социального взаимодействия. Существующие убеждения в знаниях, логике, моральности и т.д. не имеют трансцендентных основ – они основываются на культуре и истории. С этой точки зрения,

все, что мы считали одним, может оказаться другим; все существующие конструкции можно было бы заменить миллионом альтернатив. Для тех, кто занимается идеологической критикой, повсеместное недоверие основывается главным образом на обеспокоенности мотивационной основой. Эти критики изучают идеологические или своекорыстные интересы в основе доминирующего дискурса, и соглашаются с конструкционистами в том, что реальное положение вещей не требует наших самих собой разумеющихся суждений. Чьим интересам служат существующие суждения? Кого смещают или маргинализируют? Постструктуралисты добавляют еще один оттенок сомнения к своей обеспокоенности внутренней логикой самой репрезентации. Лингвистическая репрезентация ничему не подражает – она зависит от традиций самого процесса присваивания значения. Как только мы определяем и разбираем эти семиотические и/или риторические инструменты, репрезентация прекращает рассказывать нам о мире; фактически она демонстрирует функционирование собственных правил.

Как я уже говорил, эти различные последовательности доводов также формируют критический арсенал с разрушительным потенциалом. Каждая форма критики, по сути, лишает утверждения оппонента какой бы то ни было обоснованности или риторической силы. В лучшем случае слова оппонента сводятся к слухам или личным предубеждениям; в худшем – их вообще лишают смысла*. И все же в этот момент начинается проблема критики. Ведь, хотя такая критика успешно разрушает позицию противника, она в то же время бросает тень сомнения и на собственные утверждения. Основы таких аргументов подчиняются тем же формам деконструктивного анализа. Демонстрировать социальную основу научного факта – значит свести эту де-

---

* *Откровенная цель критики в этом направлении работы – зачастую освободительная. Или, как сформулировал Брайан Фэй, мы участвуем в «гуманистическом варианте» критической традиции, которая уходит корнями в философию Платона. Такая критика должна «быть способна когнитивно приемлемо интерпретировать социальный мир, в котором мы живем, таким образом, чтобы деспотичность этого мира была очевидна, а также – таким образом, чтобы дать слушателям [этой критики] силы изменить собственную жизнь»[162]. Хотя, безусловно, такая цель похвальна, в этой главе мы поднимаем вопрос о том, является ли критика лучшим способом для достижения таких целей. (прим. автора).*

монстрацию к обычному разговору; атаковать классовые предрассудки, лежащие в основе данной политики – это значит превратить саму атаку в классовый предрассудок; а деконструировать риторику войны – значит трансформировать идею мира в риторическое хвастовство.

В качестве примера рассмотрим одну из моих попыток оспорить исследование, которое оправдывало утверждения о связи между ментальными процессами и окружающим миром. Здесь я утверждал[195], что эмпирические доказательства не могут рассказать нам о взаимоотношениях между стимулами (окружающей среды) и ментальными состояниями (познания, эмоции и др.) или между такими состояниями и итоговым действием. Я утверждал, что это так, потому что все понятные предположения, которые связывают разум с миром, основываются на существующей структуре представлений, уже доступных в культуре. Любое предложение, которое противоречит этой структуре или выходит за ее рамки, либо абсурдно, либо непонятно. Например, было бы невозможно доказать, что люди считают слонов кроликами – не потому, что это неверно, а потому, что дуалистическая природа западной традиции предполагает, что слоны в материальном мире стимулируют подобные слонам образы в мозгу. Никакие доказательства обратного не смогли бы разрушить это предположение. И все же, хотя критическая попытка интересна и достаточно доступна для понимания, в итоге она не находит поддержки. Ведь как только я деконструировал «разум» и «мир» как области доказательств – вместо этого считая их лингвистическими системами – я одновременно поставил под угрозу свою критику. Ведь куда нам поместить «структуру пониманий», «культуру», «предположения» и так далее, если все они являются неотъемлемыми элементами моих доводов? Если они не являются частью мира или частью разума – фрагментов заброшенной на сегодняшний день онтологии – к какому миру они принадлежат? Почему, если я использую такие термины в своем аргументе, я непременно противоречу позиции, которую я отстаиваю? Если факты «реального мира» не связаны с оспариваемой системой предположений, тогда и критические аргументы против этой системы не имеют отношения к такому «реальному миру».

3.6. Критика как риторическая форма

Я предполагаю, что традиционная форма дискурсивной конфронтации – с утверждением и критикой в качестве ключевой пары – крайне проблематична. Критика основывается на онтологии утверждения, тем самым поддерживая его понятность, материализуя условия расхождения, убирая другие доводы из плана действий и стимулируя оппозицию. Более того, критика как риторический ход ущемляет оппозицию, порождает враждебность, дробит культуру на части и преграждает путь к примирению. Современная критика, основанная на постэмпиристской, критической и постструктуралистской мысли, несет в себе дополнительные трудности благоприятствования развитию именно тех тотализирующих дискурсов, против которых она настроена, и разрушая основы собственной рациональности. Стоит отметить, что я не отрицаю множество положительных целей, которые преследует критика, и не пытаюсь добиться отказа от нее (еще одно тотализирующее действие). Однако очевидно, что мы должны поднимать важные вопросы о ключевой роли критики на научной (и культуральной) арене. В каких условиях критика наиболее эффективна, для кого и с какой целью? Существуют ли другие, более перспективные способы добиться некоторых, более положительных целей, которые традиционно преследовала критика? Это – важные вопросы, и нужно обеспечить возможности для их обсуждения.

Мне кажется, что в этой области необходимо тщательно изучить логические обоснования критического рассуждения. В особенности нам нужно рассмотреть способы, которыми критическая аргументация становится доступной для понимания. Сегодня критический импульс преимущественно подкрепляется группой взаимосвязанных предположений, в которые, среди прочих, входят такие:

(а) адекватное или адаптивное поведение регулируется процессами рациональности разума человека;
(б) в вопросах рациональности определенные особенности разума (например, логичность, объективность) более предпочтительны (или адаптивны), чем другие;
(в) процесс критики необходим для достижения оптимальной рациональности;

(г) критическое мышление помогает человеку сопротивляться обману, тирании и давлению социальной группы; и
(д) критическая мысль на индивидуальном уровне – это необходимый «ингредиент» демократического общества.

И все же, как утверждалось в предыдущих главах, ни одно из этих утверждений не может выстоять перед пристальным изучением, ни одно не может выдержать напора критического импульса. В современном интеллектуальном климате предположение об индивидуальной рациональности, способной автономно рассуждать о мире таком, каким он есть, буквально не выдерживает критики на концептуальном и идеологическом уровнях. Если бы это были единственные причины критических рассуждений, нам бы понадобилось немало самообладания.

В то же время, если мы пересмотрим цели критического стремления, отбросив поиски индивидуального просвещения, перед нами могут открыться новые возможности. Как я предположил во 2-й главе, существуют серьезные причины изменить источник рациональности. Вместо того, чтобы считать, что рациональный процесс происходит в разуме отдельного человека, такой процесс можно плодотворно поместить в дискурс – или, более фундаментально, в текущие отношения между людьми. С этой точки зрения, не существует универсально лучшего состояния рациональности, то есть, не существует трансцендентного оптимума в строении человеческого дискурса. Более того, принимая эту реляционную точку зрения, мы можем пересмотреть как полезность критических размышлений, так и возможные способы изменения процесса. Ведь если критика – это не способ достижения некой формы оптимальной рациональности, какие социальные цели она преследует? И если это – предпочтительные цели с какой-либо точки зрения, является ли критическое рассуждение в его нынешней форме лучшим способом их достижения? Или, вкратце, чего мы хотим добиться в социальном мире с помощью критического дискурса, и существуют ли предпочтительные альтернативы современным практикам?

3.7. Реляционные способы достижения критических целей

Реляционный взгляд на язык сам по себе не отдает предпочтение какому-либо конкретному процессу или цели рассуждения. Однако он побуждает собеседников более вдумчиво, осознанно определить, чего они хотят достичь в результате своего общения друг с другом. В чем заключается цель их спора: отточить и усовершенствовать противостоящие позиции, добиться победы одной из сторон, обозначить области компромисса, развлечься, добиться социальной поддержки, или в чем-то еще? Я практически уверен, что современные формы критики действительно достигают некоторых из этих целей, и, как я говорил ранее, я совсем не призываю забросить критическую затею. Однако, четко определив реляционные цели, собеседники могут открыть альтернативы традиционным практикам постоянных споров.

Чтобы положить начало дискуссии о таких возможностях, давайте рассмотрим одну-единственную цель – попытку максимизировать участие в культуральном процессе принятия решений. Многие согласились бы, что, в целом, общество – лучше, когда все его участники могут выйти на арены принятия решений (как масштабных, так и местных), чем когда лишь конкретное меньшинство вправе определять институты, политические стратегии и проекты. Надежда на это – не просто часть нашего демократического наследия; можно сказать, что широкомасштабный диалог необходим, чтобы обеспечить достаточно гармоничный способ жизни. И, как признают многие, критическая деятельность – это один из способов расширить диапазон доступных голосов. Если утверждения никогда не сталкиваются с контрутверждениями, все голоса за пределами такого утверждения остаются безмолвными. Так открывается путь для тирании, ущемления и конфликта. Следовательно, такая критическая практика необходима для того, чтобы привлечь к дискуссии больше разнообразных участников. Критика дает возможность узнать об альтернативных интересах, и поэтому она становится культуральным ресурсом для достижения демократии.

И все же, учитывая острую потребность в максимизации участия, критическая традиция не лишена серьезных

недостатков. Как я говорил ранее, критика функционирует на фундаментальной оси противостояния: утверждение и контрутверждение, с двумя одинаково разрушительными вариантами исхода. Во-первых, когда противопоставление определено, основы для развития диалога ограничиваются. Это – война против антивойны, политические «левые» против «правых», защита жизни против запрета абортов и так далее. Множество трудностей и нюансов вокруг любого решения, и внушительный ряд возможных конструкций, таким образом, сводятся к минимальному набору. Теперь может быть услышан не любой голос, а только те голоса, которые связаны с рассматриваемой областью. И по мере развития дискуссии, условия противостояния становятся все более объективированными, а ее предполагаемые референты – все более осязаемыми и материальными. Возможность включения в дискуссию альтернативных голосов – тех, которые отвечают условиям, но говорят «не по теме» – все больше ослабевает. Фактически поляризация, осуществляемая современными формами критического рассуждения, лишь минимально расширяет демократический спектр. В этом свете можно сказать, что критическое движение угрожает нам нарушением демократического процесса.

В продолжение этой линии аргументации: часто целью критического движения становится полное прекращение демократического процесса. Как я предполагал, критика обычно отталкивает оппозицию. Из процесса утверждения и критики рождаются самодостаточные и независимые анклавы противников. В этом смысле, критика предназначена для того, чтобы обособить, отделить группы от «разумных причин» противника. Критические голоса либо остаются незамеченными, либо подавляются,– именно потому, что они критические. В любом случае результат один и тот же: люди не принимают решения, основываясь на общих рассуждениях – при участии всех [желающих] – а, скорее, обманывая ради власти, занимая внутреннюю позицию или выполняя частный контроль результатов. Атомизация культуры не означает роста количества голосов, которые могут быть услышаны – чаще она означает ограничение. Реальность тех, кто осуществляет контроль, учитывает лишь их самих.

Следовательно, необходимо найти альтернативные способы вести демократический диалог. Однако лишь на этом моменте читатель поймет, что мы столкнулись по большому счету с теми же проблемами, что и в 1-й главе. В контексте 1-й главы мы обнаружили, что реализм и конструкционизм находятся на взаиморазрушающей орбите. Мы спросили: какие альтернативы можно найти вместо разрушительного конфликта? Теперь самое время спросить, можно ли применить такие альтернативы в случае с критикой. Две таких возможности кажутся особенно перспективными.

Разграничение «Я» и дискурса

Как мы уже обсуждали, критика часто неэффективна, потому что она происходит в рамках традиции, которая подчеркивает, с одной стороны, взаимное отрицание, а с другой – аргументы как выражение сути своего «Я». Следовательно, вопрос в том, можно ли изменить ключевые элементы риторической формы, не мешая при этом исследовать противостояния, противников и контексты. Например, какими способами мы могли бы убрать из области акцент на эго, чувство авторского права на аргументы и угрозу разрушенных идентичностей? Все это неважно в критическом размышлении, и, разграничив «Я» и дискурс, можно прийти к менее поляризованному исследованию (смотрите также страницы 50–51).

Чтобы подробнее изучить этот вопрос, мы с моими студентами провели эксперимент с процедурой, которую мы называем «аргументацией из ниоткуда». Здесь попытка заключается в том, чтобы максимально устранить чувство «Я», намерение или агентность из центра рассуждения и подчеркнуть зависимость от дискурсов, которые уже доступны в культуре в целом. Мы пытаемся уничтожить основания, на которых мы считаем некие утверждения «своими собственными», а контрутверждения – вызовом нашей собственной целостности. Утверждать в этой процедуре – значит попросту предлагать один возможный вариант из культурального хранилища значимых высказываний. Попытка заключается в том, чтобы вынудить участника исследовать спектр доступных в культуре аргумен-

тов, которые могли бы сопровождать любое утверждение. Например, если человек выступает за строгие меры контроля рождаемости в странах третьего мира, существует великое множество аргументов, которые, по современным меркам, могут подкрепить такую точку зрения (связанные, например, с проблемами здравоохранения, экономикой, образованием и модернизацией). В то же время, на каждое утверждение и сопровождающую его структуру аргументации найдется множество контраргументов (связанных, например, с культуральной эксплуатацией, историческими факторами, духовными вопросами и бичами современности). И каждое из сопровождающих утверждений будет содержать в себе некие обоснования, сформулировав которые, мы придем к ряду новых утверждений и контрутверждений в бесконечно растущей сети. Затем, каждый элемент этой сети также подвергается критическому анализу, идеологическим предубеждениям, риторической конструкции и так далее. Фактически, мы можем потенциально «распаковать» невероятное множество доступных для понимания и взаимосвязанных высказываний, окружающих вопрос о контроле рождаемости в странах третьего мира.

В программе «аргументация из ниоткуда» мы просим множество разных людей добавить компьютеризированные записи в более обширную (фактически, бесконечную) сеть аргументации. Участнику предлагают один конфликт – например, конфликт между сторонниками и противниками абортов, или дискуссию о смертной казни. Прочитав краткое описание противостоящих позиций, участник должен сделать собственную запись в постоянно растущем компьютеризированном документе, который освещает аргументы и критику с обеих сторон обсуждения. Участников просят оставить «собственное» мнение по вопросу в стороне и сгенерировать как можно больше аргументов в пользу обеих сторон. Сгенерировав такие аргументы, участники должны снова вернуться к собственным записям и сгенерировать возможные критические отклики на собственные предложенные аргументы. После того, как накопится небольшой корпус аргументов, контраргументов и так далее, каждому новому участнику предлагается возможность прочесть все, что было предложено в сеть аргументов. Он может добавить

новые варианты или дополнить уже существующие позиции. В результате мы получаем множество дискурсов, которые окружают обсуждаемый вопрос – или, фактически, карту возможных аргументов, оправданий, доказательств и так далее с обеих сторон обсуждения.

Исходя из записей и реакций участников процедуры, мы обнаружили следующее: участники в целом способны сгенерировать множество аргументов и критических комментариев. Хотя участники более точно формулируют то, что считают «собственной» позицией, когда только начинают участвовать в программе, они также в целом способны генерировать понятные аргументы и для оппозиции. Более того, они способны раскрывать слабости в позиции, которой они придерживаются изначально. Хотя они могут защищать эту позицию, они также в целом осознают слабые стороны своих утверждений. В-третьих, хотя не существует однозначного итога того, что можно сказать на тему обсуждаемых вопросов, существует определенная тенденция: после того, как полдюжины участников внесет свои версии, в системе возникает избыток вариантов ответов. Практически, существует предел того, что люди (по крайней мере, в ограниченных субкультурах) могут внятно сказать по тому или иному вопросу.

В своей реакции на процедуру участники в целом соглашаются, что они многое узнают; они чувствуют, что в результате упражнения они рассматривают вопрос более комплексно. Особенно важен один момент: они указывают, что вопрос было бы трудно решить, попросту объявив одну сторону победителем. Фактически, участники гораздо больше стремятся к компромиссу, или, возможно, к временным или ситуативным решениям. Следовательно, мы можем отметить расширение восприятий, искушенность и определенную уместность, актуальность. Несомненно, этот процесс – работа довольно «пыльная», но благодаря ему становится очевидным отсутствие однозначных и простых решений. Таким образом можно бороться со склонностью к пристрастности, но, как мы уже увидели, сильная привязанность к одной позиции дорого обходится. Можно ли более широко применять «аргументацию из ниоткуда», все еще не ясно.

Потенциалы многоголосия

В анализе «аргументов из ниоткуда» я отметил потенциал участников отмечать слабости в предпочитаемых ими утверждениях. Эта тенденция также отражается в работе Биллига и его коллег[56] на тему дискурса идеологических дилемм. Как предполагает их анализ, большинство людей редко однозначны в своих позициях по разным вопросам, и часто они придерживаются таких мнений, которые бы поддержали и их противника. В более широком смысле, мы можем характеризовать людей как *многоголосых субъектов* (смотрите также 1 главу). Вместе с этим, важны последствия такого многоголосого состояния и для критических взглядов на будущее. Во-первых, если люди способны сформулировать множество позиций относительно обсуждаемого вопроса, тогда возможно реконцептуализировать «искреннее убеждение» как форму социального позиционирования. То есть, вместо того, чтобы определять человека относительно единого, унифицированного стержня – единственной последовательной позиции – мы можем считать его фундаментально многомерным[196]. Претендует ли человек на то, что определенная точка зрения – это «его убеждение», «его ценность», «важная» и «истинная», – это не результат интроспективного распознания (например, «я знаю, что это мое мнение, потому что я чувствую или вижу, что это так»). Вместо этого, такое притязание – это результат социального позиционирования, в котором человек помещается в определенный момент времени *vis-à-vis* с текущим взаимодействием. Например, авторы могут претендовать на то, что их написанные точки зрения – «их», или же отказаться от них как «моих прошлых убеждений, которые теперь ими не являются». Человек может пылко отстаивать позицию в споре, но позднее признать: «Я был слишком радикален; я слишком увлекся». Либо же мать может сказать ребенку: «Я говорила это лишь потому, что это – ради твоего же блага». Следовательно, точка зрения происходит из определенной формы социального процесса в отличие от происхождения изнутри [человеческого разума].

Следуя этим направлениям, Ричард Харви Браун[74] расширяет область философской работы от Сократа до Кьер-

кегора, разрабатывая то, что он называет «диалектической иронией». Диалектическая ирония принимает и определенную позицию, и ее противоположность – не для того, чтобы противоречить самой себе, но чтобы освободиться от требований каждой отдельной позиции. Диалектический иронист «одновременно высказывает два или больше логически противоречащих значения, чтобы в молчании, возникшем между ними, смогло возникнуть более глубокое значение обеих позиций». Это «более глубокое значение», предполагает Браун, «диалектично. Оно не присуще ни первоначальному буквальному утверждению, ни его отрицанию; скорее, именно напряжение и завершение, возникшие между ними, составляют диалектическое ироническое осознание»[74]. Или же, говоря современными терминами, человек постигает более широкий диалогический процесс, из которого возникает структура утверждения и контрутверждения.

Более того, выразить свое многоголосие – это также значит продемонстрировать определенный уровень сходства со своим предполагаемым соперником. Вместо того, чтобы демонстрировать последовательность [в своих суждениях], предназначенную, чтобы отрицать всех непохожих – тем самым устанавливая непреодолимую пропасть между собой и другими – раскрытие собственных контрспособностей делает человека «частью другого». Создается возможность для уязвимости, которая приветствует другого как компаньона, а не соперника. В определенных отношениях в данной главе я пытаюсь добиться этой же цели. Ведь эта глава, по сути – это критическая оценка критики как таковой. Однако, чтобы проиллюстрировать собственные аргументы, иногда я использовал самого себя как точку отсчета – тем самым выставляя на обозрение собственные слабые и уязвимые места. Также я косвенно предполагаю, что данные предложения могут быть неверными. Из того, как я сам ставлю себе палки в колеса, читатель может почувствовать, что я не пытаюсь «запустить безупречный механизм», который бы умело маскировал собственные слабые стороны и сопротивлялся любой оппозиции. Конечно, я в то же время ставлю под угрозу собственную убедительность – признавая «слабость» – но надеюсь, что благода-

ря этому читатель с большей вероятностью присоединится к продуктивному диалогу.

Можно ли придерживаться позиции многоголосия в обычной жизни, неясно. Однако я участвовал в настолько невероятно эффективном специализированном процессе, что его стоит пересказать. В начале трехдневной конференции по конструированию в образовании[515], организаторы «организовали» конфликт между сторонниками радикального конструктивизма и приверженцами социальной конструкции. Первую позицию должен был представлять Эрнст фон Глазерсфельд, а вторую – я. Каждый из нас должен был привести на эту дуэль «секундантов», которые бы выступали критиками противоположной позиции. В результате критика была беспощадной, защита – непоколебимой, и по мере того, как вокруг нас собиралась публика, резко возрастала поляризация. Голоса становились все оживленнее, критика свелась к *ad hominem* (к выпадам против личных чувств противника, а не против объективных данных), нарастали гнев и отчуждение. Когда модератор скомандовал о прекращении процедуры, перспектива провести следующие три дня в обществе друг друга казалась воплощением слов Сартра: «Ад – это другие». Чувствуя безвыходность положения, группа семейных терапевтов во главе с Карлом Томмом и Сью Левин пригласила участников конференции на нашу «сессию охвостья*». Здесь Томм, который проводил терапевтическую работу с расщепленными личностями, спросил, можно ли ему публично интервьюировать фон Глазерсфельда и меня, но с тем, чтобы каждый из нас выполнил роль своего «противника». Он пояснил, что наша взаимная открытость позволила бы нам впитать аспекты друг друга – интеллектуальные взгляды, установки, эмоции – которые мы несли в себе. Могли ли мы позволить им говорить? Томм ловко изучил каждого из нас – игравших «другого внутри» – рассматривая вопросы теории, взглядов другого, сомнений, страхов, личных отношений, впечатлений от конференции и так далее.

Результаты этой процедуры были поразительными. Как узнали и мы оба, и публика, мы могли высказывать раз-

** Охвостье – члены парламента, оставшиеся после роспуска законного парламента по какой-либо причине. (прим. пер.)*

умные, отзывчивые мнения с точки зрения своего оппонента. Мы могли доказать рассудительность друг друга. Впоследствии мы успешно преодолели противостояние. Можно было не считать дискуссию поединком двух противостоящих эпистемологий, а вместо этого, рассмотреть ее в контексте длительных профессиональных отношений, переплетенной с ними дружбы, личных стремлений и сомнений, требований социальных дебатов и так далее. Возник новый уровень дискуссии. После этого конференция отличалась цивилизованностью общения; на ней царило самовыражение без доминирования, внимательное слушание и проникновенные ответы. Нет, это не означало решение всех различий. Однако это позволяло проводить продуктивные исследования в контексте, в котором победа и поражение были убраны из поля зрения.

3.8. В заключение

Современная критика является проявлением длительной и почтенной традиции. Критика как культуральная форма – это главный способ противостоять использованию физического принуждения или оружия ради неких моральных целей. Начиная с исправлений учителя в классе, осуждения судьей стероида, принятого спортивной командой, и заканчивая банальными рассуждениями ученого о состоянии культуральной жизни, критика может запустить социальные процессы, которые исправляют, восстанавливают и порождают рефлексивные размышления. Однако, будучи формами жизни, воспитанными в определенных исторических условиях, мы также можем поставить критику под сомнение. Ограничиваются ли наши реакции на слабости и уязвимости человека физическим устранением и критикой? Если брать в качестве примера научный мир, то утверждение и критика стали буквально единственными основами для перемен. Учитывая ограничения критики, рассмотренные в данной главе, основной задачей остается найти и разработать альтернативные формы ответа. Опять же – я не пытаюсь подавить различия или подорвать процесс эмансипации. Я пытаюсь спросить, необходимы ли новые ресурсы в условиях растущей глобализации, в ко-

торой все больше проявляются культуральные различия. Данная глава положила начало дискуссии о двух возможностях, одна из которых подчеркивает спад эго, а вторая – его расширение до многоголосия. Это – лишь скудное начало, и необходима широкая дискуссия, чтобы рассмотреть весь потенциал. Еще важнее – расширение возможностей. Вполне возможно, что критика – это форма жизни, которая обычно встречается в кругу крайне образованных людей. Возможно, в других контекстах культуральной жизни возникли другие альтернативы. Этнографическое исследование зачатков альтернатив кажется ценной задачей на этом этапе. В таком случае ученый может извлечь огромную пользу от изучения разных слоев населения.

4

КТО ГОВОРИТ, И КТО ОТВЕЧАЕТ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ?

Конструкционистское сознание по своей природе рефлексивно и чувствительно к тому, как действия человека влияют на культуральные предположения о реальном и хорошем. И потому сложилось так, что в научном мире нас все больше интересуют формы реальности, возникающие в нашем привилегированном [конструкционистском] убежище, а также способы жизни, которые поддерживает наша работа. Как мы наглядно продемонстрировали в предыдущей главе, существует огромное количество саморефлексирующих ученых, которые посвятили свою работу идеологическим последствиям теорий, исследовательских планов и методов исследования в науках. В этой области также существует значительный интерес к формам научной репрезентации, в частности – к письменным формам[37;102;493;494]. Хотя бо́льшая часть этой работы сосредоточена на письменном жанре как на способе создания реальности, в этой главе моя цель – иная. Поскольку наши работы находятся в области гуманитарных наук, мы поддерживаем и воссоздаем определенные формы жизни, при этом отказываясь от других форм. В этой главе меня интересует *«голос»** автора в письменных работах в гуманитарных науках. Каким образом доступные традиции письма задают место и роль автора, куда они помещают аудиторию, и каковы их последствия для наших концепций и практик науки и социальной жизни?

В свете распространенной критики эссенциализированного** «Я» становится все труднее говорить об авторстве, которое бы брало начало в умах и сердцах отдельных уче-

* *Курсив редактора. Здесь понятие «голос» вводится в значении «легитимный вес, значимость позиции говорящего». (прим. пер.)*

** *Эссенциализированный – сформулированный и выраженный в простейшей форме. (прим. пер.)*

ных. Действительно, опасно приписывать теоретическое прозрение, рациональное рассуждение, тонкое наблюдение или идеологический импульс какому-то отдельному человеку. Точно так же мы не можем просто говорить о «влиянии идей» на читателей, как будто существуют некие девственно чистые умы, пассивно ждущие «плодотворного вклада» со стороны более сведущих и опытных. Скорее, мы склонны представлять, что «голос» в научных сферах зависит от традиций общества, от установленного понимания между собеседниками касательно того, что считается проницательным, рациональным, объективным или моральным дискурсом. Традиции репрезентации в обществе во многом определяют риторическую силу наших письменных работ. При такой формулировке полезно подойти к вопросу о том, «кто говорит» в гуманитарных науках, с точки зрения отношений власти. Каковы официальные позиции, которым присваивается статус или значение, и каковы характерные формы дискурса, который ассоциируется с теми (а также ожидается от них, соответствует им), кто занимает эти позиции?

Такая формулировка проблемы приводит нас к необходимости соответствующих позиций в ответах тому, кто наделен правом голоса. Каковы принятые условности и правила ответа, учитывая то, что мы наделяем важностью лишь тех людей, которые занимают определенные позиции и говорят в манере, соответствующей этим позициям? Как к читателю обращаются и «одушевляют» его (вызывают его к жизни) с помощью письменной формы? Например, мы наделяем политических кандидатов правом голоса. Когда они говорят в соответствующей кандидату манере, по демократической традиции слушатели оказываются в роли оценщиков или судей. Уместно рассуждать о положительных и отрицательных аспектах взглядов кандидата. В идеальных условиях за этим могли бы последовать расспросы и диалог. И наоборот: хотя ведущих новостей также наделяют правом голоса в современном обществе, приемлемые способы обращения очень отличаются от способов политика, и типичный способ ответа – это не оценка мнения, а поиск информации. Было бы непривычно (даже при наличии веских доводов) завести с ведущим спор о мудрости или идеологической основе его репортажа.

С исторической точки зрения, гуманитарные науки появились относительно недавно, и их стали считать самодостаточными дисциплинами преимущественно в прошлом веке. Существует мало способов создать (задать, установить) в культуре абсолютно новый голос – то есть, позицию власти с соответствующими речевыми формами, которая абсолютно не соответствует культуральной традиции. Абсолютно новый жаргон во многом функционировал бы подобно «приватному языку» Витгенштейна; никто бы не осознавал его значимости и не оценил бы его иллокутивной силы. В этом смысле, спрашивая о том, «кто говорит» в гуманитарных науках, мы должны обращаться к их предыстории, чтобы оценить способы, которыми были присвоены и трансформированы позиции традиционной власти и их риторика. На самом деле, чтобы объяснить причину авторитетности голоса в современных гуманитарных науках, мы должны прислушаться к отголоскам далекого исторического прошлого. Такая постановка вопроса – «кто говорит?» – включает нас в размышление о том, «кто отвечает?» Как именно эти традиции позиционируют свою аудиторию, и с каким эффектом для исследований в гуманитарных науках?

Далее в главе я попытаюсь определить несколько традиций, из которых современные ученые черпают свои привилегии в способности понимать и быть понятыми. Затем я рассмотрю способ, которым эти формы дискурса позиционируют читателя. После этого мы изучим, что же мы наследуем из западной традиции в качестве авторитетного голоса, а также рассмотрим разнообразные обращения таких форм голоса к своим слушателям. Мы обратимся к четырем способам традиционного голоса: мистический, пророческий, мифический и цивилизованный. Чтобы придать анализу рефлексивный оттенок, я также изложу недавние открытия в риторике гуманитарных наук. Именно интеллектуальные движения, распаляющие интерес к литературным и риторическим способам, благодаря которым тексты становятся влиятельными, дают начало новым голосам и связанной с этими голосами риторике, а также – смене роли читателя. В частности, мы рассмотрим потенциальные плюсы и минусы двух из этих альтернатив: автобиографический и беллетристический письменные жанры.

Здесь необходимо предварительно предостеречь читателя. Любая попытка характеризовать дискурсивные формы в гуманитарных науках столкнется с обширным и непостоянным полем действия. Не существует ограничений для дискурсивных форм, а с постоянным разрушением, присваиванием и воссозданием трудно определить чистые риторические формы. Даже в одной и той же работе – да что там, в одном и том же отрывке – автор может обратиться к ряду тропов из разных традиций, которые приведут к разным ответам. А потому далее в этом анализе я разработаю ряд идеальных типов и предложу их как «способ слушания», который может помочь нам критически оценить наше риторическое наследие и его современные альтернативы.

4.1. Традиции рассказа

Какие главные темы, традиции и образы активизируются дискурсивными практиками с учетом их разнообразия? А также как и с какой целью эти доминирующие практики позиционируют читателя, основываясь на западной традиции власти в общем? Давайте рассмотрим четыре основных способа*.

Мистическая традиция: священники и апостолы

Хотя обычно ее связывают скорее со светским миром, а не с духовным, во многих областях гуманитарных наук мы можем обнаружить остатки традиции, которая берет начало в раннем мистицизме и продолжается как в иудейской, так и в христианской религии (в первой ключевую роль играет *каббала*, а во второй – неоплатонизм). В мистической традиции право рассказывать аудитории о глубинах сверхъестественного мира в целом обычно принадлежало тем, кто занимал высокие посты в религиозной иерархии. Обладатели таких ролей «священников» веками пользовались огромным уважением, и гуманитарные науки могут

---

* *Есть и альтернативные способы расположить риторические формы – например, корневые метафоры в рамках гуманитарных наук[424] и нарративные формы[555]. В этом нарративе я стремлюсь повысить чувствительность по отношению к историческому «ядру», из которого возникает «право голоса» в современных письменных работах. (прим. автора)*

много чего почерпнуть, если привнесут мистический дискурс в научную область.

На мой взгляд, главные компоненты мистического письменного жанра в гуманитарных науках включают: акцент на метафоре (избегание буквальности), лингвистическую конструкцию реальностей, не доступных для наблюдения, и жесткую оценочную терминологию. Использование метафор и подавление буквального позволяет оратору поднять реальности текста над логикой здравого смысла и предположений; в метафоре вещи являются не такими, какими кажутся. Приветствуются любопытство и удивление. Так как текст уводит читателя от повседневной реальности, открывается способ для текстуального создания мира второго порядка. Это – мир за пределами чувств и разума и, что самое главное, это – мир, в котором священник – единственный участник. Часто чувство неизвестного достигается путем запутанных тропов, лингвистических маневров, которые нарушают обыденность, приводят в замешательство и создают общее восприятие мира, которое выходит за рамки общепринятого понимания. Наконец, упор на оценочный язык переносит этот мир в область осязаемого, а не просто прозрачного и не подвластного рациональному анализу. Скорее, обращаясь к области эмоций, можно буквально *почувствовать* присутствие неизвестного. Затем, оценочный язык служит, чтобы установить важность дискурса. Очень часто он предупреждает о наказании тех, кто невосприимчив к новой реальности, и предлагает щедрую награду тем, кто ее принимает. На самом деле, риторика мистицизма в гуманитарных науках вызывает ужас и радость.

Мистические дискурсы были неотъемлемой частью гуманитарных наук с самого их появления. Заимствования Фрейда из иудейской мистической традиции подробно задокументированы[28*]. Отчасти благодаря психоаналитической подготовке Карла Юнга, а отчасти – благодаря духовному сану его отца, его работы также можно выделить за их прославление мистического. Рассмотрим фрагмент из Юнга:

---

* *Также обратитесь к анализу подобных проявлений в современной теории развития неоплатонистских мистических работ у Кирхнера*[297]. *Более прямые попытки внедрить спиритуалистские элементы в научный письменный стиль описаны у Гаррут*[189] *(прим. автора).*

> Но на самом деле изначальный феномен духа берет власть над человеком и, хотя он является желанным объектом человеческих устремлений, сковывает его свободу, как и физический мир, тысячами цепей, становясь навязчивой властью идеи[288].

На самом деле, мы наблюдаем создание новой реальности, «изначального феномена духа», и без признания его власти свобода человека «скована тысячами цепей». Прозрачный мистицизм этой работы впоследствии часто появляется в психиатрических работах. Рассмотрим Р. Д. Лэйнга, который в 1967 году написал[312]:

> Истинное здоровье, так или иначе, влечет за собой разложение нормального эго, которое ложное «Я» полноправно приспосабливает к нашей отчужденной социальной реальности: появление «внутренних» архетипических посредников божественной силы, а через эту смерть – перерождение и окончательное установление нового вида функционирования эго; эго ныне – слуга божественного, а не его предатель*.

Работы Жака Лакана интересны своим продолжением психоаналитического акцента на мистическом. Они во многом основываются на этой традиции, но при этом сталкиваются с вызовом культуры, для которой большая часть психоаналитической реальности перешла в область буквального. Благодаря новым и крайне сложным парафразам Лакан вдыхает новую жизнь в возможности непостижимого. Рассмотрим смысл сверхъестественного, сформированный следующим:

> Принимать за исходную абсолютную позицию... «Вначале было Слово»... значит непосредственно выходить за рамки феноменологии *alter ego* в плоскость отчуждения Воображаемого, к проблеме посредничества Другого, который не является вторым, так как еще нет Единственного»[309].

Здесь Лакан пишет загадочно, но с уверенностью, и выделяет первоначальное знание из тайн, которые иначе

---

* *Лэйнг Р.Д. Расколотое «Я»: пер. с англ.– СПБ.: Белый Кролик. 1995.*

остались бы непостижимыми. Он проводит прямую связь с библейской традицией и сообщает читателю, что здесь мы сталкиваемся с эмоционально важными вопросами отчуждения и незавершенности.

На этом моменте полезно провести различие между дискурсом проповедника и дискурсом апостола. Проповедник говорит *ex cathedra* («с епископской кафедры»), со знанием и уверенностью передавая смысл проницательной связи с самими таинственными реальностями. И наоборот, апостол – не столько официальный хранитель тайн, сколько личный посланник, который смиренно и с благоговением становится личным свидетелем «таинственного». Апостол будет больше говорить «от себя» как смертный, чем как прямой хранитель тайн. Вдобавок ко множеству тропов мистического письменного жанра, важной характеристикой апостольского жанра становится его частое упоминание «святого», то есть, человека, который *является* хранителем мистических сил или знаний. Именно его слова апостол поясняет, защищает и прославляет. Фрагмент письма Джона Шоттера предоставляет пример апостольского письменного жанра:

> Но как же мы можем исследовать природу того, чему не хватает конкретности ... Вот где «вступают в игру» понятия Витгенштейна «наглядных репрезентаций» ...Все метафоры, использованные Витгенштейном... обращают наше внимание на аспекты языка и на наше знание языка, которые до этого были для нас рационально невидимы...[488]

Хотя работа Шоттера имеет много признаков мистического, в этом случае в ней нет морального осуждения. Более намеренно осудительным является возникающий жанр культурологического письма – жанр, который часто использует апофеоз (а такие люди, как Альтюссер, Бенджамин и Рэй Уильямс часто составляют Пантеон) и использует божественные силы, чтобы осуждать разнообразные привычки современного общества. Рассмотрим использование Хэбдиджем (Святого) Жене:

> И вот Жене по кругу возвращает нас... назад к изображению граффити, к группе темнокожих людей,

> которые «заперты» в языке и стучат в выбеленные стены двух видов тюрем – реальной и символической ...он возвращает нас к значению стиля в субкультуре и к посланиям, которые скрываются за уродованием ...Как и у Барта, у него есть тайные открытия, и он ведет подпольную деятельность[259].

Давайте вернемся к вопросу интерпелляции*: какие роли играет читатель в разных формах мистического дискурса под влиянием наших традиций? Вначале такие дискурсы устанавливают иерархию между писателем и аудиторией. Писатель – это тот, кто обладает крайне важными словами; а аудитория же, наоборот, считается невежественной или ничего не подозревает. Мистический оратор никогда не обратится к столь же просвещенному коллеге. Форма его обращения – это открытие: а значит, необходим читатель, которому «еще предстоит увидеть». Однако, хотя аудиторию считают несведущей, ее, тем не менее, не обесценивают. Скорее, эта иерархия – плодотворная: открытие – это нечто гуманное, что должно погрузить просителей в состояние благодати, освобождения или возрождения. На самом же деле текст приглашает читателя занять извиняющуюся позицию: отвергнув прошлые реальности и оставшиеся от них обязательства, читатель может быть искуплен. В то же время в большинстве этих письменных работ привлекается третья сторона – не писатель и не читатель. Третья сторона занимает самую низкую позицию в иерархии, потому что это – тот, кто решил не слушать, кто остается в невежестве или в грехе (например, неаутентичный, неосвобожденный, одномерный, притворно сознательный). Наконец, стоит отметить, что письменный стиль в мистической традиции обычно безличный и монологический. Оратор присутствует в тексте как человек из плоти и крови с обыкновенными слабостями и недостатками, но при этом – еще и как канал для божественного. В то же время, читатель не включен в текст – за исключением формы воображаемого собеседника, выдуманного писателем (на манер Фрейда) для усиления эффекта.

---

* *Интерпелляция – в государствах с парламентской формой правления запрос группы депутатов, обращенный к правительству с просьбой разъяснить некое решение или политику. (прим. пер.)*

Слова пророка

Пророческая традиция тесно связана с мистической, потому что самые первые пророки – в ранней греческой культуре – служили «устами» богов. Однако особое значение пророка происходит из способности пророческого высказывания предсказывать будущее – предупреждать и советовать о том, что ждет впереди. В более позднем израильском обществе пророки формировали отдельный религиозный класс, который во многих важных отношениях отличался от проповедников. Так же и в христианстве: хотя апокалиптические письмена (например, Откровение Иоанна Богослова) выполняли (и продолжают выполнять) важную религиозную функцию, они отделены от вдохновляющей роли книг апостолов. Благодаря такой тесной ассоциации с мистической традицией пророческий голос разделяет с ней множество своих риторических средств. Сильный акцент на метафоре усиливает способность пророка создать визуальную картину будущего, которое еще не доступно для чувств. В пророческом письменном жанре также есть сильный акцент на моральной оценке. Однако, если мистический голос предлагает искупление путем «веры» («увидеть свет»), то апокалиптический голос скорее обретает свой моральный вес через предупреждение. Катастрофы не миновать, если люди не изменят свои привычки.

В борьбе гуманитарной науки за культуральный авторитет пророческие формы были ценным методом. Можно выделить основанную на идеях Гегеля работу Маркса – она стала образцом для многих апокалиптических работ в гуманитарных науках. Пророческий голос на службе морали особенно очевиден в Манифесте коммунистической партии (совместно с Энгельсом):

> Буржуазия ... неспособна оставаться более господствующим классом общества и навязывать всему обществу условия существования своего класса в качестве регулирующего закона. Она неспособна господствовать, потому что неспособна обеспечить своему рабу даже рабского уровня существования, потому что вынуждена дать ему опуститься до такого положения, когда она сама должна его кормить, вместо того что-

> бы кормиться за его счет. Общество не может более жить под ее властью, т.е. ее жизнь несовместима более с обществом.*

Моральное бремя предупреждения, приукрашенного заклинаниями о надвигающейся катастрофе, также заметно в работах многих писателей критической школы, среди которых самые выдающиеся – это Хоркхаймер[271] и Маркузе (в особенности – его работа *Одномерный человек*[354]). В недавних работах мы замечаем, что пророческий мотив умело используют авторы, которые, не будучи марксистами, сходятся в своей критике современных социальных условий. Книги Кристофера Лаша – *Культура нарциссизма* и *Единственные и истинные небеса* – предупреждали об ухудшении культуральной жизни и использовали жанр иеремиады**, чтобы спровоцировать изменения в обществе. Подобным образом в своей работе *Привычки сердца* Белла и его коллеги говорят о том, что близкие отношения и сообщество находятся под угрозой, а перед лицом надвигающейся катастрофы он просит вернуться к прошлым, но уже забытым моральным традициям.

Еще интереснее в своих риторических методах – недавние пророческие работы французских авторов. Во-первых, они – захватывающие, потому что щедро используют мистическую риторику, с которой безраздельно связана пророческая традиция. Такую риторику гораздо проще вплести в континентальные культуральные традиции, чем англо-американскую риторику. Затем, хотя в этих работах содержится мощное моральное послание, их потенциал искупления для читателя не очень велик. Скорее, человек чувствует надвигающийся рок, от которого не скрыться. Например, рассмотрим фрагмент из полной мистицизма работы Делеза и Гваттари[138]: «Шизофреник стоит на пределе капитализма: он представляет собой его развитую тенденцию, прибавочный продукт, пролетария и ангела-истребителя».

---

* *Маркс, К., Энгельс, Ф.«Сочинения» – М: Государственное издательство политической литературы, 1955.*

** *Иеремиада – длинное литературное произведение, в котором автор жалуется на упадок общества, обличает его пороки и недостатки и предвещает его скорый конец. (прим. пер.)*

Жан Бодрийяр представляет любопытный подход к апокалиптической теме. После первого увлечения неомарксистскими идеями, он обратил внимание на массовую циркуляцию означаемых в культуре – шаг, который заметно пошатнул структурные основы марксистской теории. Однако, несмотря на свой провал, Бодрийяр все же продолжил использовать пророческую традицию. Например: «За этой напряженной мизансценой коммуникации – масс-медиа – давление информации стремится к непреодолимой деструктуризации социального»[36].

В своем позиционировании читателя пророческий жанр похож на мистический. Здесь иерархия также выстраивается так, что высшую позицию – онтологически и морально – занимает оратор. Читателя снова считают непросвещенным и, за некоторыми исключениями, ему предлагают варианты искупления для устранения угрозы будущему. Однако в пророческом жанре мы редко встречаем расширенную иерархию, в которой читателя предпочитают толпе нераскаявшихся людей, [призванных внимать пророку]. Скорее, апокалиптическое послание предназначено для всех; никого не поощряют за внимательность. Наконец, пророческий стиль – тоже безличный и монологический.

Мифическая традиция

Третий голос в гуманитарных науках также можно определить как отдельную традицию, потому что он уходит корнями в раннюю религиозную практику. Он появился приблизительно в девятом веке до нашей эры, когда истории о божественных существах заняли важное место в культуральной жизни. Мифы фактически пересказывали священную историю, повествуя о событиях начала времен, чтобы сделать существующие вещи понимаемыми. Мифы играли важную роль в возникших в то время религиях, потому что обычно в них проявлялись способы проникновения сверхъестественных сил в область естественного, и объяснялось, как от божественных деяний произошли важные закономерности видимого мира. Если пророческий голос связывал естественное, природное настоящее с будущим, которое открывалось божественным путем, то мифический

голос помещал настоящее в историю прошлого, которое находилось под божественным руководством. И, подобно пророческому голосу, мифическое повествование часто несло в себе моральные послания, осуждая одни действия и прославляя другие. В ходе столетий мифическая традиция проникла во множество письменных форм, включая Евангелие в христианстве, а также фольклорные истории, сказки, аллегории и басни в мирской жизни. Эта же традиция процветает и в современных гуманитарных науках.

Вдобавок ко многим риторическим особенностям мистических и пророческих традиций, мифический письменный стиль во многом основывается на общепринятых правилах рассказа и нарратива. В западной нарративной традиции особенно важны: начало истории, последовательность взаимосвязанных действий и событий (*фабула*), и чувство завершенности. Затем, обычно определяется концовка с определенной моралью – нечто, на что направлены события или действия (*цель, telos*), и из чего возникает способность истории к драме («пику» или кульминации). С такой точки зрения, можно увидеть, что значительная часть научных работ в гуманитарных науках основывается на мифической традиции. Интерпретации непостижимого, но подразумеваемого происхождения особенно популярны (или были популярны) в антропологии, археологии, истории, психологии и социологии. Объяснением этому служит анализ Ландау[314] выдающихся теорий о человеческой эволюции, а также – анализ их соответствия традиции нарратива, и того, как конкурирующие теории зависят от доступных вариантов нарративной структуры. Герген и Герген[206] также сравнили теории Фрейда и Пиаже о развитии человека, проанализировав их нарративные качества, и в особенности – те способы, которыми из нарративной традиции приобретается драматическое влияние этих теорий. Такие работы, как *Протестантская этика и дух капитализма* Вебера, *Цивилизующий процесс* Элиаса, *Оральность и грамотность* Онга, *Любовь как страсть* Лумана и *История сексуальности* Фуко, похожи на мифический письменный стиль, и их стоит анализировать таким же образом.

В своем сходстве с мистической традицией, мифическая риторика устанавливает с читателем иерархические отно-

шения. Оратор снова делает безличные, монологические заявления, чтобы просветить и осведомить незнающую аудиторию. Хотя нарратив придает понятность известному благодаря метафорической конструкции неизвестного, нарративы часто обременены моральным подтекстом. Это широко признается критиками либеральной истории и в рассказах о прошлом, которые придают ценность или рационализируют существующие практики и традиции.

В своем описании эпигенетического развития познания Пиаже[432] более утонченно придает огромное значение итоговому достижению человеческого развития, в основном – в абстрактном мышлении. И наоборот, теория Фрейда о психосексуальном развитии изображает «нового» взрослого как непременного «невротика», который тянет ношу многочисленных слоев подавления. В этом смысле траектория движения человека – это спираль, идущая вниз, и тогда требуется вмешательство психоаналитика, чтобы сделать разум приоритетом.

Цивилизованный голос

Хотя предыдущие традиции существенно подкрепляют риторическое влияние гуманитарных наук, они остаются периферийными для доминирующей формы социального письменного стиля. В обширной системе «поведенческих наук» остается совсем немного от моральной и эмоциональной экспрессивности предыдущих традиций, на смену мистическим метафорам чаще всего приходит буквальный язык, а от таинственности отказываются в пользу «разговора начистоту». Божественные существа сегодня возвращаются в мирской форме «новаторских» мыслителей; от драматизма пророчества отказываются в пользу экспериментальных и статистических предсказаний. Преобладающий «научный стиль» не просто преследует бесстрастную и обыденную ясность, но и проявляет неустанный интерес к доказательствам и служит моделью осмотрительной сдержанности.

Хотя уже многое написано о риторике доминирующего дискурса в гуманитарных науках, гораздо меньше внимания уделялось его социальному и политическому происхож-

дению. Возможно, самое обширное описание этого содержится в *Социальной истории истины* Стивена Шапина – работе, в которой подробно рассмотрено возникновение научного стиля в «ранней модернистской» культуре Англии семнадцатого века. Шапин предполагает, что английский «знатный класс» – отличавшийся богатством, родословной и образованием – стал главной моделью для дискурсивного взаимообмена в возникающих практиках естественных наук. Когда элита обратила внимание на естественную философию и естественную историю, а экспериментальные работы Роберта Бойла и других становились все заметнее, цивилизованная манера говорить стала жаргоном науки. Среди главных характеристик цивилизованного дискурса были: уважение к собеседнику (как к равному по классу, достойному чести), избегание враждебности или прямого противостояния (это нарушило бы классовое согласие), избегание излишних убеждений (уважение способности другого здраво рассуждать), безличность повествования (уважение личного опыта других) и скромность (подчеркивание равенства позиций собеседников). Наконец, убедительность автора главным образом основывалась на предположении, что все джентльмены правдиво рассказывали о собственном опыте. Таким образом, многое зависело от доверия к доказательствам, которые получил повествующий при непосредственном наблюдении.

Конечно, можно гораздо больше рассказать о трансформациях в стиле и значении научного дискурса после семнадцатого века. Однако в целях этой книги описание Шапина предоставляет удобный способ не только для указания доминирующей формы дискурса, но и для понимания происхождения его риторической силы. Примеры цивилизованной традиции можно встретить повсюду, и эта работа во многом служит конкретным примером. Однако остается открытым вопрос отношений между автором и читателем. Несомненно, цивилизованная традиция уважает читателя больше, чем предыдущие жанры. Вместо того, чтобы ставить читателя в позицию беспомощного невежды, его приглашают к участию как потенциального комментатора. Читатель опирается на собственный опыт и рассудок в качестве ресурсов для того, чтобы высказать свое суждение.

Более того, цивилизованный дискурс не унижает моральное достоинство читателя. Репутация читателя не ставится под сомнение.

И все же, неверно считать, что цивилизованный дискурс обеспечивает равенство представителей профессии. В цивилизованном дискурсе есть самые разные неуловимые способы делать одних «равнее» других. Когда группы крайне цивилизованно создают научные реальности, те, кто не разделяет их язык, либо «заблуждается», либо символически уничтожается, потому что никто не обращает на него внимания. Как мы узнали из 3-й главы, форма цивилизованной аргументации – это, по сути, аргументация войны, в которой каждая из сторон стремится уничтожить противника. Таким образом, хотя доминирующий дискурс в гуманитарных науках и приветствует участие в сообществе, в этом сообществе происходит явная борьба за выживание.

4.2. После дискурсивного поворота

Эти голоса из далекого прошлого пронизывают современные работы в области гуманитарных наук. Они ставят наши темы исследования в один ряд с темами, которые уступают под напором иллокутивных аргументов этих голосов. Однако в последние годы мы также увидели, как на научную арену ступили новые направления риторики, формы голоса и способы распределения ролей между читателем и автором, и все это заслуживает пристального внимания. В значительной степени эти новые формы письма стимулирует обширная и интенсивная критика в адрес предположения, что научный дискурс несет в себе истину. Не раз утверждалось, что нет никаких оснований считать язык картиной или картой реальности такой, какой она [реальность] есть, и, как следствие, полагать, что научный дискурс необходим от природы или руководствуется ее законами. Скорее, в науках мы наследуем разные традиции письма и говорения, дискурсивные жанры, которые выступают необходимыми структурами для постижения и коммуникации. А значит, объяснения «Я» и общества во многом формируются текстуальными традициями, риторическими требованиями и традиционными формами

отношений между читателем и автором. Конечно, именно такая смена интеллектуальных ролей и дает начало [представленному в этой книге] обсуждению.

Самое главное в этом анализе – то, что дискурсивный поворот в гуманитарных науках значительно влияет на практику написания в двух моментах. Прежде всего, под сомнение ставится традиционная привилегия авторитета, которым наделяют писателя. В контексте дискурсивной критики становится все труднее соглашаться, что высказывания автора несут в себе истину из мистических миров, предсказывают будущее, рассказывают достоверные истории о происхождении вещей или делятся провидческой, божественной информацией. Скорее, читателя, который получает информацию из этих текстов, побуждают сопротивляться позициям покаяния, благоговения или уважения – то есть, тем позициям, в которые такой письменный стиль традиционно его ставил. Или, если быть точнее, читатель подходит к тексту с «двойным» сознанием: с одной стороны, он готов по традиции вступить в честную связь с автором, но одновременно он знает, что удовольствие доверия имеет свою цену, а именно – значительное ущемление.

Эти вызовы традиционной риторике и ее иллокутивной силе, а также поддержка перемены в дискурсе побуждают специалиста гуманитарных наук отнестись к репрезентации творчески. Можно ли найти способы выйти за пределы комфортных, но ограничивающих традиций, разработать новые формы письменного стиля и преобразить отношения между автором и читателем? В особенности теперь, когда ученые становятся все более восприимчивыми к политике герменевтики и интересуются потенциалом тоталитаризма, подавления и несправедливости, кроющимся между строк в письменном стиле, эксперименты с формами написания «расцвели пышным цветом». Стоит признать, что эти возникающие формы – не новы и, по сути, не могут таковыми быть. Понимаемости можно добиться, только основываясь на неких уже существующих традициях. Таким образом, мы считаем возникающие формы голоса «новыми» лишь потому, что они основываются на других, новых традициях, которые пришли на смену тем, что были раньше. Давайте рассмотрим две традиции, которые «расцвели» особенно заметно.

Автобиограф

Хотя понятия «автобиография» не существовало до конца восемнадцатого века, здесь я буду использовать его в широком смысле, чтобы описать жанр письменного стиля, в котором автор служит центром внимания – и как уникальный индивид, и, возможно, как «призма», сквозь которую можно понять мир более обобщенно. Таким образом, мы можем сюда отнести не только автобиографические работы как таковые, но и личные дневники, мемуары и путевые заметки. Такой письменный стиль обретает вес несколькими способами. Во-первых, он открывает читателю доступ к любопытному «неизвестному», к историческому периоду, культуре или к отдельной личности – и часто эти периоды, культуры или личности оказываются крайне важными. Во-вторых, часто присутствует образовательная функция. Например, *Исповедь* Святого Августина рассказывает о трудностях достижения духовной чистоты; автобиографии Бенджамина Франклина и Уильяма Карлоса Уильямса предлагают взгляд на творческий процесс; Дональд Трамп рассказывает читателю о том, как достичь экономического успеха. Наконец, автобиография основывается на мифической и беллетристической традиции, предлагая читателю и нарративное понимание, и развлечение.

Что же касается риторических признаков, автобиографическое письмо в социальных науках в целом избегает таинственных миров мистического письма. Автобиограф обычно пытается представить полноту жизни, которую он проживает. Подобно мистическому и пророческому, автобиографическое письмо полно выражений ценности. Однако такие выражения обычно используются не затем, чтобы карать читателя за его недостатки, а чтобы подтвердить предпринятые действия. А читателю остается извлекать объективные уроки из таких рассказов. Хотя автобиографию иногда используют для укрепления гражданского общества, к ней чаще обращаются те, кто в каком-то отношении необычны – вне- или анти-нормативны. Автобиограф часто «копается в грязном белье», чего хотел бы избежать цивилизованный репортер. Возможно, самой важной характеристикой жанра является его попытка поделиться субъективностью, позволить читателю встать на место пи-

сателя. Это часто означает активное использование аффективного языка (например, ценности, страсти), повседневного дискурса (реальность, общая для всех) и метафоры (дают возможность читателю испытать качества уникального опыта).

На мой взгляд, именно автобиографический голос наполняет значением главные движения в науке с момента дискурсивного поворота. Жанр существовал и раньше, влияя на ранние исследования в антропологии и клинической психологии. Однако сегодня мы наблюдаем пышный расцвет автобиографического жанра – в количественных исследованиях, нарративных поисках, этнографии, практических опытах, феминистских исследованиях и так далее. Эти примеры такого письма имеют два голоса. Во-первых, в них присутствует субъективность автора («мой опыт как исследователя»). Здесь ученый не хочет казаться никем, кроме себя самого (например, священником, пророком, гражданином) и пытается открыть свой внутренний мир читателю. Во-вторых, признается также и субъективность другого, и осуществляется попытка сделать эту субъективность прозрачной, ясной путем ее открытого выражения. В качестве примера: в анализе «неунифицированной субъективности в нарративной репрезентации» Лесли Блум начинает свое этнографическое исследование, превращая собственный опыт в призму, через которую можно взглянуть на мир: «Когда я встретила Оливию в 1991 году...»[58]. Обозначив свою субъективность, она выступает проводником, через который слышен голос Оливии.

> Я только что избавилась от одного из самых гнусных сексуальных извращенцев ... в организации. Он был одним из руководителей. И я выступила против него. И добилась его увольнения...[58]

Подобным образом Амия Либлих начинает обсуждение вопросов иммиграции и «Я» так:

> Когда я чувствую, что теряю ориентацию, например, не могу найти дорогу (теряюсь!) на трассе ... я содрогаюсь от мысли о невероятной растерянности моих юных студентов – новоприбывших иммигрантов из России[334].

Вскоре, однако, прямое чувство эмпатии по отношению к Либлих распространяется на Наташу – объект тревоги Амии. По словам Наташи:

> Знаете, Вы – первая взрослая, кроме моих родственников, с кем у меня была возможность долго поговорить с момента приезда...[334]

Дальнейшие разработки в том, что называется «автоэтнографией»[156;157], позволяют авторам использовать собственную жизнь в качестве призмы, через которую читатель может добиться лучшего понимания разнообразных жизненных ситуаций.

Письмо в автобиографическом «режиме» приглашает читателя занять позицию, которая разительно отличается от тех, что мы рассмотрели раньше. Тогда как мистическая, пророческая, мифическая и цивилизованная формы склонны удерживать дистанцию между автором и читателем, автобиографическая риторика имеет обратный эффект: читателя приглашают идентифицировать себя с писателем, быть с ним на равных. Поскольку автор полагается на общепринятые тропы (в частности – на тропы, предназначенные для более интимных или, наоборот, открытых обстоятельств), ему проще найти отклик в сердце читателя через свой письменный стиль. То есть, читатель может найти множество примеров из собственного опыта, к которым также обратился и автор произведения. Читателя приглашают прочувствовать [описанную в произведении] оценку как «свою собственную». Когда автор излагает нарративную оценку другого человека, получается тройное слияние: рассказчик, автор и читатель мысленно соединяются (и связываются) между собой в общей субъективности.

Беллетрист

Давайте рассмотрим последнюю форму изложения, жанр, который проник в общественное сознание преимущественно в последние столетия. Целью мифов, фольклорных историй, басен и эпических поэм всегда было выражать истину, озарять и направлять западную культуру. Однако по мере того, как цивилизованный дискурс, язык

бесстрастной объективности, распространялся все больше, а притязания на его значимость звучали все громче, разделение между художественным и фактическим письмом становилось все резче. Фактический дискурс следовало воспринимать всерьез, и от его описаний зависели вопросы жизни и смерти; художественный же дискурс чаще считали вкладом в культуральную мудрость или попросту занимательным развлечением. За прошедшее столетие термин «беллетристика» стали все больше идентифицировать с прозой, а в частности – с романом; однако с недавним «бумом» экспериментального (постмодернистского) письма термин «беллетристика» все больше относится к письму, которое не использует систематически собранные факты, чтобы подкрепить изложенную позицию.

Именно в беллетристическом письме специалисты гуманитарных наук, желающие отбросить традиционные способы написания, находят невероятно богатые ресурсы. Беллетристические жанры пользуются огромным уважением за их вклад в культуральную жизнь – они несут в себе мудрость, озарение и вдохновение. Таким образом, ученый может основываться на этих традициях, чтобы возбуждать, провоцировать, развлекать, бросать вызов и интриговать. Возможности безграничны. Более того, беллетристический жанр по своей природе выступает противником доминирующего дискурса «факта», одновременно размывая и разрушая противопоставление факта/вымысла как таковое в гуманитарных науках. Несомненно, сложно характеризовать «беллетристический жанр» в терминах риторической специфики. Скорее, для специалиста гуманитарных наук, который одновременно стремится порвать с общепринятыми традициями и находится под влиянием беллетристической традиции, буквально все формы письма становятся полезными (включая премодернистские и модернистские традиции). Более того, не существует никаких общих условностей касательно того, как присваивать критерии оценивания. В терминах риторической формы, буквально «все идет в ход» – с единственным исключением: поскольку беллетристически ориентированный ученый не связан никакими специфическими риторическими условностями, такое письмо рискует остаться недоступным для понимания.

Если читатель не может идентифицировать, с каким намерением писали произведение, и как оно позиционирует его самого, это произведение могут посчитать туманным или даже отмести его как бессмысленное. Следовательно, ученому необходимо воспринимать читателей как погруженных в интеллектуальный контекст, и тем самым давать начало таким экспериментам. Если такое предположение сделать предварительно нельзя, может понадобиться «разговор начистоту», который сделал бы работу «рациональной».

Хотя диапазон экспериментального письменного стиля в гуманитарных науках продолжает расширяться, в целях этой книги я хочу сфокусироваться на одной риторической форме. С моей точки зрения, самый важный вклад, который делает этот жанр – это его расширение «вокальных регистров». То есть, множеством разнообразных и контрастирующих между собой способов авторы пополнили количество реальностей, рациональностей или ценностей, охваченных в одной работе. Все жанры, рассмотренные до этого, основываются на предположении о едином авторе и подтверждают это предположение. Они формируют восприятие автора как унифицированного субъекта – с единым разумом, единым сознанием, последовательной и морально нравственной рациональностью. Не быть унифицированным – значит привлекать такие эпитеты, как «непоследовательный», «противоречащий сам себе» или «морально беспорядочный». Однако беллетристический импульс «дает разрешение» на широкую дисперсию авторства.

Одна из первых и самых провокационных иллюстраций такой дисперсии – это книга Майкла Малкея 1985 года *Слово и мир: исследования в форме социологического анализа*[387]. Книга – экстраординарна благодаря представленному в ней ряду полифонических экспериментов. Во вступительной главе во всем тексте сквозит голос брюзгливого собеседника. Разъясняющий Малкей говорит о «расширении диапазона аналитического дискурса, чтобы включить в него формы, которые раньше не считались приемлемыми»[387]. Собеседник отвечает: «*В принципе это звучит очень привлекательно, но такое предложение игнорирует важное различие между фактом и вымыслом...*»[387]. Дальше Малкей объясняет, что даже в науке «то, что для одного (уче-

ного) – факт, для другого – не более, чем вымысел»[387]. Его собеседник возражает: «*Разве мы не рискуем перепутать два разных значения «вымысла»?*» Следующие главы содержат переписку между Марксом и Спенсером, письма от этих людей к самому Малкею, одноактную пьесу, дискуссию между большим количеством участников, в которой некоторые из «вымышленных» участников – это модели реальных и узнаваемых ученых, а также – дискуссию в группе подвыпивших участников на церемонии вручения Нобелевской премии.

Хотя в интеллектуальном отношении книга Стивена Тайлера 1987 года *Невыразимое* резонирует с работой Малкея, она открывает новый диапазон «форматики»*. Например, в одной из попыток опровергнуть научный подход к языку, в котором он [язык] несет в себе специфическое значение (и, следовательно, ясно и понятно раскрывает истину), Тайлер играючи деконструирует фразу из области семиотики («движение вдоль синтагматической оси...»). Он показывает: если до конца отследить значения каждого слова, эта фраза на самом деле значит «вторая мировая война натравила анально одержимых немцев на орально одержимых британцев». Затем в порыве веселья Тайлер стремительно нагромождает одну дискурсивную традицию на другую, чтобы вдохнуть жизнь в спор: «Одновременность парадигматического подразумевания прерывает упорный и стремительный поток означающих в сингулярности времени. Не идите по развилистым тропинкам! Не разветвляйтесь! Борхес, встань за мной! Время марширует вперед!»[547].

Однако, вероятно, риторическое богатство этого отрывка из книги Тайлера лучше всего проиллюстрировать лирической концовкой главы: «Под мерцающим светом северного сияния стонут и вздымаются зеркальные полярные льды, слабо трепещет огонек на очаге алтаря, в сердце, в затхлом дыхании темноты обратной стороны ночи»[547].

Финальный пример многоголосия беллетристических экспериментов предоставил Стивен Пфоль в своей работе 1992 года – *Смерть в кафе паразитов*. Книга начинается с семи разных «(п)исательских вступлений»: от редактора,

* *Форматика – здесь – правила формирования значения. (прим. пер.)*

переводчика, автора, иллюстратора и составителя; каждый из них представлял разную позицию авторства, но при этом все они имели признаки всеобъемлющей субъективности. Остальные главы – это коллажи из разнообразнейших форм письма, включая 1) *мистическую*: «Это – история ... завязавшаяся вокруг того (который (завязал) быть Тем самым), кто прошел через УЖАСЫ сиротства. Без трансцендентности или надменной уверенности в гениальности. Без героизма или призыва к войне...»[428]; 2) *пророческую*: «Это – Кафе Паразитов, темное, но великолепно просвещенное место постмодернизма, где транснациональный сонм корпоративных инФОРМативных агентов кормится подвергшейся цифровой кодировке плотью других»[428]; 3) *автобиографическую*: «Я бы хотел проинФОРМировать вас, что мои воспоминания о том полевом исследовании во Флориде представляют «происхождение» слов, которые Вы читаете»[428]; 4) *цивилизованную*: «Всерьез воспринимать ситуативную природу любого знания – не значит отрицать объективность социальных научных истин, но значит требовать от объективности, чтобы она рефлексивно определяла (всегда единственную) условную адекватность ее собственных частичных позиционирований в мире, который она изучает»[428]; и 5) *общую беллетристическую*: «Это просто невероятно – быть здесь. Никогда бы не подумал, что я буду писать эти слова в тюрьме и с таким страхом»[428]. Все жанры испещрены фотографиями, заголовками и появлениями разных «предвзятых» персонажей вроде Черной Мадонны Дюркгейм, Рада Рада, Марти Мартина и Джека О. Лантерна*.

Что касается позиционирования читателя, полезно сравнить беллетристические начинания с автобиографическими. В обоих случаях присутствует попытка разрушить традиционные иерархические отношения между автором и публикой. Оба жанра избегают авторитарных, хорошо «защищенных» монологов. Однако при этом беллетрист также подрывает собственный авторитет, включая [в свое повествование] множество голосов, часто противоречащих друг другу. Тесно связанные между собой, и автобиограф, и беллетрист перемещают акцент с монологических отно-

* *Аллегорические персонажи в произведении Стивена Пфоля «Кафе паразитов». (прим. пер.)*

шений с публикой к диалогическим. Автобиограф обычно выстраивает взаимозависимые отношения с читателем («Как автобиограф, я открыт и доступен для вас, для ваших чувств и мнений»), а беллетрист может полагаться на диалогические отношения между разными текстуальными традициями (полифонический роман). И автобиографу, и беллетристу позволено нарушать цивилизованную традицию, когда они выражают страсть и заинтересованность.

Наконец, мы должны обдумать, почему именно беллетристический голос уникален в группе голосов, которую мы рассматриваем сейчас. Здесь полезно распределить разные жанры в соответствии с тем, насколько они удалены от автора/читателя или приближены к ним. Мистический, пророческий и мифический голоса явно отделяют автора от читателя. Цивилизованный голос приближает читателя [к автору], обращаясь к общему (хоть и соревнующемуся) «братству» благонамеренных и рациональных искателей истины. Автобиограф подводит читателя еще ближе к автору. Его опыт (душа) становится прозрачным и доступным. Однако в беллетристическом письменном стиле мы открываем новую область *иронической дистанции*. С одной стороны, жанр способствует высокой степени близости между автором и читателем. Автор не занимает позицию всевидящего ока – последовательного, безличного и сдержанного. Скорее, он дает читателю доступ к полной сложности бытия – страстного, игривого, искушенного, грубого и т.д. Затем, основываясь на традиции беллетристики как развлечения, жанр предлагает читателю насладиться опытом, поддаться удовольствиям от текста. И все же именно этот контекст развлечения дает начало иронической дистанции. Поскольку каждое доказательство текстуального мастерства – или «писательства» – это одновременно доказательство присутствия автора, которое из текста убирают; автора, который присутствует не буквально, а как «волшебник за ширмой». Признаки беллетристики предполагают созданный мир, который все-таки не стоит воспринимать всерьез – мир, мастерски изготовленный автором, чтобы увлечь читателей.

4.3. Написание под вопросом

Благодаря обостренной исторической восприимчивости мы слышим, как в современных гуманитарных науках раздаются голоса мистиков, пророков, создателей мифов, сторонников цивилизованного жанра, автобиографов и беллетристов. Цель этого анализа, однако, не деконструктивная. Существующая на сегодняшний день литература по риторике гуманитарных наук привела к более широкому осознанию сконструированного характера передачи истины. Так же и признание наших способов риторики и традиций, на которых они основываются, не является целиком освободительным. Осознание роли традиции, литературных условий и риторических правил не допускает побега. Даже признание [риторики и традиций] полагается на те же ресурсы, которые оно пытается дискредитировать. В этом смысле, представленный здесь анализ целиком зависит от тех же риторических форм, которые мы пытаемся осветить в этой книге (в особенности – цивилизованные и мифические). В некоторой степени, я вижу, что самые плодотворные рассуждения в первую очередь основываются на вопросах сравнительной ценности, а во вторую – на разрастающихся способах выражения. Чтобы способствовать развитию этих диалогов, будет полезно привести несколько комментариев.

Что касается сравнительного достоинства подобных дискуссий, есть по меньшей мере три основных (и взаимосвязанных) критерия, которые нужно учесть: цель, аудитория и политика. Из осуществленного ранее анализа должно быть ясно, что гуманитарные науки не имеют одной унифицированной цели. Тогда как в одних кругах ключевыми становятся такие цели, как предсказуемость и контроль, в других специалисты стремятся сгенерировать инсайт, освободить читателя от ограничений, сформировать мораль, обеспечить ресурсы для разговора и сконструировать [разные варианты] культурального будущего. Точно так же, как мы считаем это множество целей обоснованными, мы должны принимать и огромное разнообразие в традициях голоса. Мистический письменный стиль не будет особо полезным в предсказании употребления наркотиков или самоубийства, а цивилизованный дискурс находится в «мо-

ральной спячке»; и так далее. Фактически, мы можем оценить все многообразие доступной нам риторики и обращаться к ее соответствующим сильным сторонам, когда мы рассматриваем возможные научные цели.

Что касается аудитории, то представители научных кругов склонны объединяться вокруг определенных письменных жанров, попутно отметая другие альтернативы (например, за то, что они «озадачивающие», «банальные», «непрактичные», «тошнотворные», «просто развлекательные» и т.д.). В целом ученые не готовы вступить в отношения автор/читатель за пределами своей специализации. Например, столкнуться с мистическим письменным стилем, основанным на цивилизованном дискурсе, было бы мучительно и безрезультатно; в то же время автобиограф часто находит цивилизованный дискурс катастрофически плоским и техничным. Проблема лишь усугубляется (не)способностью гуманитарных наук находить связь со своей аудиторией за пределами научного мира. Хотя научные жанры многое заимствуют из общепринятых культуральных традиций, по мере того, как они продолжают вращаться в научном мире, а ученые продолжают искать более искушенные формы изложения (более загадочные, возбуждающие, точные, изобретательные и так далее), понимаемость таких жанров в обществе сходит на нет. И тогда мы находим, что, решив выбрать лишь один из существующих жанров, ученый резко сокращает потенциальное количество своих читателей. Вскоре мы вернемся к этому вопросу.

Что же касается политических подразумеваний, я сделал особый акцент на тех способах, которыми такие различные стили речи предпочитают или создают формы отношений. Фактически, выбирая жанр, человек одновременно приветствует особую форму жизни; жанры сами по себе выступают механизмами социального производства. В этом смысле важно пристально оценить не только содержание разных работ, но и сами формы письменного стиля. Какие формы общества ученый хочет поддержать, позиционируя себя и других определенным образом? Последствий таких работ – огромное множество повсюду: от образовательной политики и педагогической практики и до вопросов организации семьи и общества. Однако как бы автор ни ценил

культуральную демократизацию, диалогическое создание истины и морали, и сокращение ощутимых дистанций между людьми, некоторые ограничения свойственны и более традиционным формам письменного стиля.

И все же мы можем, наконец, спросить: «почему именно письменный стиль?» Разве мы не можем создать новый способ отношений в нашей культуре, выйдя за рамки письменного выражения? Существует множество возможностей в ожидании соединения науки и перформанса – драмы, танца, музыки, искусства, мультимедиа и так далее[59;90;202]. Сегодня мы видим, что специалисты гуманитарных наук обращаются к искусствам как к способу коммуникации[210], хотя деятели изобразительного искусства уже давно использовали собственные инструменты, описывая природу человека. Подобным образом, специалисты гуманитарных наук все чаще обращают внимание на потенциал кино и видео как форм профессионального выражения. Начиная с ранних фильмов Фреда Уайзмена и заканчивая щедрой помощью Фонда медиаобразования, грань между академическими исследованиями и развлечениями находится под все большей угрозой. Самое главное: переход к перформансу, поэзии, искусству и визуальным средствам угрожает противостоянию ученого против не-ученого. И хотя авторитет ученых подорван, сами науки имеют обширные возможности выражения. Более того – эти выразительные жанры сокращают иерархию между исполнителем и аудиторией. В случае фильма и видео, в частности, можно сказать, что риторический успех во многом зависит от того, насколько работа созвучна с настроениями аудитории. Аудитория не жаждет «прилагать усилия, чтобы понять» – она хочет получить удовольствие от того, что ее понимает «автор». Наконец, появляется целый ряд жанров, который открывает беспрецедентные возможности для специалистов гуманитарных наук в том, чтобы достучаться до аудитории за пределами научного мира. Тогда как успех существующих жанров во многом зависит от искушенного круга посвященных, переход к искусствам, театру, поэзии, кино и так далее – более либеральный. В особенности – в случае с фильмами и видео, аудитория которых обширна и тщательно подготовлена.

4.4. В заключение

Мы обнаружили, что не существует ни одной однозначной формы голоса в социальных науках – скорее, есть обширный ряд разнообразных традиций. Затем, за последние несколько десятилетий проводились серьезные эксперименты в наших формах репрезентации. Хоть традиционные, хоть бунтующие, и автор, и аудитория остаются единицами конструкции, и одни формы отношений имеют определенные привилегии перед другими. В этом смысле, политика репрезентации выходит далеко за рамки обычного интереса к способам, которыми социологи обращаются к «персонажам» своих работ. Скорее, политический интерес охватывает отношения между автором и аудиторией, созданные жанром письменного стиля. Хотя я критически отношусь к некоторым формам обращения, я не пытался отстаивать общее превосходство одного из этих жанров над другими. Каждый из них создает особую форму культуры, но, как должно быть ясно из предыдущих глав, существует много причин избегать единой, унифицированной иерархии понятия «хорошего». На мой взгляд, вместо этого, важно найти место для всех традиций, потому что каждая из них обогатит определенный слой общества, послужив ценным ресурсом в определенных обстоятельствах. Я не побуждаю читателей слепо отстаивать статус-кво. Скорее, я надеюсь, что эта книга поспособствует развитию диалога, который позволит нам делать более правильный выбор для будущего общества.

5

ИСТОРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ: КОНФЛИКТ И ОБЩНОСТЬ

Психологи и историки не всегда были близкими напарниками. Для многих историков психология была «сомнительным предприятием», неуверенным «новичком» в интеллектуальном мире, который лицемерно превозносит себя до статуса естественной науки. К тому же, имплицитная «повестка дня» психологии – это гегемония. В данном случае, если психологическая наука предоставляет основополагающие знания о поведении человека, а исторические изыскания преимущественно посвящены пониманию такого поведения по мере течения времени, значит, психологии предстоит поглотить историю как дополнительную, вспомогательную науку. Отношение психологии к истории – такое же отстраненное. Как «дитя» культурального модернизма, психологическая наука относилась к историческим исследованиям не более, чем с толерантной корректностью. Психология – это предприятие, которое «боролось» за выявление общих законов научными (и в основном экспериментальными) методами. Из-за такой ее приверженности прогрессу именно эмпирическими методами, предыдущие исследования разума или учения о более ранних способах мировосприятия неизбежно пострадали. По сути, прошлое было покровом, который нужно было сорвать. Психологи могут просматривать прошлые рассуждения в поисках интересных гипотез или поучительных историй, но результаты, вероятнее всего, подтвердят распространенное подозрение о том, что современное исследование – контролируемое и систематическое – в своих выводах было значительно важнее [прошлых исследований]. С точки зрения психолога, историки смотрят назад, тогда как собственно акцент следует делать на построении знаний для будущего.

Однако медленно эти (меж)дисциплинарные антипатии начали утихать. С возникновением новых культуральных традиционных топосов* – например, глобализации, экологии, информационного «бума», мультикультурализма и постмодернизма – мы «сталкиваемся» с возросшей чувствительностью к искусственности и часто сбивающему с толку «рабству дисциплинарности**», которое превращается в настоящую ловушку. На смену разделению и специализации все больше приходят любопытство, диалог и оптимистичное предчувствие нового и захватывающего будущего. Именно о форме такого будущего я веду речь в этой главе. Союз истории и психологии может иметь много форм, и крайне важен рефлексивный взгляд на их различные возможности и ограничения. Это – вопрос не только интеллектуальных и научных надежд, но и длительных традиций, которые необходимо надлежащим образом укрепить либо устранить. И эти традиции, в свою очередь, связаны с более масштабными социальными практиками, которые влекут за собой моральные и политические последствия. Выбирая наш собственный способ исследования, мы также формируем культуральное будущее.

Помня обо всем этом, я хочу рассмотреть три противоречащих друг другу ориентации на «смешение»*** психологии и истории. Первую ориентацию можно считать *интеракционистской*: в ней психологические состояния провоцируют исторические изменения, а исторические условия влияют на психологические состояния. Вторая ориентация – *радикально истористическая*****, в которой исторические условия создают то, что мы принимаем за ментальное состояние. Третья ориентация фокусируется на *историческом производстве психологического дискурса*. Каждый подход имеет различную логику, любая из которых потенциально может положить конец другим альтернативам. Моя надежда в этом случае – на то, что, путем сравнитель-

---

* *Топос – (от лат. topos) – категория культуры или образ культуры (формирующееся, необщепринятое значение). (прим. пер.)*

** *Здесь под дисциплинарностью подразумевается приверженность одной дисциплине. (прим. пер.)*

*** *Подходы к «смешению». (прим. пер.)*

**** *Истористический – такой, в котором история становится ключевым фактором в понимании предметов и событий. (прим. пер.)*

ного изучения, мы можем выйти за рамки пантагонизма*. Действительно, моя надежда, подкрепленная конструкционистской чувствительностью, состоит в том, что мы сможем найти подходы к более дружескому и обогащенному будущему. Эти замечания не стоит рассматривать как вывод или итог – конец обсуждения; скорее, это – приглашение к коллективному размышлению над тем, как построить жизнеспособное будущее.

5.1. Эмпирические основания для взаимодействия психологии и истории

В этом анализе ключевым является ряд предположений, которые традиционно лежат в основе центральных исследований как в психологической, так и в исторической области. Хотя такие предположения приветствуют определенные формы единения истории и психологии, в то же время в некоторых важных отношениях они влекут за собой проблемы и ограничения. Эти формы были основательно разработаны в философии науки двадцатого века (как возникшие внутри позитивизма 1920-х годов и расширившиеся через логический эмпиризм на более умеренные идеи Поппера в критическом рационализме), и они глубоко встроены в повседневные действия самих ученых как имплицитная и фундаментальная структура. В двух словах, чтобы резюмировать четыре ключевых рабочих предположения в психологии и истории, мы отмечаем приверженность следующим пунктам:

Независимый предмет изучения. До недавнего времени историки и психологи предполагали, что существование их предметов изучения не зависит от особых страстей и предрасположенностей агента исследования. Такой закоснелый предмет изучения – данный от природы – существует, чтобы его записывали, измеряли, описывали и анализировали. Опыт работы с этим предметом изучения может служить индуктивной базой для генерирования знаний или понимания. Чтобы определить относительную валидность противоречивых объяснений прошлого и настоящего пове-

---

* *Пантагонизм – конфликт, в котором все общества противостоят друг другу. (прим. пер.)*

дения человека, их можно сравнить с рядом существующих в реальности явлений.

Эссенциалистский взгляд на разум. Историки, по большому счету, присоединились к психологам в предположении, что среди важных предметов изучения, достойных рассмотрения, также есть ментальные процессы, их предпосылки и проявления. Так как человеческое действие имеет психологическую основу (включая, например, эмоцию, мысль, намерение и мотивацию), для исторического знания необходимо прояснить психологическое функционирование (чтобы история не превратилась в простую хронику событий). И, конечно, разум – это первостепенный фокус психологической науки.

Исследование как объективное и кумулятивное. Психологи приложили множество усилий, чтобы обеспечить объективную оценку своего предмета изучения. Использование инструментов, компьютерный контроль, экспериментальный дизайн и исследования по валидации тестов – это лишь несколько способов гарантировать объективность. Хотя немногие историки заявили бы, что мир прошлого – абсолютно понятен, большинство согласилось бы, что благодаря изучению рукописей, писем, дневников и других артефактов описание прошлого может пролить больше света на фактические события. Может быть, невозможно достичь абсолютно объективного понимания, но к этой цели можно бесконечно приближаться. Более того, в обеих дисциплинах объективность служит фундаментом для кумулятивного знания. Все тщательнее изучая определенное явление – хоть психологическую депрессию, хоть Великую депрессию – ученые могут добиться его более подробного понимания.

Ценностная нейтральность. Повсеместной тенденцией в исторических и психологических исследованиях стала претензия на идеологическую беспристрастность. Несомненно, ученые могут иметь «крепкие» личные ценности, но в идеале эти ценности не должны влиять на анализ доказательств или на итоговое описание предмета изучения. Стремление к объективности в обоих случаях одновременно связано с верой в объективность как в освобождение от идеологии.

По большому счету, такие совместные психо/исторические предположения ответственны за возникновение основных научных направлений, которые связывают разум и историю. Для нашего анализа полезно сосредоточиться на совместных начинаниях психологов и историков и изучить несколько проблематичных подразумеваний. Определившись в этих вопросах, мы можем перейти к дальнейшим рассуждениям, которые предлагают альтернативные переплетения исторического и психологического.

Предположения в действии: взаимодействие психологии и истории

Прежде всего, если мы предположим, что существует психологический процесс (объекты, механизмы, диспозиции и т.д.), а также объективированный исторический контекст (то есть, контекст, который существует независимо от ментальной репрезентации), мы будем склонны к анализу, который с легкостью связывает ментальные предикаты с исторически конкретными событиями или действиями. Предпочтение отдается двум основным формам исследований: первая проливает свет на *психологические корни* исторически определенных событий (психология как причина), а вторая сосредоточена на *психологических результатах* конкретных исторических условий (психология как следствие). Тогда как взаимодействие между психологическими и историческими условиями случается редко, и при этом заслуживает внимания, в большинстве исследований отдают предпочтение лишь одной из этих полярно разных сторон – либо психологии, либо истории. В случае с психологическими корнями, вероятно, главные попытки принадлежат психологам-историкам[73;139;340]: здесь ученый обычно предполагает, что существуют различные психодинамические процессы, а его анализ сосредоточен на способах, которыми эти процессы проявляются в различных исторических событиях. В таком анализе специалисты могут рассматривать психодинамические условия жизни людей в определенную историческую эпоху[186] или индивидуальную психологию выдающихся исторических личностей[160]. Работа Мартиндейла[361;362] о психологических мотивах, ле-

жащих в основе эстетической оценки и интересов, главным образом подчеркивает разум как источник истории. Эта работа особенно интересна, потому что демонстрирует: результаты таких [психодинамических] состояний создают контекст, который «закольцовывается», возвращается назад во времени, чтобы изменить психологическое состояние. Таким образом, для Мартиндейла существуют предсказуемые исторические траектории, извлекаемые из взаимодействия психологии и истории.

Однако появляется все больше исследований, в которых ментальные состояния и проявления позиционируются как последствия определенных исторических событий. В этой книге я не утверждаю, что психологические процессы – это продукты таких условий. Скорее, аналитик, [чью позицию я представляю в своей работе], предполагает, что существуют фундаментальные психологические процессы (например, когнитивные, эмоциональные, мотивационные) и считает, что исторический контекст формирует их содержание, характер или проявление. Фактически мы можем сказать, что существует *историческое структурирование* психологического. Подобные работы появились из множества источников. Например, долгое время существовал интерес к тому, как позиционировались процессы детского развития в определенных исторических условиях[16;283;552]. Масштабные работы, вроде работы Элиаса[155] о цивилизующем процессе, Онга[408] – о формах познания, которые предпочитают в устных, а не в письменных культурах, и Элдера[154] – о психологических последствиях «Великой депрессии», также делают важный вклад в этот вид исследований. Такие исследователи, как Симонтон[495;496], даже попытались создать способ представить исторические переменные в количественной форме, чтобы предсказывать исторически точные уровни креативности, гениальности или лидерских качеств. Возможно, самой обширной и последовательной работой в этой области является работа Стернсов, включая их историю гнева в американском контексте[511], эволюцию ревности в недавней истории[512] и судьбу викторианских пристрастий в жизни двадцатого века[513]. Книга *Историческая социальная психология*[205] содержит больше примеров исследований в этих разнообразных областях.

Пределы традиции

Мы обнаружили, что каждое из описанных ранее традиционных предположений явственно проявилось в некоторых направлениях совместных исследований в психологии и истории. Каждое исследование подразумевает независимый предмет изучения, психику как «естественную», доступную для объективной оценки и исследования как нечто совокупное и неидеологическое. Развитие таких предположений привело к значительному обогащению ресурсов, включая: развитие социальных/поведенческих наук как важных дисциплин в культуральном ландшафте; возникшее чувство единства в вопросах знания, его важности и того, как к нему стремиться и как ему научить; и огромное количество материалов для исследования, чтобы стимулировать научные рассуждения. И все же, хотя об этих предприятиях можно многое сказать, также необходимо осознать их ограничения. Несомненно, мы должны приветствовать попытки традиционных исследований; а вот достаточно ли единственной парадигмы – это другой вопрос.

В этом контексте внимания требуют три определенных вопроса. Прежде всего, важно осознать, что предположения в основе традиционной формы исследования сами по себе происходят из исторически определенной способности понимать. Высказанные предположения производят впечатление «главных принципов» – основ, которые выходят за рамки исторического и культурального контекста. И все же аналитик, разбирающийся в истории, обратит внимание на условия, в которых эти предположения возникли, и на роль, которую они могли сыграть в политических, экономических и социальных условиях определенного времени[480]. Следовательно, предположения обретают вес не из трансцендентных истин, а из конкретных условий общества. И, если это так, совершенно не обязательно поддерживать лишь одно предположение, отвергая все остальные. Или, что еще лучше, так как они – необязательны, они могут быть доступны для пристального и всестороннего рассмотрения и для обсуждения альтернатив (в работах Леви[333] и Моделла[378] Вы можете найти некоторые обсуждения подобных ограничений).

Такое рассмотрение по-настоящему начинается, когда становится понятно, что эти основополагающие предполо-

жения не создают способов для критической саморефлексии. С таким рассмотрением пропадают способы ставить под сомнение основы этих предположений и задавать четкие вопросы, которые не в ходят в очерченную ими онтологию. Как только мы соглашаемся, что знания накапливаются благодаря эмпирической оценке данных о мире, это предположение становится сложно оспорить. Сомневаться в нем на основании, не учитывающем онтологию (например, на духовном основании), было бы неуместно в этом случае (например, это было бы «обычным мистицизмом»). Подвергнуть сам эмпиризм эмпирической проверке было бы так же проблематично. Предположить, что эмпирические методы могут опровергнуть сами себя, было бы концептуально пагубно.

И все же проблема не ограничивается одной лишь неспособностью к саморефлексии. Мы обнаружили, что как только парадигма вступает в силу, все вопросы, которые не попадают в ограниченную область эмпирических знаний, оказываются в опасности. В частности, критиков уже давно тревожит неспособность традиционного научного направления отвечать на вопросы о человеческой ценности. Так как язык ценностей невозможно однозначно связать с событиями в материальном мире, вопросы ценности преимущественно устранили из дискуссии. Кроме этого, считается, что в стремлении к знаниям специалисты заинтересованы в том, чтобы установить, в чем же (было) дело, а не в провозглашении канона того, что «должно» быть. Задача идеологической пропаганды – отнюдь не объективные исследования. И все же критики настаивают: выбирая описательную терминологию, объяснительную базу, метод исследования и рационализирующую метафизику, ученый также воздействует на мир и неизбежно формирует его будущее – в лучшую или в худшую сторону. Несмотря на прежние заявления о ценностной нейтральности, традиционные стремления остаются неизбежно идеологическими. Утверждается, что необходимо найти способы восстановить чувство моральной и политической ответственности за такие начинания.

Существует еще один, последний вопрос, который не так глубок в своем влиянии, но от этого не менее значим.

Он касается напряжения, свойственного доминирующим традициям в истории и психологии, а также способов, которыми его можно снять в различных формах междисциплинарной работы. Особенно любопытно, что психология – это преимущественно (хоть и не исключительно) обобщающая дисциплина. То есть, ее главное стремление – установить знания о функционировании человека, которые «превосходят» время и культуру. И наоборот, в большинстве (хоть и не во всех) примеров исторического анализа авторы склонны вдаваться в детали, рассматривать уникальную конфигурацию обстоятельств, возникающих в разные периоды времени. В рамках нашего обсуждения такие различия в мотивах не лишены политического веса. В дисциплинах, стремящихся к обобщениям, обычно преобладает концепция относительной и фиксированной (генетического происхождения) человеческой природы. В результате многие психологи склонны объяснять разнообразные социальные недуги (например, агрессию, бедность, употребление наркотиков) в терминах индивидуальных врожденных тенденций, при этом предпочитая государственный контроль и политический консерватизм (человеческую природу нельзя изменить – можно лишь контролировать ее несдержанность). А вот ученый, который вдается в детали, склонен считать человеческую природу более изменчивой, с бо́льшим количеством потенциальных возможностей. Социальные проблемы скорее рассматриваются с точки зрения определенной конфигурации обстоятельств (например, экономических, установок и ценностей, качества управления), а в решениях предпочтение отдается сотрудничеству и креативности, а не контролю и наказанию.

В этом контексте во многих своих совместных попытках, описанных выше, психологи и историки будут предпочитать универсальное частному, предполагая, что человеческое действие – это результат или проявление фиксированного психологического «субстрата». Например, в таких исследованиях существование эмоций никогда не ставится под вопрос; только их проявления и результаты определяются исторически. Такие проявления можно контролировать, направлять или подавлять, но психологический фундамент остается неизменным. Таким образом, психоло-

гический процесс остается главной силой в генерировании исторических событий, а историю психологических процессов можно написать лишь с помощью вариаций на фундаментальную, основную тему. Эта конкуренция усугубляется, когда мы рассматриваем второе научное направление.

5.2. Историческое строение психики

В некоторых важных отношениях второе направление психо/исторических исследований представляет более экстремальную версию структурированного подхода, который мы только что рассмотрели. Однако, вместо того, чтобы рассматривать исторический контекст, служащий, чтобы придать содержание или создать условия для выражения в остальном фиксированной области психологического функционирования, здесь мы обнаружим, что историческое – это источник ментального. То есть, ментальные процессы – как онтология разума, так и конкретные его проявления – это побочные продукты предыдущих исторических условий. Эти условия могут быть материальными: для историков-марксистов психологические условия самоотчуждения и ложного осознания – это конкретный результат условий труда. Реконфигурация труда по сути уничтожила бы конкретно эти ментальные состояния. Однако, по большому счету, ученые считают социальные условия главными формативными элементами психологического процесса.

Такой подход особенно лоялен к ряду психологических состояний, которые либо маргинальны, либо спорны для общества в целом. Например, нас вовсе не смущают описания социальной истории романтической любви[280;291]. Возможно, потому, что многие не уверены в собственном опыте, связанном с таким состоянием, и, возможно, потому, что романтическая любовь угрожает «просвещенческому» идеалу рационального разума, в историзации [такого явления, как любовь,] наблюдается определенное облегчение. Однако интеллектуальные и идеологические «ставки» значительно возрастают, когда такой анализ обращается к психологическим концепциям, ключевым для западных институтов. Рассмотрим, например, радикальные подразу-

мевания в заявлении Льва Выготского о том, что «в разуме не существует ничего, чего нет в первую очередь в обществе»[560]. На самом деле, для Выготского процессы мышления и памяти существуют не в природе до культуры – они обязаны самим существованием своим культуральным предшественникам. Хотя анализ чувства инстинктивной любви матери к ребенку, который выполнил Бадинтер[27], наглядно представляет эту точку зрения, зарождение этой любви можно проследить к определенным политическим и интеллектуальным условиям восемнадцатого и девятнадцатого столетий. В своей работе[196] я проследил разрушение эссенциализированного и унифицированного понятия «Я» до современных технологических условий. Также весьма удачны исследования Арре и Финлея-Джонса[252] об *апатии* и *меланхолии* в раннем европейском контексте. Хотя, по сути, она кросс-культурная, крайне интересна работа Луца о социальной составляющей эмоций, например, *фаго* и *сонг** у народа Ифалук из юго-западной части Тихого океана. Дополнения к отредактированному сборнику Арре[250] *Социальная конструкция эмоций* придают важный аспект такой историзации разума.

Для многих результаты такой работы практически разрушительны для традиционной эмпирической психологии. Для начала такие исследования ставят под сомнение эссенциализм, свойственный психологической науке и необходимый для ее заявления об изучении «универсального человека». Под вопрос ставится не только исследование трансисторических и транскультуральных обобщений, но и само предположение о психологии как кумулятивной, накопительной науке находится под угрозой. Сегодняшние эмпирические результаты в этом вопросе – это показатели не универсальных истин, а исторически случайных традиций[200]. Или же, в терминах наших предыдущих вопросов, такая форма анализа отдает преимущество историческому вместо психологического. Здесь психология становится зависимой от исторического анализа.

Однако на этом выводы не заканчиваются. В итоге аналитик сталкивается с исторической «произвольностью»,

* *Фаго и сонг – одни из основных эмоций в племени Ифалук. «Фаго» означает сострадание, любовь и грусть, а «сонг» – оправданный гнев. (прим. пер.)*

случайностью самих концепций знания, которые ложатся в основу исторического исследования. Например, если менталитет конструируется социально, как нам понять концепцию объективности как ментального состояния и предположение о непредвзятых отношениях между личной субъективностью и объектами исследования? Сама идея разума как чего-то отдельного от мира, которое существует в теле и отражает очертания внешнего мира, становится открытой для исторического рассуждения[447]. Если субъективность создается социально, тогда разве все научные описания и объяснения не оттенены условностями общества данного времени (если вообще не происходят от них)? Становится крайне важным саморефлексивный диалог.

К тому же, взгляд на разум как на то, что создается исторически, порождает моральную и политическую чувствительность. В частности, если ментальное создается социально, тогда формы психологического бытия, по сути, опциональны*. А если они опциональны, мы можем рассмотреть «желанность» уже существующих способов бытия и потенциал, присущий их возможным альтернативам. Например, Аверилл[23] утверждает, что гнев – это форма культурально определенного «перформанса» (проявления)**. Например, в западной культуре гнев не «тиражируется» произвольно. В таких обстоятельствах в современной западной культуре мы можем поднимать вопросы о желанности современной конструкции гнева. Например, Таврис[529] поддерживал преобразование нашей культуральной конструкции гнева. Мы должны оставить традиционный взгляд на гнев как на естественный акт, биологически обусловленный и спровоцированный определенными обстоятельствами. Таврис предполагает, что такой взгляд оправдывает акты семейного насилия, физической расплаты, насилия на почве ревности и так далее. Конструировать гнев как культуральный «перформанс» – значит делать людей более восприимчивыми к ответственности за собственные действия и к возможности поступать иначе. Недавно Аверилл и Нанли[24] развили эти аргументы и предположили,

**Опциональный – необязательный, выбираемый по чьему-либо усмотрению, в данном случае – по усмотрению психолога. (прим. пер.)*

*** Перформанс – здесь – внешнее проявление определенного эмоционального состояния. (прим. пер.)*

что люди должны создавать эмоциональные формы, необходимые, чтобы наполнять жизнь.

Наконец, в этом историческом научном направлении мы находим «зачатки» драматической смены роли историка в вопросах психологии. Как предполагает предыдущий анализ, когда ментальное состояние эссенциализируется, оно стремится ограничить весь исторический анализ. Однако, если ментальный мир создается исторически, тогда историческое понимание необходимо для любого дальнейшего анализа разума. Работа историка становится необходимой предпосылкой для понимания в психологической науке. Пуститься в исследования какого-либо психологического «феномена», при этом не разобравшись в текстуальной истории, которая ложится в основу самой идеи этого феномена – по меньшей мере, беспечно. Проводить исследования, не понимая социокультуральных основ, которые ограничивают универсальность проекта, было бы недальновидно.

5.Э. Психологические дискурсы в историческом контексте

Самая последняя перемена в науке основывается на целом ряде взаимосвязанных движений, которые называли по-разному: постструктурными, постэмпирическими, постфундаментальными, постпросвещенческими и постмодернистскими. Как мы узнали в предыдущих главах, эти движения сходятся в подходах к конструированию реальности через язык и в обществе. Более того, распространено убеждение: поскольку эти конструкции создают и поддерживают определенные формы поведения, они одновременно функционируют как силы контроля или власти в обществе. Самое главное: те, кто оказался на периферии таких обществ, могут подвергнуться деспотическим, если не разрушительным, последствиям конструирования (с подробным анализом положения исторического анализа в подобных дебатах можно ознакомиться здесь[402]).

Эти дискуссии были напряженными, если не драматическими, а их влияние – обширно. Особенно важно для этой главы то, что они стимулировали развитие альтернативной

формы науки, которая в этом случае посвящена историческим и культуральным обстоятельствам, создающим определенные «словари» ментальной жизни, и роли этих словарей в управлении социальным поведением. Здесь не утверждается, что ментальные события создаются социально, как в предыдущем случае. Для большинства таких ученых существование ментальной жизни как таковой – неразрешимо. То есть, вопросы о том, существует ли «ментальная жизнь», и (если да, то) как она создается – это обычно не те вопросы, на которые можно ответить за пределами определенного интерпретативного сообщества. А потому главной темой являются дискурсы ментальной жизни, действия людей, ставшие очевидными или возможными благодаря таким дискурсам, и функционирование этих дискурсов (и связанных с ними действий) в обществе с ходом времени.

Эмоции как дискурс: пример

Чтобы оценить логику подобной научной работы, полезно проиллюстрировать ее дискурсом эмоций. Попытки определить эмоции или выделить их характер сопровождали западную науку больше последних двух тысяч лет. Две характеристики этого непрерывного научного диалога заслуживают особого внимания: во-первых, предположение об осязаемости, а во-вторых – бесконечность дебатов. В первом случае до двадцатого века мало кто сомневался в существовании эмоций. Во втором томе *Риторики* Аристотель выделил пятнадцать эмоциональных состояний; в *Сумме теологии* Фома Аквинский перечислил шесть «аффективных» и пять «духовных» эмоций; Декарт выделил шесть главных «страстей души»; моралист восемнадцатого века Дэвид Хартли определил десять «основных страстей человеческой природы»; также значителен вклад современных теоретиков, Томкинса[540] и Изарда[282]: они описывают десять конкретных эмоциональных состояний. На самом деле, западная культуральная история – это история, в которой царит неоспоримое согласие об осязаемом существовании эмоциональных состояний.

В то же время, эти глубокие онтологические убеждения сопровождаются настоящей какофонией противоречащих взглядов на характер эмоций – их отличительные харак-

теристики, происхождение, проявления и значимость для человека. Для Аристотеля эмоции являлись «движениями души»; для Фомы Аквинского эмоции «испытывались» душой, но при этом были продуктами чувственных аппетитов; Декарт изолировал конкретные «страсти души», пробуждаемые движениями «животных духов», которые возбуждают мозг. Для Томаса Гоббса[267] страсти были неотъемлемой частью самой человеческой природы и создавали приводимый к действию «дух» для интеллекта, силы воли и морального характера. В своем *Трактате о человеческой природе*[279] Дэвид Юм разделил страсти на те, которые происходят прямо от человеческого инстинкта (например, желание наказать наших врагов), и те, которые происходят от «двойного отношения» между чувственными восприятиями и идеями. Спустя сто лет и Спенсер в работе *Основания психологии*, и Дарвин в *О выражении эмоций у человека и животных* попытались «выстроить» для эмоций биологический фундамент, который казался более определенным.

Эта бесконечность дебатов лучше всего проиллюстрирована в изучении самих «объектов исследования», которые и определяются как эмоция. Например, Аристотель определял *благодушие*, *уверенность*, *благонамеренность*, *бесстыдство*, *презрение*, *подражание*, *желание* и *энтузиазм* эмоциональными состояниями, которые были прозрачны не меньше, чем *гнев* или *радость*. И все же в своем толковании двадцатого века ни Томкинс[540], ни Изард[282] не признают эти состояния как элементы эмоциональной области. Фома Аквинский считал, что *любовь*, *желание*, *надежда* и *отвага* были ключевыми эмоциями, и хотя Аристотель поддержал Аквинского в случае с *любовью*, все эти состояния прошли незамеченными в недавних теориях Томкинса и Изарда. Гоббс определил *корыстолюбие*, *роскошь*, *любопытство*, *амбиции*, *благонравие*, *предвзятость* и *волю* как эмоциональные состояния, но в современной психологии ни одно из них не считается таковым. Томкинс и Изард согласны, что удивление – это эмоция, хотя такое мнение немало удивило бы многих их предшественников. Однако, хотя Изард верит, что главные эмоции – это грусть и вина, они не квалифицируются в анализе Томкинса; одновременно Томкинс считает *страдание* ключевой эмоцией, а вот Изард – нет.

Этим двум чертам дискуссии об эмоциях – осязаемости и безграничности – свойственна определенная ирония. Если эмоции просто присутствуют, как очевидные качества человеческого существования, почему же так трудно добиться недвусмысленности? В научных кругах царит согласие, например, в вопросах таблицы химических элементов, генетического строения и движения планет; а там, где возникли несогласия, также были изобретены процедуры для того, чтобы приблизить систему обозначений к большему единообразию. Почему же тогда научное сближение так труднодостижимо в случае с эмоциями? По меньшей мере, одна важная причина для постоянных препирательств происходит из предполагаемого заблуждения, в частности, заблуждения Уайтхеда о неоправданной конкретности. Возможно, мы трудимся в традиции, в которой мы ошибочно считаем мнимые объекты нашего ментального словаря осязаемыми, тогда как сами названия несут в себе более очевидные качества. Из-за того, что существуют такие слова, как «любовь», «гнев» и «вина», мы предполагаем, что должны быть определенные состояния, к которым эти слова относятся. И если существует разногласие, мы предполагаем, что, продолжив исследование, мы все расставим по местам. После двух тысяч лет дискуссий неизбежен вывод, что объектов, к которым такие термины относятся, не существует.

Такая возможность – отсутствия обозначаемых объектов – значительно укрепилась в последние годы, в особенности – с развитием философии обыденного языка. *Философские исследования* Витгенштейна стали главным стимулом в этом случае, одновременно поставив под сомнение референтную базу для ментальных предикатов и предложив альтернативный способ описания такого дискурса. Витгенштейн спрашивает:

> Я замечаю, что мне страшно.– Вспоминаю ли я собственные мысли последнего получаса, чтобы почувствовать страх, или я позволяю мысли о стоматологе промелькнуть у меня в голове, чтобы увидеть, как это на меня влияет; или я могу сомневаться – действительно ли это страх стоматологов, а не какое-то другое физическое чувство дискомфорта?[582]

Поскольку невозможно ответить на такой вопрос, используя ментальные референты для эмоциональных проявлений, необходимо найти альтернативный способ понимания ментальных терминов. С таким пониманием можно подробно ознакомиться в аргументах Витгенштейна в пользу значения, полученного из применения. С этой точки зрения, ментальные предикаты приобретают значение через разнообразные языковые «игры», вплетенные в культуральные формы жизни. Ментальный язык считается важным не из-за его способности открывать, обозначать или описывать ментальные состояния, а из-за его функции в социальном взаимодействии.

Историзация психологического дискурса: примеры и подразумевания

Аргументы, подобные тем, что мы рассмотрели выше, наполняют жанр рассматриваемой исторической работы не только эмоцией, но и целым спектром дискурсов о природе психологического функционирования. В центре исследования поочередно оказываются рождение и поддержка психологического дискурса, его способы функционирования в обществе, а также цели и группы, которые он поддерживает (и подавляет). Иллюстративными являются: исследование Сюзанны Кирхнер[297] способа, которым современные концепции психологического развития вторят нарративам нео-платонических теологических текстов; сборник под редакцией Дэвида Лири[326] о месте метафоры в истории психологического теоретизирования; анализ Гигерензера[216] влияния статистической методологии на концепцию психологии о когнитивном функционировании; *Переписывая душу* Хакинга[240] – историческое исследование концепций расщепленной личности и политики памяти; исследование Спакса[505] о возникновении скуки в восемнадцатом веке; и исследование Германа[263] о политических корнях дискурса психической травмы. Множество примеров исторических работ о психологическом дискурсе также содержится в *Исторических измерениях психологического дискурса*[228].

Такие работы начинают формировать важную альтернативу ценностной нейтральности, которая пронизывает

оба предшествующих психо/исторических начинания. То есть, вместо обычных рассуждений о природе прошлого, эти исследования часто используют историческую работу для моральной/нравственной критики. Такой, основанный на ценностях анализ особенно приветствуется в предположении о том, что воспринимаемое нами как ментальное функционирование – это не данность как таковая, и оно не зафиксировано в людях как культуральная предрасположенность; скорее, концепции разума тесно вплетены в материю дискурсивного понимания. Таким образом, если ученый может изменять такие формы понимания – как в случае с историзацией психологического дискурса – тогда мы выходим на открытое пространство, в котором возможен выбор. Осознание того, что, например, понятия психолога об эмоции – это не неоспоримые «карты» человеческой природы, а результаты культуральной традиции, позволяет нам размышлять над относительной ценностью таких понятий в сравнении с другими возможностями. Дискурс – не фиксированное явление, он считается опциональным. Особенно наглядными примерами критической точки зрения являются идущие по стопам Фуко исследования Роуза[449;450] о роли дискурса и методов профессиональной психологии в политическом «дисциплинировании» общества; критика Лутца[346] андроцентрических предубеждений, взращенных дискурсом эмоций в современной западной культуре; а также анализ Сэмпсона[460] индивидуалистской идеологии, подкрепленной когнитивистскими концепциями ментальной жизни.

Результаты этого растущего корпуса работ для более традиционных исторических и психологических трудов поначалу кажутся едва ли не разрушительными. С дискурсивной точки зрения, трудно найти предмет изучения, который не зависит от дискурсивных/теоретических проектов исследователей. Сама идея о «независимом предмете изучения» – о разуме либо о самой истории – рушится под весом непоследовательности. А вместе с ней, конечно, рушатся и эссенциалистские концепции ментальных событий или процессов. Если эти исследования что-то и демонстрируют, так это скудную (если не тавтологичную) связь между нашим языком разума и его мнимыми референтными объ-

ектами. Более того, надежда на объективную науку/историю начинает угасать. Да, чувства объективности можно достичь в определенном обществе собеседников. Однако за пределами этого общества ученый теряет право претендовать на истину, на некую привилегированную связь между словами и миром. Подобным образом, знания могут накапливаться, но лишь благодаря стандартам, которые универсальны в конкретном интерпретативном сообществе.

И все же, в итоге разрушительные результаты таких аргументов нельзя поддерживать. Как мы предложили во 2-й главе, если дискурсивный критик претендует на истинность своих предположений, тогда исчезает сам фундамент, на котором они основываются. Если точнее – это значит, что дискурсивные исследования успешно избегают ловушек, в которых они бы противоречили собственным убеждениям. Тогда как у традиционных исследований нет способа ставить под сомнение собственные основы (например, предположения об объективности или ценностной нейтральности), дискурсивному ученому открывается путь к позиции саморефлексии. Дискурсивную критику традиций саму по себе нужно считать дискурсивным ходом, способом поддерживать интеллектуальную жизнь в научном обществе и связывать его с более широким обществом. По сути, аргументы служат приглашением к таким формам разговора и отношений, которые могут предложить новые альтернативы для исследований и новые роли – для ученых.

5.4. История и психология: навстречу полифоническому процветанию

Мы рассмотрели три важных момента в союзе исторического и психологического научных обществ: первый основывается на традиционных эссенциалистских предположениях и об истории, и о психологии; второй подчеркивает историческое строение психологической области, а третий преобразовывает и историю, и психологию в дискурс. Как же нам теперь относиться к этим попыткам, если учитывать будущий вклад в науку? Должны ли традиционные попытки, которые все еще остаются очень уверенными, попросту продолжаться безо всяких помех? Уничтожают ли

возникающие альтернативы возможность вернуться к традиционной работе? Существует ли некая форма объединения, которую нам следует искать? Это – сложные вопросы, и их обсуждение должно продолжаться. Однако мы можем сделать несколько выводов из предшествующей дискуссии, которые могут послужить полезным вкладом в диалог.

Во-первых, я нахожу, что подчиняюсь различным аргументам, которые дают начало дискурсивному повороту в социальном анализе. Несомненно, главные достижения исторической и психологической наук – это предметы дискурса: книги, статьи, лекции и тому подобное. Степень, в которой эти предметы дискурса референтно связаны с событиями вне языка, всегда должна оставаться под вопросом; отношения слово-объект находятся в бесконечном движении («бесконечный семиозис»), а сами слова легко объективизировать, даже когда нет очевидных референтов. Более того – когда мы пытаемся описать мир, с которым может быть связан дискурс, мы снова оказываемся «на территории» дискурса.

Однако с этими словами мы не находим в дискурсивной ориентации никаких фундаментальных аргументов против предыдущих направлений исследований. В отличие от эмпирически обоснованных традиций, не существует предположения, что исследование может продолжаться в непредвзятой манере, чтобы разобраться, в чем же (была) суть дела.

Таким образом, не существует способов дискредитировать особую форму исследований, потому что она не принимает участия в эмпирической/эссенциалистской парадигме. Вместо того, чтобы вычеркивать некоторые формы исследования, дискурсивно «чувствительный» ученый в идеале должен приветствовать целый ряд возможных попыток, каждая из которых говорила бы от имени конкретного общества, его традиций и ценностей. Цель должна заключаться не в том, чтобы уничтожить традиции языка, а в том, чтобы их обогатить. В то же время, логика дискурсивных исследователей делает нас чувствительными к потенциальному влиянию наших исследований на интеллектуальную, политическую и общественную жизнь в целом. Таким образом, не дискредитируя ни одну из доступных

форм исследования, мы получаем мощный импульс изучать результаты всех наших исследований для общества, будь они ориентированы на психологический процесс, исторический анализ или дискурсивный процесс. Опубликовать работу, предварительно не обратив внимания на ее моральные и политические последствия в данном культуральном/историческом контексте, было бы, с дискурсивной позиции, надменно и даже негуманно.

5.5. В заключение

В результате предпочтительным кажется диалогический союз равноправных сторон. Если ни у одной из них нет поводов игнорировать друг друга, может появиться возможность оценить взаимозависимость этих различных форм исследования – вместе с их взаимодополняемостью и потенциальным сходством. Например, учитывая взаимозависимость, при всей его критике объективно точного анализа, дискурсивное исследование должно действительно полагаться на риторику объективности, чтобы сделать собственный анализ понятным. Что же касается дополняемости, анализ, который отдает предпочтение и социальному строению, и дискурсивной конструкции разума, склонен предпочитать социальные перемены, а не стабильность (либеральные и трансформативные планы действий против консервативных). Однако крайне маловероятно, чтобы аналитик предпочел полную реконструкцию всех общественных вкладов; абсолютное изменение стало бы эквивалентом абсолютного хаоса. Трансформация возможна лишь на фоне глубокой стабильности. И, наконец, существуют возможности слияния. Например, есть значительное пересечение между социально-конституционалистскими и дискурсивно-конструкционистскими попытками. Если бы первые переместили акцент с психологических состояний на культурально определенные «перформансы», а вторые объединили дискурс с воплощенными действиями, укрепились бы мощные формы исторического анализа.

ЧАСТЬ II

СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

6

ТЕРАПИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Вступая в новое столетие, мы наблюдаем постепенное, но усиливающееся сближение концепций терапевтического процесса. В сердце такого сближения лежит человеческая деятельность по генерированию значений. Во-первых, мы считаем терапевтическими отношениями те, в которых значение, присваиваемое человеком, не только является центром внимания – оно является ключевым в процессе терапевтических изменений. Важными предпосылками для современного развития [в области психологии] стало множество источников, включая гуманистическую/феноменологическую/герменевтическую психологию, когнитивный конструктивизм[290;394] и недавнюю теорию объектных отношений[18]. Работа группы из Пало-Альто[567] была сосредоточена на взаимозависимых значениях, [присваиваемых явлениям и вещам в семьях], а миланские системные терапевты развили это направление еще дальше благодаря ряду новых, сложных, но перспективных практик.

По мере того, как эти ранние диалоги о значении разворачивались и взаимодействовали, терапевтическое сообщество стало все более открытым для вихря критического и конструкционистского взаимодействия с более широким интеллектуальным сообществом*. Результатом стал постоянный, хоть и неравномерный, переход к общей концепции значения – от его традиционного размещения в индивидуальных разумах к его созданию в отношениях, то есть, от ментального конструирования к социальному. Для некоторых этот переход был незаметным, а пе-

* *За последние годы о конвергентном, сужающемся движении было написано много различных работ*[367;182.218.276.278.451]. *(прим. автора)*

ремены – незначительными; однако в более радикальной форме эта трансформация, ни много ни мало, подрывает существующий фундамент терапевтической мысли и практики. Несомненно, это движение вызвало довольно много противоречий[261;316;353;468]. Однако что более продуктивно – в результате появился ряд важных вопросов: какие существуют (и существуют ли) важные нити, связывающие эти разные движения; существуют ли важные различия; как конструкционистский переход нарушает и/или обогащает существующие терапевтические традиции; стоит ли нам надеяться или ожидать единого способа лечения; как эти ориентации примирить с традиционными вкладами в диагноз и политику здравоохранения в ситуациях с ментальным здоровьем; что при такой трансформации теряется, а что приобретается?

Именно на этом контексте волнения и самоанализа и основывается цель нашей книги. Дальше мы попытаемся выделить ряд ключевых предположений, которые используются в возникающих диалогах о реляционном значении, отточить их благодаря сравнению с существующими традициями, и решить некоторые ключевые проблемы, которые они поднимают. Это прояснит и объяснит группу взаимосвязанных предположений, под которыми участники диалогов в разной степени подписываются. Попытка заключается не в том, чтобы сформировать новую основу для терапии или каноническую формулировку «постмодернистской терапии»; оба этих стремления противоречили бы социально-конструкционистским диалогам. Скорее, надежда – в том, что такая дискуссия поспособствует генеративному разговору*, развитию чувствительности и возникновению новых практик. Последняя цель будет ключевой в конце этой главы.

6.1. Социальная конструкция и терапевтическая позиция

Для этого анализа удобно сначала рассмотреть ряд из четырех переходов, которые характеризуют возникающую концепцию терапии как процесса реляционной конструк-

* *Генеративный разговор – разговор, который подталкивает собеседников к новым перспективным идеям, выводам, действиям. (прим. пер.)*

ции. Тогда как у таких переходов есть целый ряд практических последствий, они не столько сосредоточены на конкретных техниках, сколько распаляют, повышают чувствительность терапевта, способствуют рассуждениям о вариантах и провоцируют размышления о текущем процессе.

От фундамента к гибкости

Традиционные направления в терапии основываются на том, что обычно считается *рациональным фундаментом знания.* Этот фундамент обычно заключается в том, что в узком смысле определяется как эмпирическая концепция знания*, а в более общем – как Дух времени (*Zeitgeist*) культурального модернизма (для более подробной информации об эмпиризме в западном модернизме смотрите работы Холлингера[270], Роезно[452] и Гергена[196]). Как мы отметили в предыдущей главе, главным испытанием для проверки претензий на знание является систематическое наблюдение. Постоянное и активное исследование поможет нам приблизиться к истинному и объективному пониманию и нормальных, и ненормальных действий. Более того, постоянное исследование должно открыть, какая именно из множества терапевтических практик – самая эффективная для лечения различных форм аномалий. Может быть, существует много претендентов на истину о людях, дисфункциях и их лечении, но эмпирическое исследование по традиции должно навсегда позволить нам свести множество ответов к нескольким, а в итоге, возможно, даже и единственному.

Для социального конструкциониста теории о человеческих действиях не строятся на наблюдении и не основываются на них – скорее, они «вырастают» из сообщества активных собеседников. Именно условные традиции понимания, общие для одного профессионального анклава, могут определить, как мы интерпретируем наблюдаемый мир.

---

* *И сторонники психоанализа, и сторонники конструктивизма могут возразить такому утверждению. Однако, тогда как психоаналитическая теория заявляет о психодинамических процессах, которые нарушают эмпиристские предположения, аналитики – включая самого Фрейда – нацелены на то, чтобы обрести объективное знание об этих процессах. Подобным образом, хотя представление Келли[290] об индивидуальном человеке, на первый взгляд, противоречит эмпиристским предположениям, сама теория, по сути, направлена на то, чтобы отстаивать образ «ученого» (прим. автора).*

Таким образом, терапевт, использующий подход психодинамики, обнаружит доказательства подавленных желаний, когнитивный терапевт определит проблемы в способе, которым человек обрабатывает информацию, а семейного терапевта будут привлекать реалии паттернов коммуникации в семье. Так как разные теории предназначены для того, чтобы конструировать мир по собственным правилам, не существует способов провести сравнительную эмпирическую проверку между ними. Каждая «проверка» неизбежно бы конструировала поле взаимосвязанных фактов в собственных терминах. Результат исследования сталкивается с той же проблемой; положительный результат с одной точки зрения (например, ослабление симптома, проявления гнева) будет обозначать обострение и регрессию – с другой.

Основываясь на этом направлении рассуждения, конструкционизм призывает оставить поиски фундамента – единственного взгляда на то, как человек справляется со своими слабостями. Как мы увидели в предыдущих главах, это также нужно затем, чтобы усомниться, что сам конструкционизм выступает в качестве основной, окончательной философии[144]. Вместо этого, нас подталкивают забыть о давнем противостоянии между терапевтическими школами, а также о связанных с этим концепциях фиксированной диагностики, «лучших практик» терапии и сравнения результатов. С более позитивной точки зрения, если мы рассмотрим различные терапевтические школы как сообщества значения, тогда каждая школа будет иметь преобразовательный потенциал для некоторых частей населения. Каждая из них предлагает особый подход к форме жизни. Линн Хоффман[268] высказывает практически ту же идею, предполагая, что теории – «это наборы «призм», которые усиливают осознание того, что некую вещь, неизменно и вечно выглядевшую в Ваших глазах определенным образом, можно увидеть совсем другой... За счет того, что Вы откажетесь от моральных и научных абсолютов, Вы как социальный конструкционист получите расширенное чувство выбора»[268]. Подобным образом, Чеккин, Лейн и Рей пишут: «Слишком сильно веря в какую-то позицию, в какую-то историю, мы рискуем создать негибкую, обедневшую терапевтическую реальность, (и потому) мы задаем вопрос:

как мы можем научиться отказываться от любой истории, когда или если она перестает быть полезной»[91].

С точки зрения терапевтической практики, у терапевта появляется возможность черпать из целой области терапевтических способов понимания и обращаться ко всему, что может показаться полезным в текущем контексте. В этом смысле, не существует «социально-конструкционистского метода» терапии. Формализовать любой метод – канонизировать его принципы – значит заморозить его культуральное значение. Это значит предполагать, что эффективные процессы формирования значений в настоящем останутся неизменными, независимо от времени, обстоятельств и контекста интерпретации (обратитесь к Голднеру[223] и его великолепному использованию множественных теоретических/практических точек зрения, включая конструкционистскую). Это также значит, что общепринятая критика терапевтического сообщества – того, что множество переменчивых областей теории и практики открывают нашему взору смятение и недостаток реальных знаний – необоснованна. Именно это многообразие способов понимания и способность терапевтического общества постоянно преобразовывать понимание представляет его сильные стороны.

И все же результаты такой позиции радикальнее, чем поддержка эклектизма. В рамках фундаменталистской традиции профессиональное описание человеческих проблем предпочитали больше, чем их описание от имени обычной, общей культуры. Тогда как говорилось, что обыденное понимание культуры сгибается под грузом предрассудков, недоразумений и предубеждений, профессиональный дискурс отличался более всесторонним и точным пониманием. Для конструкциониста исчезает критерий «более точного или объективного понимания»; все формы понимания – это культурально обусловленные конструкции. Для эффективной терапии может понадобиться – и обычно так и случается – использовать множество речевых жанров, включая жанры, принадлежащие культуре [пациента] в целом. Это значит, что в целях терапевтической практики открыт путь для целого ряда культуральных жанров. Несомненно, сюда могут входить все существующие формы терапевтического дискурса – от психоаналитической, когнитивной, поведен-

ческой модификации, формы «первичного крика» и так далее. В то же время, мы должны быть готовы радикально расширить арену доступных для использования значений. Например, здесь существенно поддерживают тех, кто желает включить духовный дискурс в терапевтический процесс[85;231;443]. Для большинства людей такой дискурс является влиятельным и мощным; пренебрегать его значением – терапевтическая близорукость. Однако полноценный терапевт не должен избегать и дискурсов романтики, Нового века, марксизма, дзен-буддизма и так далее. Умелый терапевт в конструкционистском подходе будет одинаково чувствовать себя «в своей тарелке», как разговаривая на уличном жаргоне, жаргоне из спортивных раздевалок или из ночного клуба, так и осваивая нюансы лакановской аналитики. Каждый новый способ понимания обогащает спектр и гибкость интерактивного момента.

Однако мы не должны считать, что профессиональные теории не имеют никакого значения, или что нужно забросить интерес к терапевтическим результатам. Профессионально разработанные теории могут быть особенно важными благодаря их способности предлагать альтернативы, которые непросто обнаружить в общепринятой культуре. Терапевтические теории представляют одни из самых важных инноваций столетия, поскольку они делают человеческие действия понятными. В этом смысле, культурально девиантная теория профессионального может обладать уникальной генеративной силой. Отклоняясь от общепринятых убеждений, она может бросить весомый вызов статусу-кво, «сотрясти решетки в клетке условностей» и предложить по-настоящему новые возможности дальнейших действий. Более того, профессиональные языки позволяют терапевтам пускаться в совместные рассуждения – осмысленно беседовать друг с другом, тем самым эффективнее координируя свои попытки. Такой дискурс позволяет терапевтическому сообществу критически порассуждать над общепринятыми способами понимания в культуре – а такое рассуждение нельзя провести в рамках самих этих способов понимания (например, нельзя критически размышлять о духовном дискурсе, при этом будучи убежденным спиритуалистом).

Подобным образом, отказ от фундамента не означает конец исследования результатов[6]. Каждый результат – начиная с сокращения употребления алкоголя, домашнего насилия или депрессии и заканчивая пробуждением чувства личностного роста или осознанием архетипов – отражает традицию, способ жизни или «анклав» ценности. Следовательно, задача заключается не в том, чтобы забросить традиционные старания. Скорее, более плодотворным путем было бы (1) расширить ряд соображений о ценностях (например, расширить соображение о том, что можно считать положительным результатом), и (2) начать диалоги, в которых могут «одержать победу» конкурирующие и конфликтующие ценности или результаты (вы найдете показательный пример диалогической ориентации на диагноз и его результаты здесь[474]). Учитывая множество критериев «благополучия», мы не только расширяем область того, что значит быть адекватным, но и создаем более разнообразную картину того, что считается «благом», когда и для кого.

От эссенциализма к осознанию конструкции

Как уже говорилось, в основе модернистской терапевтической традиции лежит истина. Следовательно, терапия обычно ориентирована на поиск «реальной проблемы», «причин трудности», «действующих сил», «определяющих структур» и так далее, и оценивает эффект, который контрастирующие терапевтические практики оказывают на результат. Для конструкциониста не существует проблем, причин, сил, структур и так далее, которые бы не получали свой статус как таковой из социально сформированных интерпретаций. Это не значит, что «ничего не существует», или что «мы не можем познать реальность» – частые ошибочные представления о конструкционизме – это скорее значит, что когда мы пытаемся сформулировать то, что существует, поместить его в язык, мы вступаем в мир социально генерируемых значений. Потому может быть разумнее сказать, что конструкционизм выступает против тенденции *эссенциализировать* язык – то есть, относиться к словам как к картинкам, картам или копиям сущностей,

которые существуют независимо от нас и интерпретируют свое существование таким образом. В этом смысле, конструкционизм служит постоянным напоминанием об изречении Грегори Бейтсона: «карта – это не сама территория».

Конечно, склонность терапевтов подчеркивать то, как рассказы их клиентов о себе и о мире не совпадают с «территорией», была их «профессиональным оплотом» с того времени, как Фрейд обнаружил такой феномен, как подавление. Однако до недавнего времени большинство терапевтических школ допускали как существование «территории», так и функцию слов как обозначающих, «картографических» агентов. Лишь при таких предположениях можно понять такие термины, как «заблуждение», «искажение», «неверное восприятие» и «ошибка атрибуции». Конструкционизм же, наоборот, предлагает нам посмотреть на эти термины скорее горизонтально, чем вертикально – то есть, увидеть в них индикаторы альтернативного способа конструкции мира в отличие от необходимого или доминирующего способа. Обвинить кого-либо в заблуждении – в первую очередь, значит заявить, что они не разделяют Ваших интерпретативных норм. Первые шаги к «горизонтальной» точке зрения можно заметить в миланской школе и в ее практике циклического опроса. Циклические вопросы не предназначены для того, чтобы раскрыть, «в чем дело» – они, скорее, пытаются сгенерировать информацию, которая может привести к изменениям в общем понимании членов семьи[475]. Циклический вопрос, например, «папа, как ты думаешь, с кем из твоих двоих детей у твоей жены самые тесные отношения – с Вики или с Джо?», не функционирует с тем, чтобы пролить свет на истину о семейной структуре. Он, скорее, поднимает на поверхность возможные идеи, которые могут бросить вызов проблематичной логике, царящей в семье. Похожий шаг к осознанию конструкционизма заметен в краткосрочной терапии, в особенности в работе де Шазера[136]. Как утверждают Берг и де Шазер, «значения, к которым [собеседники] пришли во время терапевтического разговора, развиваются в процессе, который больше похож на переговоры, чем на развитие понимания или на раскрытие того, что же «на самом деле» происходит»[46].

Такой акцент на сконструированных реальностях должен сопровождаться важным разъяснением. Конструкционизм признает важность *истины в контексте*. В любом сообществе собеседников будут существовать тенденции к тому, чтобы эссенциализировать общепринятые способы дискурса, и эта эссенциализация невероятно важна в поддержании традиций сообщества. Мы можем назвать этого младенца Дианой, а вон того – Дэвидом, и хотя имена произвольны, эссенциализированные движения (например, «Диана – моя дочь», «Дэвид в школе») необходимы для того, чтобы сохранить локальные порядки, заведенные в семье, школе, дружбе и так далее. Подобным образом, хотя язык биологии не важен для того, «что существует», необходимо согласие в том, как используется язык генов и хромосом в профессии, чтобы определить то, что мы называем «экстракорпоральным оплодотворением» и «ДНК-тестом».

Это также говорит о том, что осознание конструкции не обязательно предлагает терапевтам встать в позицию деконструкции реальностей клиента. Эффективная терапия не требует онтологического кризиса, и на самом деле она, вероятнее всего, оставит большинство взглядов клиента нетронутыми. Харлин Андерсон говорит так: «Моя роль как терапевта – в том, чтобы вместе с клиентом участвовать в лингвистическом описании от первого лица значимых событий и опыта в его жизни»[10]. Подобным образом пишет и Том Андерсен: «Если люди постоянно сталкиваются с обыкновенным, они склонны оставаться неизменными. Если же они сталкиваются с чем-то не-обычным, это не-обычное может привести к перемене. А если же это новое – (слишком) необычное, они закрываются»[7]. Осознание конструкции – это самая ценная позиция, которая приводит к «приостановке» реальности в любой момент, когда сама собой разумеющаяся или эссенциализированная реальность оказывается болезненной или проблематичной. Если «проблема» клиента кажется непреодолимой, тогда деконструкция значения может быть важной предпосылкой к реконструкции.

От позиции эксперта к позиции сотрудничества

Как мы уже говорили, не существует единого ряда практик, который бы основывался на конструкционистской мета-

теории. Например, в конструкционизме нет ничего, что бы непременно противоречило «авторитетной позиции» в терапевтических отношениях»; иногда жесткие убеждения могут пойти на пользу. Однако, если мы последуем основным идеям конструкционистской метатеории, в [терапевтической] практике откроются новые двери. В частности, конструкционистская метатеория предлагает терапевту рассмотреть альтернативы традиционной позиции авторитета, а именно – принять ориентацию на сотрудничество в общении с клиентом. Переход к новому стилю – нелегкая задача. Хоффман пишет: «переход от иерархического стиля к сотрудничеству ... это радикальный шаг. Он ставит под сомнение вертикальную структуру этой квази-медицинской области под названием ментальное здоровье и бросает вызов столетним традициям западной практики ... А бросить вызов этим элементам – значит бросить вызов всей цитадели»[269]. Согласно описанию Андерсена, его терапевтическая работа стала ближе к «гетерархии». «Иерархия управляет сверху вниз, а гетерархия – через другого ... Самыми распространенными названиями для гетерархических отношений могут быть «демократические отношения», «равноправные отношения» или отношения с одинаково важными сторонами»[8].

Более провокационным способом Андерсон и Гулишиан[11;227] в своем подходе «языковых систем, направленных на сотрудничество», предлагают сотрудничество с клиентом, в котором терапевт начинает с позиции «незнания». Незнание обозначает

> установку и убеждение, что терапевт не имеет доступа к привилегированной информации, никогда не может целиком понять другого человека, всегда должен находиться в состоянии, в котором его информирует другой, и всегда должен узнавать больше о том, что было или не было сказано ... Интерпретация – это всегда диалог между терапевтом и клиентом, а не результат предопределенных теоретических нарративов, неотъемлемых от значения, позиции эксперта, опыта или терапевтической модели терапевта.[10]

Это не значит, что терапевт не привносит в отношения уникально ценных навыков. Однако это значит, что такие

навыки не появляются из искусства понимания. Преимущественно, это – навыки *знания, как* вместо навыков *знания, что* – о том, как плавно продвигаться в отношениях, как сотрудничать во взаимном генерировании новых вариантов будущего.

Многие терапевты-конструкционисты враждебно относятся к традиционным, стратегическим способам лечения. В целом, стратегические интервенции считаются монологическими (в отличие от диалогических), диктуемыми с частной точки зрения терапевта. Для коллаборативного специалиста такое стратегическое действие не только кажется манипулятивным, но и создает чувство неаутентичного участия в терапевтических отношениях (например, реальность терапевта скрыта «за кулисами»). С нашей точки зрения, такие реакции не совсем обоснованы. Опять же, конструкционизм ни от чего не отказывается категорично, и, безусловно, никто не хочет отказываться от процесса, который мы принимаем за «рациональное рассуждение». Таким образом, вместо того, чтобы отказываться от стратегической ориентации, мы можем обратиться к диалогам о различиях – то есть, к дискуссиям о том, как и почему стратегическая интервенция может оказаться полезной, и в каких условиях она бывает проблематичной. Следовательно, мы можем перейти к ориентации на *ситуативную стратегию.*

От нейтральности ценностей к их релевантности

С модернистской/эмпиристской точки зрения, терапия – это не место для отстаивания политических, идеологических или этических убеждений. Хороший терапевт, как и хороший медицинский врач, должен внимательно наблюдать и вдумчиво размышлять, не поддаваясь своим собственным ценностным предубеждениям. Критики ценностной нейтральности появились уже давно. Благодаря работам Саса[526], Лэйнга[311] и участников движения критической психиатрии мы остро осознаем способы, которыми благонамеренные терапевты могут способствовать факторам ущемления. Подобно тому, как Фуко[170] критиковал «дисциплинирующие пациента» эффекты терапевтических

практик, более современные аналитики сосредоточились на способах, которыми разнообразные терапии и диагностические категории усугубляют сексизм, расизм, гетеросексизм, индивидуализм, классовое ущемление и другие разделяющие предубеждения[126;413;306;389;198]. С конструкционистской точки зрения, даже позиция невовлеченности или «нейтральности» считается этической и политической в своих последствиях[351;527]. Заботливая или нет, благо- или злонамеренная, терапевтическая работа – это непременно форма социального/политического активизма. Любое действие в обществе одновременно создает свое будущее на благо или на зло согласно неким стандартам.

Многие терапевты, осознающие связь между терапевтическими конструированием и общественными ценностями, сегодня исследуют последствия этически и политически ориентированной терапии. Вместо того, чтобы выступать непредвзятой и не-фанатичной, реализация ценностей составляет терапевтическое *raison d'être* – саму суть терапии. Поэтому мы получаем развитие терапий, которые особенно усердно борются, например, с доминантным на данный момент порядком[577], и преследуют цели феминисток, геев, а также социалистические и другие политические цели. Например, феминистские терапевты часто фокусируются на ущемлении женщин как на фундаментальной терапевтической теме, или же деконструируют гендерные категории, чтобы предложить клиентам больше вариантов выбора[551]. С растущим влиянием политики идентичности существуют все основания ожидать роста в таких вкладах в область.

Хотя конструкционистские диалоги приветствуют такие движения в терапии, также есть много причин для критического размышления. Ведь здесь мы сталкиваемся с возможностью мучительной фрагментации – развития множества терапевтических анклавов, каждый из которых претендует на моральную возвышенность, изолирован и полон праведного негодования. Мы приближаемся к состоянию войны в терапевтическом мире, в котором каждый – за себя. С нашей точки зрения, такое состояние будет радикально отличаться от конструкционистского акцента на множественных реальностях. Гоббсовское условие обобщенной враждебности способствовало бы не расширению

взглядов, а, в итоге, уничтожению всяких взглядов, кроме одного. Следовательно, самым важным является конструкционистское положение о том, что нет никаких оснований – никаких окончательных оправданий – для любых этических или политических заявлений. Таким образом, конструкционизм также ставит политически активного терапевта в положение саморефлексии и любопытства к тем, кто отличается от него. Это не значит избегать ценностных позиций; как было сказано выше, мы едва ли можем выйти за пределы культуры, и мы не должны оставлять попыток создать хорошее общество. Однако конструкционизм действительно устраняет безусловную власть таких вкладов – именно тех ограничений, которые, на наш взгляд, чаще всего используются, чтобы лишить права голоса или уничтожить тех, чьи заявления отличаются от их собственных[416]. И это действительно подталкивает терапевтов к взаимно трансформативному (преобразующему) диалогу с клиентами, которые не разделяют взглядов самих терапевтов на такие вопросы, как аборт, развод, физическое насилие и так далее.

Наконец, делая ударение на безусловной взаимозависимости всех значений, конструкционистские аргументы подразумевают иную, новую роль для терапевтов. Подкрепляя один из выборов – либо избегать политических вопросов, либо усердно стремиться к социальным переменам – терапевты могут плодотворно исследовать возможности координировать разобщенные группы, делать отчужденные языки более доступными, давать людям возможность говорить множеством голосов и, в итоге, сокращать потенциал взаимного уничтожения. Как мы подробнее узнаем в 10 главе, преданность ценностям заменяется практиками совместного создания (для дальнейшего обсуждения способов и путей достижения подобных интегративных целей смотрите[38;368;420]).

6.2. Социальная конструкция и терапевтическая практика

Мы предполагаем, что конструкционистские диалоги отдают предпочтение четырем основным движениям в те-

рапевтической области – движениям к гибкости, осознанию конструирования, сотрудничеству и ценностно адекватной практике. Однако такие диалоги также приводят к новому ряду практик. Здесь мы прослеживаем возникающие формы практики наряду с конструкционистским ре-теоретизированием традиционных практик. Мы рассмотрим пять основных направлений изменений.

От разума к дискурсу

Традиционная терапия сосредоточена на индивидуальных ментальных состояниях. Начиная с психоаналитического акцента на психодинамике и «роджерианского» интереса к заботе о себе и заканчивая современной когнитивной и конструктивистской терапией, ключевой задачей терапевта является исследовать, понять и, наконец, привести к трансформациям в индивидуальных разумах. Даже групповая психотерапия сохранила сильную привязанность к психодинамическим принципам. Именно в том, что начиналось как ориентированная на системы семейная терапия, мы встречаем самое согласованное движение вовне – от разума к языку. Несомненно, остались некоторые следы психологического эссенциализма – например, вплетенные во второстепенные кибернетические ориентации – но важным оказалось движение к пониманию процесса коммуникации. И все же в рамках возникающих диалогов о социальном конструировании стало очевидно, что даже такого движения не достаточно. Ведь в основном оно возникло из модернистской/эмпирической ориентации, в которой структура или динамика коммуникации обычно эссенциализируются, объективируются и рассматриваются с позиции «зная, что» (наглядный пример – движение к диагностированию отношений[289]). Более того, так как между людьми значение в основном возникает через разговор, основное внимание перемещается на дискурсивные процессы. Или же, как сказал Слуцки[498], терапию можно понимать как процесс «трансформации дискурса». Если значение главным образом генерируется в лингвистических процессах, значит, внимание будет сосредоточено именно на этих процессах[300].

Этот переход к дискурсу – это, вероятно, самый очевидный аспект терапии в конструкционистской структуре, и он стал причиной целого ряда терапевтических инноваций. Объем этих инноваций соответствует повальному интересу социальных наук к нарративу или, по сути, к легендарному конструированию себя и мира[77;433;465]. Для многих терапевтов книга Дональда Спенса *Нарративная истина и историческая истина* стала критическим поворотным моментом. В ней опытный ученый/терапевт заявлял, что историческая истина редко отражалась в описаниях пациентом собственной ранней жизни. Наоборот, Спенс начал исследовать позитивное использование нарративных истин, которые развивались в терапии. Возможно, самое выдающееся проявление этого перехода к дискурсу заключается в том, что МакЛеод[365] называет «постмодернистским нарративным движением». Как рассуждали терапевты вроде Уайта и Эпстона[577], которых со временем множеством способов дополняли другие специалисты[177;179;317;365;393;417;593], главный интерес заключается в том, какими способами язык конструирует «Я» и мир, и каковы последствия таких конструкций для благополучия клиента. Радикальнее, чем Спенс – который предполагал, что исторической истины в принципе можно достичь – радикальное предположение такой работы состоит в том, что события жизни не определяют нарративов человека; скорее, лингвистические традиции во многом определяют то, что считается событием жизни и то, как его оценивать. По сути, тот же интерес к конструкционистской силе языка способствовал терапевтическому использованию метафоры[108;470;503], сочетанию нарратива и метафоры[225] и развитию письменных практик для клиентов в качестве терапевтических инструментов[26;315;423].

И все же, хотя этот переломный момент многое дал, невозможно избежать также и опасностей, и ограничений. Во-первых, даже с неизменным конструкционистским сознанием существует повсеместная тенденция объективизировать дискурс, то есть, обращаться с нарративным дискурсом как с чем-то, что попросту «существует по природе». Когда конструкционист говорит о нарративах, он создает разговорный объект – лишь «один способ

расставить все по местам» – при этом не идеальный при любых обстоятельствах. На деле могут быть случаи, в которых гораздо продуктивнее считать историю жизни, например, проявлением психодинамических процессов или отражением настоящего факта. Фактически, важно придерживаться рефлексивной позиции, в которой даже сам конструкционизм считается лишь одной из многих точек зрения. В этом смысле, конструкционистские практики не отрицают существования ментальных событий (например, опыта, эмоций). Однако терапевтический центр внимания перемещается с ментальных исследований и «погружений» в глубины эмоциональной жизни на последствия разговора с использованием этих терминов.

Более того, существует сильная тенденция обращаться с дискурсом как с личной собственностью, при которой значение происходит из индивидуального сознания. На самом деле, в основе западной традиции лежит убеждение, что слова – это проявление значений, созданных индивидуальным разумом. Однако такое ударение на личном значении затмевает конструкционистское ударение на языке как на реляционном и прагматичном, созданном не внутри каждого отдельного человека, но между ними, в их отношениях (прекрасный пример реляционного генерирования значения в терапии можно найти здесь[407]). Или же, с позиции конструкциониста, изолированное от отношений значение невозможно. Такое ударение на личном часто сопровождается третьей проблемой – когда перемену в дискурсе пациента считают равнозначной излечению. Часто считается, что если человек научится рассказывать о жизни иначе или перейдет от культурально доминантной к индивидуализированной истории о себе – это значит, что он добился улучшения. Такие предположения не только заимствуют идеи из индивидуалистского наследия (например, «Перемены в разуме приводят к переменам в действиях»), но и отдают предпочтение взгляду на значение как на первоначальную силу в жизни человека. Если нарративы и метафоры – это формы дискурса, как предполагают конструкционисты в своих работах, значит, они не столько определяют действия человека, сколько являются источниками, которыми люди пользуются, чтобы вместе фор-

мировать значения[209;398]. Если истории – это социальные «перформансы», мы должны задавать вопросы касательно ценности нарратива о жизни отдельного человека (что ослабляет способность человека к отношениям) и о способности терапевтически сгенерированных нарративов выживать в современном мире в более общем смысле. Вскоре мы вернемся к этому вопросу.

Наконец, многие из возникающих терапий ограничиваются своим узким определением дискурса – обычно сводя его к устному или письменному языку. Учитывая наши традиции, это – удобная точка отсчета, которую также подкрепляет множество работ по семиотике, теории литературы, риторике и лингвистике. В то же время, такой пристальный интерес – слишком редукционистский. Во-первых, он сводит дискурс к высказываниям (или письму) одного человека. И все же, если значение – это побочный продукт отношений, такой фокус слеп к реляционному процессу, от которого определенное высказывание и получает свое значение. Фактически слова сами по себе ничего не значат, и лишь присоединяясь к потоку взаимообмена, мы можем оценить происхождение, существование и упадок значения. Более того, акцент на словах лишает дискурс любой информации о человеке (и ситуации), которая важна для создания понимаемости. Человек говорит не только словами, но и выражениями лица, жестами, позами, одеждой и так далее. В итоге важно прибавить все, что мы обычно называем телесным и материальным измерением, к дискурсивной области (книга Джеймса и Мелиссы Гриффит *Тело говорит*[232] – это революционная попытка объединить нарративность и корпоральность). И снова, я не хочу объективизировать более обширный взгляд на дискурс, точно так же, как и ограниченный взгляд. Скорее, с каждым новым расслоением в концепции дискурса мы можем добавить новую практику в ряд возможных.

От «Я» к отношениям

Традиционное ударение на ментальных состояниях тесно связано с фокусом на индивидуальном лечении и излечении. Отношения, с этой точки зрения, строятся на ас-

социациях между людьми, которые в остальном сохраняют свою приватность, обособленность. Фактически, отношения – это вторичные или искусственные инструменты, сконструированные из «кирпичиков» независимых «Я». Движения в групповой и семейной терапии предложили ряд альтернативных практик, построенных на таких концепциях, как групповая динамика, семейная структура и психологическая взаимозависимость. Однако во многих (если не во всех) таких случаях реляционная активность считается производной глубоко личного, психологического процесса. Наряду с конструкционистским переходом от разума к дискурсу, фокус сильно смещается к первичности отношений. Фактически, фундаментально язык – это реляционный феномен. Точно так же, как рукопожатие или танго, его нельзя выполнить одному. Поэтому значение не находится внутри разума индивидуальных участников – это постоянно возникающее достижение реляционного процесса[198]. Именно в этом контексте мы более полно ценим описанное ранее ударение на совместном конструировании. Значение развивается именно в матрице взаимодействия терапевт-клиент.

И все же, хотя большинство терапевтических практик, включенных в этот анализ, разделяют эту позицию, акцент на отношениях (в отличие от индивидуальных разумов) расширяется во многих направлениях. Здесь полезно подумать о концентрических кругах отношений, начиная с терапевта-клиента и расширяясь до отношений клиента с родственниками, близкими, друзьями и так далее. В этом внешнем кругу некоторые терапии обращаются к прошлому, чтобы изучить предыдущие отношения. Как говорит Мэри Герген[213], мы все водим с собой целый ряд «социальных призраков». Чтобы вникнуть в эти зачастую важные отношения, Пенн и Франкфурт[423] иногда просят клиентов написать письмо любимому человеку, которого те потеряли. Расширяя круг еще дальше, другие терапии учитывают более широкий круг общения – рабочее место, церковь и так далее. В Швеции Эгелунд[153] и его коллеги включают в свою «городскую терапию» родителей, учителей, социальных работников и других людей, чьи мнения имеют отношение к делу. Расширяя круг даже еще дальше, некото-

рые терапии крайне сосредоточены на отношении человека к широкому социальному контексту – к институтам власти, культуральным традициям подавления и так далее. Например, «социальная терапия» Ньюмана и Хольцмана пытается связать индивидуальные проблемы с масштабными социальными условиями в обществе – расовыми отношениями, возможностями трудоустройства и общественной деятельностью. Подобным образом, Фриман, Эпстон и Лобовитц[177] пишут: «Так как пронизанные проблемами истории гнездятся в социальных, культуральных, экономических и гендерных предположениях о ролях и поведении, мы исследуем эти факторы и стремимся осознавать то, как они влияют на разных членов семьи»[177]. С каждым движением извне, из круга могут возникать новые движения в практике.

Будучи стимулирующими и инновационными, терапевтические ходы в реляционном направлении все же требуют неустанного внимания. Во-первых, потому что существует постоянная опасность воскрешения социальных детерминистских метафор, в которых «Я» становится жертвой влияния других – семьи, рабочего места, экономической структуры и так далее. Социальный конструкционизм – это не социальный детерминизм; ударение ставится на значении путем координации. Здесь мы соглашаемся с точкой зрения Кэти Вайнгартен: «Я подвержена тем же процессам создания и разрушения мира, что и все остальные, я никогда не могу определить себя как объективного аутсайдера – вместо этого, я всегда должна помнить о том, что я – участник»[572]. Благодаря такому перемещению ударения нам также предлагается заново концептуализировать «Я» как то, что уже является составляющей частью отношений (смотрите 2 главу). Я не хочу объективировать область реляционного так, чтобы оставить исследование индивидуального[416]. Опять же, конструкционизм не заключается в разрушении традиций. Скорее, нам предлагают поместить исследование «Я» в определенный контекст, рассмотреть прагматические последствия реляционного понимания в противопоставление пониманиям индивидуалистским.

От сингулярности к многоголосию

Традиционные типы терапии были «очарованы» метафорами сингулярного и унифицированного. Сначала терапевты поддерживали идею сингулярности объективной истины и стремились к унифицированной дисциплине. Затем появился традиционный идеал «Я» с последовательным, интегрированным, унифицированным ментальным миром. Именно поэтому мы часто пренебрежительно высказываемся о психологическом напряжении, ментальном расщеплении, диссоциативном расстройстве идентичности и шизоидном расстройстве личности. С возникновением конструкционистского сознания эти традиционные «заигрывания» с понятием единства оказались под сомнением. Аргумент в пользу множественных конструкций реального – каждая из которых имеет право на существование в определенном интерпретативном сообществе – делает концепт «единой последовательной истины» ограниченным и потенциально ущемляющим. К тому же, поскольку люди участвуют во множестве отношений – каждые из которых по-разному конструируют идентичность человека и мира – идеал унифицированного «Я» кажется все менее привлекательным, если не контр-адаптивным[196]. Чтобы выжить в таких условиях, понадобится протеевское «Я»[335]. Именно в таком интеллектуальном и культуральном контексте можно сформировать и развить новый набор терапевтических практик.

Поначалу такие виды терапии часто стремятся к множественности реальностей клиента. Вайнгартен пишет: «Терапевт, использующий постмодернистский нарративный подход, в целом не заинтересован в разговоре, цель которого – докопаться до причин проблем. Вместо этого, его крайне интересуют разговоры, которые создают множество возможных путей двигаться вперед, когда возникает проблема»[572]. Или, как сформулировали Рииконен и Смит: «Было бы ошибкой полагать, что вдохновляющие миры можно строить лишь одним-единственным способом»[445]. Здесь важный прорыв обеспечила работа Тома Андерсена[7;8] и его коллег о рефлектирующей команде. Когда несколько терапевтов, наблюдающих за сеансом семейной терапии, делятся своими взглядами с членами семьи, а семью при-

глашают комментировать эти интерпретации, все они вольны рассматривать любые варианты – включая те, которые они сами могут разработать в качестве альтернативы. Здесь никто не пытается определить «истинную природу проблемы» – скорее, [собеседники] пытаются открыть множество разных путей к альтернативным вариантам будущего.

Вдобавок к практикам интерпретативного обогащения, другие терапевты обратили особое внимание на многообразие «Я». Например, особенно показательной здесь оказалась работа Томма[541], который развил процесс «интервьюирования внутреннего другого», во время которого он интервьюирует голос другого человека в клиенте. Например, если клиент охвачен гневом на другого человека, его могут попросить как можно глубже погрузиться в опыт другого и говорить с позиции «Я» этого другого. В более общих чертах, Пенн и Франкфурт[423] находят, что многие их клиенты начинают терапию с «удушающих монологов», и они, будучи терапевтами, способствуют развитию «нарративного многообразия». Сначала они открывают разговор с клиентами для альтернативных голосов – например, позитивных, оптимистичных или уверенных. После этого клиента побуждают писать – например, письма живым или умершим людям, диалоги, заметки между сеансами, дневники, стихи – в такой манере, которая пробудила бы в них новые голоса. Пенн[422] также экспериментировал с внедрением новых, воображаемых голосов в нарратив клиента. Подобным образом, Рииконен и Смит[445] интересуются способами, которыми доминирующие в культуре дискурсы подавляют индивидуальные действия. Классический пример – это случаи физического или сексуального насилия, когда жертвы слишком быстро принимают общепринятые взгляды, в которых их определяют как недостойных или заслуживших насилия. Терапевт задает такие вопросы: «Откуда, на Ваш взгляд, берутся такие ущемляющие описания? Какие еще описания/голоса в Вас заглушаются? У Вас была возможность выслушать другие идеи? Что бы могло значить, если бы у Вас была возможность выслушать больше таких идей?»[445] Германс и Кемпен[264] уточняют, что новые голоса запускают внутренние диалоги со значительным потенциалом к изменениям.

Исследуя множественные «Я», мы формируем долгосрочные последствия, однако, в то же время, мы сталкиваемся с важными вопросами. Поддерживать множественные реальности – значит нарушить общепринятые условности, и для многих это означало бы порицаемый релятивизм. Если существует множество интерпретаций, что же тогда по-настоящему ценно, и что в итоге по-настоящему стоит делать? Некоторые клиенты – жаждущие найти «решение» их проблем – могут потеряться в круговороте разных вариантов. Если ни один из этих вариантов не более разумен, чем остальные, как же тогда возможно сделать выбор? Кажется очевидным, что, как и другие конструкционистские практики, настойчивое стремление к многообразию можно поместить в конкретную ситуацию; нужно с бо́льшим вниманием отнестись к тому, когда и где [многообразие] может быть полезным (или нет). В случае с множественными «Я» мы сталкиваемся с дальнейшими вызовами. Многие уважаемые институты основываются на концепции единственного «Я»; если мы поощряем реальность многообразия, то мы ставим под угрозу традиции таких институтов. Например, традиционные формы близости основываются на способности доверять – знать другого таким, какой он есть на самом деле. И все же многоголосый другой может оказаться едва ли преданным [партнеру]; слишком часто он может казаться легкомысленным, поверхностным, попросту игроком. Подобным образом, способность призывать человека к ответственности зависит от концепции «того» (единственного агента), который действует. Если каждое действие – это лишь одно отражение целого сонма внутренних персонажей, тогда кого же винить за их поступки, кому эти поступки приписывать? Это – лишь несколько примеров вопросов, возникших сегодня на горизонте.

От проблем к перспективам

Традиционная терапия основывается на медицинской модели болезни и излечения, в которой пациенты (клиенты) сталкиваются с проблемами (обычно определяемыми как патологии, трудности в адаптации, дисфункциональные отношения и т.д.), а задача терапевта – работать

с этой проблемой так, чтобы облегчить или устранить («излечить») ее. Именно предположение о «проблеме» ложится в основу процесса диагностики и, фактически, «подпитывает» развитие диагностических критериев (например, DSM–IV). Однако, с конструкционистской точки зрения, весь этот ряд взаимосвязанных предположений и практик поддерживает реалистское заблуждение о том, что «проблемы» (болезни) существуют независимо от наших форм их интерпретации. В мире не существует «проблем», которые требовали бы такого дискурса. Здесь я хочу еще раз отметить: я не пытаюсь отказаться от терминологии «проблем» в ее традиционном использовании – скорее, я хотел бы сделать паузу и рассмотреть ее последствия. Ведь, как считают многие, если мы определяем мир, используя терминологию проблем, зачастую мы материализуем реальность так, что ее потом сложно изменить. Когда терапевты начинают исследовать проблемы клиента, они генерируют реальность разговора, которая становится все масштабнее и осязаемее. Становится все меньше вариантов, а мучения не ослабляют, а наоборот – поддерживают. В использовании диагностических терминологий есть особые недостатки. Заявляя, что причина трудности кроется в самом клиенте (или семье), терапевт ставит этого человека (или семью) в зависимое и унизительное положение, одновременно превращая себя в эксперта. Лечение зависит от навыков терапевта, а не клиента*.

Руководствуясь такими аргументами, терапевты разработали набор практик, цель которых – избежать материализации проблем и перевести внимание на дискурс позитивных подходов. Как сформулировали Рииконен и Смит: «Мы привыкли говорить, что анализ проблем – это необходимая предпосылка для их решения, устранения или деконструкции. Кажется, что в большинстве случаев полезнее говорить о действиях, опыте и мыслях, которые могут помочь исправить ситуацию»[445]. В нарративной терапии также исследуют важность позитивных событий в рассказе истории[522]. Самой заметной в этом отношении стала работа терапий, нацеленных на решение[46;116;405]. В этой работе

* *Чтобы ознакомиться с более подробной библиографией по проблематике ментальных и реляционных диагнозов, смотрите http://www.swarthmore.edu/SocSci/kgergen1/Psychodiagnostics/index.html. (прим. автора).*

практически отказались от обсуждения проблемы в пользу изучения ресурсов и целей на будущее. «Волшебный вопрос» – это, по сути, приглашение в новую область диалога, в котором создание будущих реальностей становится важнее объективизации прошлых проблем.

Однако важно оставаться восприимчивыми к возможным недостаткам ориентированных на перспективу практик. Как подчеркивает в своей работе Харлин Андерсон[10], для продуктивных отношений необходимо уважать реальность клиента. Или, как предлагает Уильям О'Хэнлон, «если у клиентов не возникает чувство, что Вы услышали, признали и оценили их, они либо потратят время на то, чтобы убедить Вас в оправданности собственной боли и страданий, либо откажутся от терапии с Вами»[404]. Таким образом, стремительно двигаясь навстречу деконструкции или разрешению «проблемы», терапевт может рискнуть разрушить свою связь с клиентом. Более того, хотя терапевт может связать объяснение проблемы самим клиентом с их отношениями «терапевт-пациент», такое определение может быть тесно связано с отношениями за пределами терапии. Независимо от реконструктивных возможностей, для большинства людей «физическое насилие» или «инцест» остаются проблемами в более широкой культуре. Подавить такие описания – значит рискнуть отдалить клиента от его реляционного окружения. Этот аргумент также связан с более ранней дискуссией о моральной вовлеченности. Проблемы всегда являются проблемами из-за определенной традиции ценности; подорвать описание «моей проблемы» – это также значит поставить под сомнение связанную с ней традицию. Я никоим образом не хочу оспоривать ориентированные на перспективу практики; скорее, я хочу побудить к рассуждению об использовании таких практик в более широкой матрице формирования значения.

От инсайта к действию

В традиционных терапиях с фокусом на психологическом дефиците отдельного человека психика такого отдельного человека представлена как область для терапевтических перемен. Например, в условиях переноса [чувств

и отношений], катарсиса, самопонимания, самопринятия, реинтерпретационных или когнитивных перемен, большинство терапевтических практик построены вокруг предположения о том, что успешная терапия зависит преимущественно от того, что человек меняет свое мнение. Затем, обычно предполагается, что этого изменения можно добиться с помощью терапевтических отношений. Концепция «терапевтического прорыва» резюмирует эту точку зрения; как только в терапевтическом кабинете добиваются изменения, есть надежда, что трансформация останется и после того, как клиент выйдет за порог. Мы можем использовать словосочетание *индивидуальный инсайт*, чтобы указать на этот класс практик.

И все же, по мере того, как мы перемещаем ударение с индивидуального разума на дискурсивные отношения между людьми, мы находим традиционный набор практик ограниченным, если не недальновидным. С конструкционистской точки зрения, процесс генерирования значения – непрерывен, и его форма и содержание, вероятно, переместятся с одних отношений на следующие. В отдельном человеке кроется множество дискурсивных способностей, и нет особой причины ожидать, что значения, сгенерированные в терапевтических отношениях, перенесутся и на остальные отношения. Драматический инсайт, который разделяют терапевт и клиент – это, фактически, *их* достижение, конверсационный момент, который получает свое значение от предыдущего взаимодействия и который нельзя просто вытеснить из одного разговора и переместить в другой, отдаленный в пространстве и времени.

Когда мы определяем источник значения в диалогическом процессе, мы, по сути, считаем процесс формирования значения социальной активностью. Следовательно, значение формируется не в разуме и не хранится там для будущего использования – оно, скорее, создается в действии и воссоздается (или нет) в последующих процессах координации. Говоря словами де Шазера: «Вместо того, чтобы выискивать, что скрывается за языком или вне языка, которым пользуются клиенты и терапевты, я считаю, что язык, которым они пользуются,– это все, что у нас есть, чтобы продолжать ... Вопреки здравому смыслу, изменение про-

исходит в языке: то, о чем мы говорим, и как мы об этом говорим – вот что имеет значение...»[136]. В этом контексте основные вопросы о терапевтическом совместном конструировании – это: (1) применима ли отдельная форма дискурса вне терапевтических отношений, и (2) желательны ли прагматические последствия такого дискурса. В качестве примера, из юнгианской практики можно позаимствовать специализированные словарные архетипы. Хотя этот словарь позволит развиться глубоким отношениям в терапевтических условиях, его редко можно применить где-то еще. С этим словарем мало чего можно добиться в конверсационной работе. В случае с прагматичными результатами, терапия первичного крика может позволить человеку драматично выразить ярость и мучения. И все же, хотя такие проявления могут привести к значительным результатам на «рынке» социальной жизни, их последствия вряд ли помогут клиенту.

Этим критериям-близнецам – применимости на практике и прагматическому результату – понадобилось много времени, чтобы проявиться в конструкционистской терапии. В некоторой степени это относительное равнодушие основано на убеждении о том, что терапевтический разговор (наряду с внутренним диалогом) дает результаты во внешнем мире отношений. Однако это предположение по большому счету – это «долговое обязательство». Очень нужны практики, которые были бы предназначены конкретно для воссоздания этой связи. Чтобы проиллюстрировать возможности, Уайт и Эпстон[577] сгенерировали множество подкрепляющих практик, чтобы вдыхать жизнь в возникающие нарративы. Они могут проводить празднования, дарить призы в присутствии важных людей или генерировать «выпуски новостей», в которых о прибытии человека на новый статус сообщается другим важным и разнообразным людям. Уайт использует то, что он называет «Клубом Вашей жизни», в который может входить кто угодно, живой или мертвый, реальный или вымышленный. Эпстон и его коллеги[352] помогают клиентам с нарушениями пищевых привычек развить политически ориентированные группы поддержки. Социальные терапевты[398] дают своим клиентам возможность проявить политическую активность, чтобы

усилить контроль над событиями, с которыми они сталкиваются в жизни. Акцент на практическом действии также помогает нам оценить особые качества практик групповой и семейной терапии. Здесь дискурс клиента выходит прямо на общественную арену, а его прагматические последствия становятся более очевидными. Затем мы обнаруживаем новые преимущества в ролевых видах терапии. Если подтолкнуть его в правильном направлении, клиент получает навыки в формах социального проявления. С нашей точки зрения, самая важная задача для терапевтического общества – пополнить эти ресурсы в практических целях.

6.3. Рефлексия и креативная задача

Переход к конструкционистской чувствительности предлагает для психотерапии и концептуальную, и практическую трансформацию. Не только общая позиция терапевта значительно смещается со своего модернистского фундамента – также возникает целый ряд новых практик и сопутствующих задач. И все же в этом анализе наша цель не ограничивается определением контуров перемен. Здесь мы также находим основания для конструктивной критики и создания новых отправных точек. Можно «привести в движение» эвристическую ценность анализа, если связать вышеупомянутые плоскости изменений с терапевтами и/или практиками, предоставляющими наглядные примеры. Например, мы предлагаем, что каждый из людей или практик в правой колонке (смотрите таблицу ниже) могут эффективно иллюстрировать концептуальную плоскость из левой колонки:

Гибкость точки зрения	Линн Хоффман
Осознание конструирования	Миланская школа
Ориентация на сотрудничество	Языковые системы, направленные на сотрудничество
Ценностно уместная позиция	Феминистская терапия
Ударение на дискурс	Нарративная терапия
Ударение на отношения	«Городская» терапия
Ударение на многоголосие	Рефлексивный процесс
Ударение на перспективу	Краткосрочная/нацеленная на решение
Ударение на действие	Социальная терапия

В этом направлении возникает вопрос о том, совпадает ли теоретик или практика с одной концептуальной плоскостью или же с несколькими. Тогда как данная практика может быть крайне эффективна в реализации одного ключевого конструкционистского аспекта, она может быть неуместна или даже несовместима с другими конструкционистскими направлениями. Не все терапии, которые подчеркивают многоголосие, например, политически или идеологически активны; не все практики, сосредоточенные на позитивных перспективах, также подчеркивают и реляционный процесс, и так далее. Таким образом, представленные здесь аналитические категории могут служить критерием для размышлений: каким образом определенная терапевтическая практика отражает (или не отражает) эти различные плоскости? Еще важнее: когда эта практика не добивается одной из этих целей, можем ли мы определить потенциал для дальнейшего обогащения практики? Фактически размышление о способах, которыми данная практика учитывает и не учитывает плоскости изменений, приводит к креативной позиции, с которой можно вообразить новые практики.

В качестве примера вначале рассмотрим уже ставшую классической форму нарративной терапии, описанную Уайтом и Эпстоном[577]. В конструкционистском мире такая практика получила бы довольно высокие оценки за осознание конструирования, позицию сотрудничества, осознание ценности и ударение на отношениях, перспективах и действии. И все же практика кажется негибкой в этих отношениях; в практике остается мало места для более традиционных точек зрения или практик, даже если их прагматическая польза может в некоторых отношениях быть больше. Затем, в этой практике существует сильная склонность подчеркивать сингулярность в истории. Попытка, в первую очередь, заключается в том, чтобы помочь клиенту избежать «хватки» унылого и доминирующего дискурса и сгенерировать более полезный нарратив. Практически не делается акцент ни на множественности историй, которые клиент может привнести с собой в терапию, ни на возможности передвижения в текучем пространстве множественных нарративов. Следовательно, продуктивной

задачей было бы исследовать способы, которыми ориентация могла бы (1) считаться более гибкой и использовать множественные традиции, и (2) внедрять множественные голоса и взгляды в диалог.

Подобным образом, мы можем исследовать новые витки развития нацеленной на решение терапии, спровоцированные рассмотрением политических и идеологических соображений. Мы также можем исследовать новый потенциал в практиках рефлектирующей группы, в которых в центре внимания находятся последствия действий. Благодаря терапиям, основанным на идеологии, можно добиться многого, если переместить фокус с сосредоточенного на проблеме дискурса («общественное порицание») на перспективные возможности. Как мы обнаружили, драматические изменения в концепции и в практике терапии возникли за последние 20 лет. Однако сегодня возникают важные задачи, а возможности новых и инновационных практик рисуют возможности захватывающего будущего.

7

СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Образовательные практики обычно связаны с сетью предположений – то есть, с общим дискурсом о природе человеческих существ, об их способностях и отношениях с миром и друг с другом. В случае с образованием, вероятно, ключевое понятие – это понятие самого знания. Как же мы определяем или концептуализируем знание таким образом, чтобы образовательные практики считались необходимыми, и чтобы одни практики предпочитали больше других? В различных взглядах на образовательный процесс используются абсолютно разные концепты «знания». Если бы мы считали, подобно некоторым романтикам, что «у сердца есть причины»*, мы бы заменили книги и лекции напряженными эмоциональными и духовными дискуссиями. Если бы мы считали, подобно племени илонгот из северного Лузона, что мы приобретаем знания из гневной агонии или из охоты за головами, тогда формальное обучение в школах можно было бы заменить опытом сражения. Следовательно, убеждения о знаниях наполняют, обосновывают и поддерживают наши образовательные практики.

Учитывая такой интерес к основополагающим убеждениям, мы бы хотели вначале обозначить две основные концепции знания, близкие западной традиции – концепции, которые и сегодня продолжают наполнять значительную часть образовательных практик, в которых мы участвуем. Позже мы предположим, что эти тесно связанные между собой системы убеждений крайне спорны как в своих эпистемологических, так и в идеологических стремлениях.

---

* *«У сердца есть причины, которые разуму не понять» – Б. Паскаль. (прим. пер.)*

Затем мы обозначим альтернативу этим взглядам, в особенности – одну, которая основывается на социально-конструкционистской точке зрения. Не пытаясь разрушить традиционные взгляды, социальный конструкционизм предлагает важную альтернативу. Это также открывает путь и для новых направлений практики.

7.1. Знание: экзогенная и эндогенная традиции

Хотя существует много способов «вскрыть» наши исторические традиции, здесь полезно выделить два существующих издавна направления в знании: *экзогенное* (или ориентированное на внешний мир) – с одной стороны, и *эндогенное* (или ориентированное на разум) – с другой. Корни экзогенной традиции в образовании можно проследить к эмпирическим философиям знания (от Локка до логического позитивизма), а эндогенная традиция во многом обязана своей понимаемостью рационалистской традиции (от Декарта и Канта к Фодору и движению искусственного интеллекта). Оба направления принимают дуализм разум/мир, в котором существование внешнего мира (обычно – материальной реальности) противопоставляется существованию психологического мира (когнитивного, субъективного, символического). Однако, с экзогенной точки зрения, отдельный человек может усвоить или получить знание, когда его внутреннее состояние отражает или корректно репрезентирует некое существующее состояние внешнего мира (или служит зеркалом для него). Экзогенные мыслители часто делают сильный акцент на пристальном наблюдении в процессе приобретения знания, и склонны считать эмоцию и личные ценности потенциальными угрозами нейтральному или «равномерно распределенному вниманию», необходимому для точного фиксирования мира таким, какой он есть. К тому же, сторонники экзогенной традиции также часто подчеркивают важность знания для способности человека адаптироваться или преуспеть в сложной окружающей среде. Мы должны обладать «внутренней картой» природы, как она есть, если мы хотим успешно найти свой путь в мире. А потому для приверженцев этой точки зрения мир – это первичная данность, а разум лучше всего функционирует, когда точно эту данность отражает.

Эндогенная традиция похожа на экзогенную в своем дуалистическом фундаменте и в акценте на ценностной нейтральности. И все же, тогда как экзогенная традиция считает внимательное наблюдение за миром ключевым в приобретении знания, эндогенная традиция делает основное ударение на силе индивидуального разума. Там, где экзогенный педагог, вероятнее всего, сосредоточится на обеспечении входящей извне информации, необходимой, чтобы построить точную репрезентацию, эндогенный педагог делает основное ударение на врожденных способностях человеческого существа к инсайту, логике или концептуальному развитию. В этом смысле, экзогенный теоретик, вероятно, будет считать внешний или материальный мир данностью и будет строить догадки о том, как точно представить природу в уме; а эндогенный мыслитель, вероятно, будет считать самоочевидным ментальный мир, и будет задавать вопросы о том, как работает разум, чтобы адекватно функционировать в природе. В дебатах о влиянии воспитания против природы (теория о решающей роли окружающей среды в формировании личности против теории об особом влиянии на личность врожденных факторов) сторонник экзогенной традиции предпочтет влияние природы на человека; возможно бесконечное и постоянное формирование индивидуального разума. И наоборот, сторонник эндогенной традиции обратит внимание на врожденные или естественные способности и развитие индивидуального разума. Границы обучения можно проследить до стадий развития когнитивной системы.

Как предполагалось, каждое из этих научных направлений, нацеленных на знание, также служит для того, чтобы обосновать или рационализировать определенные формы образовательной практики. По большому счету, экзогенное направление сосредоточено на предмете изучения или на программе. С экзогенной точки зрения, ученик, по сути,– это *чистый лист*, на который образовательный процесс должен нанести основные черты мира. Более конкретно, такой подход предпочитает акцент на прямом наблюдении студента или на эмпирическом обогащении опыта – сбор образцов или видов, включенное наблюдение, лабораторные эксперименты, экспедиции и так далее. Работа с книгами

и лекциями – это также один из предпочитаемых видов работы с экзогенной точки зрения, потому что из этих источников человек может почерпнуть множество информации, которая иначе не доступна для непосредственного наблюдения. Экзогенный взгляд предпочтителен для процедур экзаменов, в которых основное внимание уделяется оценке уровней индивидуальных знаний. Такие инструменты, как вопросы с несколькими вариантами ответа, стандартизированные тесты и статистическая нормализация, могут показать, в какой степени «исписан лист».

И наоборот, эндогенная точка зрения сосредоточена на ребенке или на ученике. Эндогенные планы обучения ставят основное ударение на рациональных способностях человека. Важен не столько объем информации в голове человека, сколько тот способ, которым он о ней размышляет. Таким образом, сильное ударение может быть сделано на математике, философии и иностранных языках – на тех предметах, которые, как считается, усиливают мыслительные способности человека. Здесь дискуссия в классе предпочтительнее лекций, потому что активное участие полнее всего раскрывает потенциал когнитивных навыков. Экзамены с написанием эссе и курсовые работы предпочтительнее стандартизированных тестов не только потому, что такими способами проще научиться рациональному анализу, но и потому, что в идеале оцениваться должно качество, а не количество. Безусловно, предпринимались попытки объединить две традиции. Примером этого является теоретизирование Пиаже[431], потому что он применяет два противоположных процесса когнитивного развития: когнитивную *аккомодацию* – к объектам реального мира (дань экзогенной традиции) и когнитивную *ассимиляцию* мира – с когнитивными структурами (поддерживая эндогенную традицию). Дальше мы подробнее рассмотрим такие интеграции.

7.2. Гибель знания как индивидуальной собственности

Хотя сегодняшняя образовательная политика и педагогика считаются рациональными преимущественно с позиций этих существующих издавна концепций знания (экзо-

генной и эндогенной), оказывается, что традиции стремительно разрушаются. Отчасти это разрушение происходит из-за того, что традиции всегда строились на шаткой основе. С помощью этих двух подходов философы никогда не были в состоянии решить фундаментальный вопрос эпистемологии – как разум приобретает знания о внешнем для него мире. В самом деле, топливо для каждой точки зрения в основном черпается из недостатков, свойственных противоположной ей позиции. Как сегодня кажется многим, проблема знания по своей природе не имеет решения[447]. Если мы начнем с различия между тем, что находится *снаружи* и *внутри* разума человека, мы создадим неразрешимую по своей природе проблему в определении того, как же то, что снаружи, точно фиксируется внутри. Такие выводы сделали и экзогенные, и эндогенные концепции знания уязвимыми перед недавней канонадой критики, называемой постэмпиристической, постфундаменталистской, постпросвещенческой, постструктурной и постмодернистской (смотрите 1–3 главы). В этих «лагерях» и экзогенная, и эндогенная концепции знания потеряли всякий вес.

И все же из этих недавних диалогов возникает один аргумент, который требует дальнейшего внимания. И экзогенная, и эндогенная традиции помещают знание в разумы отдельных людей. Именно человек наблюдает и размышляет, и именно перед ним стоит задача приобретать знания. Считается, что лишь благодаря своему индивидуальному обладанию знаниями он может выжить и преуспеть в сложном мире. Шаткая основа для таких убеждений – это лишь одна из причин для сомнений. Возможно, более важно то, что мы должны исследовать влияние культурной жизни, чтобы предположить, что дело обстоит именно так? Какие формы культурной практики приветствуются, если мы заявляем, что знание необходимо для выживания, и что оно должно находиться в головах отдельных людей? Каким группам отдается предпочтение в таких условиях, и какие традиции или потенциалы подавляются или уничтожаются?

Если сформулировать все так, существует повод для сопротивления. По сути, такая концепция знания становится в ряд с идеологией *замкнутого индивидуализма*

(смотрите 2 главу). Взгляд на знание как на собственность индивидуальных разумов отвечает и другим предположениям о том, что отдельные люди являются обладателями собственных мотивов, эмоций или фундаментальных сущностей. В этой традиции людям предлагается считать себя центром собственных действий – как одиноких выбирающих, ищущих, находящих – и считать, что они сталкиваются с вызовом выживания и успеха. Как утверждают критики, такие убеждения не только способствуют нарциссическому, «я – прежде всего» отношению к жизни, но и выделяют другим (и физическому окружению) второстепенную или инструментальную роль. Мы изучаем людей и окружения, и в первую очередь обращаем внимание на то, что они могут сделать «для меня». Затем, из-за чувства фундаментальной изоляции («лишь я»), культивируемой таким направлением, человеческие отношения считаются искусственными инструментами, которые противоречат естественному состоянию независимости. Важнее всего: по мере того, как народы мира становятся все более взаимозависимы и обретают возможности для взаимного уничтожения (с помощью оружия или экологического загрязнения), идеология замкнутого индивидуализма угрожает благополучию человека. В таких условиях больше нет смысла думать «я против тебя», «мы против них». Мы уже говорим не об абстрактной и сокровенной философии, а о системе убеждений, которая в определенных отношениях может угрожать глобальному благополучию[204].

7.3. Социальная конструкция знания

По мере того, как проблемы с традиционными взглядами на знание стали очевидны, начал возрастать интерес к возможным последующим проектам. К тому же, именно сейчас социальные конструкционистские диалоги приобретают свое современное значение. Большая часть постфундаментальной критики сконцентрировалась на восстановлении в культуре того, что было объявлено естественным – то есть, на замене предположения об истине, подтвержденной природой, на истину, созданную сообществом. Согласно вышеупомянутым аргументам, это значит

считать знание побочным продуктом не индивидуальных разумов, а общественных отношений. Или, перефразируя главную тему данной книги, *все значимые предположения о реальном и о хорошем происходят из отношений.* Этим я хочу обратить особое внимание на область генерирования знания: непрерывный процесс координирования действий между людьми. Я хочу вывести на передний план посекундное взаимодействие между собеседниками и определить значение в паттернах взаимозависимости. Согласно Витгенштейну[582], не существует приватного языка (момент до отношений, в который человек формулирует значение); скорее, язык (и другие действия) приобретают свою понимаемость в социальном использовании, потому что они координируются с действиями других людей. Следовательно, люди в изоляции не перестают быть понимаемыми; однако стоит проследить понимаемость их частных действий к предшествующему погружению в отношения. Люди могут выполнять действия, которые традиционно называются «мысль» или «чувство»; однако эти действия можно полноценно рассматривать как формы отношений, выполненные в изолированном пространстве индивидуального человека.

В преддверии дальнейшего обсуждения образовательной практики стоит сказать больше о важности отношений. Можно наглядно сформулировать эту идею, сказав, что актор приобретает значение только благодаря дополнительным действиям другого человека. Что бы ни было сказано или написано, это не имеет внутреннего и неотъемлемого значения; само по себе оно не несет единогласного сообщения. Так же и значение серии слов иди действий не определяется исключительно получателем (слушателем или читателем). Скорее, действия человека (лингвистические и иные) функционируют как индикаторы возможных реляционных последовательностей; они приветствуют одни линии поведения и отрицают другие. Когда получатель реагирует, придерживаясь той или иной линии поведения, он присваивает первоначальному действию потенциальную форму значения, оставляя множество других возможностей в стороне. Таким образом, комментарий «Чак, думаю, тебе это будет интересно» приветствует или делает возможным реакцию «Хорошо, я посмотрю» – и эта реакция придает

комментарию значение приглашения поделиться информацией. Однако точно так же возможная реакция «Да (закатывая глаза), еще бы» ставит фразу в другое положение, генерируя ее значение как манипуляцию.

С этой точки зрения, лекции и книги не имеют значения, пока студенты не предоставят им такой привилегии. Затем, ни лекции, ни книги не могут определить значение, которое им будет присвоено. Они предлагают множество вариантов, из которых разные студенты, вероятно, выберут разные. С помощью обратной связи и оценок учитель может сузить ряд альтернатив – подталкивая студентов к «одобренным» последовательностям. Однако обратная связь и оценка находятся в том же положении, что и лекции и книги – они подвержены множеству вариаций, над которыми они не имеют решающего контроля. Помня о таких ориентировочных предположениях, мы можем рассмотреть несколько важных выводов [о качестве знания].

Неопределенность

Пони́маемость никогда не бывает полной. Любое общепринятое значение открыто для бесконечного пере-определения. Не существует единственной точки, в которой начинается зарождение понимаемости. Слово нельзя зафиксировать «как оно есть», чтобы точно определить, *что* будет означать лекция или текст – даже если ученик осваивает соответствующие инструменты для этого из локальных школьных сценариев. По мере того, как идет время и разворачиваются обсуждения, то, что было «истинным и прекрасным» на прошлом уроке, может превратиться в «банальное» и «идеологически сомнительное», а то, что было объектом осуждения, может стать объектом восхищения. Несомненно, мы часто относимся к понимаемости как к *fait accompli*, то есть, как к свершившемуся факту. «Это – правильный ответ», «Я прекрасно Вас понимаю» и «Он так понятно пишет» – все это способы просигнализировать о полном достижении значения. Однако это – лишь застывшие моменты в бесконечном разговоре, и достижение их значений может аннулироваться («Я думал, что ты ответил правильно, пока не прочел дальше»). К тому

же, и говорящий, и другие люди вольны и дальше определять значение этих моментов («Вы говорите, что понимаете меня, но я в этом сомневаюсь»).

Многоголосие

Когда собеседники вступают в новые отношения и пытаются вместе добиться понимаемости, они полагаются на уже имеющиеся практики достижения смысла. И, поскольку обычно они участвовали во многих отношениях, в разные времена и при разных обстоятельствах, они привнесут в настоящее обширный словарь действий и слов. На самом деле, мы вступаем в любые отношения многоголосыми – мы наделены множеством голосов, которые присвоили себе в прошлом. Таким образом, любое предложение может представлять целый букет из прошлых фраз, согласованных между собой и пущенных плыть по течению в безграничном море без конечного пункта назначения. В то же время, благодаря традиции или очерченной истории взаимодействия, формирование значения в любых данных отношениях будет способствовать сокращению количества используемых источников. На курсах французского языка зависимость от родного языка будет постепенно ослабевать; курсы по психологии подтолкнут студентов оставить общепринятые дискурсы свободы воли, духа и моральной ответственности.

Контекстуализация

Реляционное генерирование значений задействует не только слова и действия собеседников. Координируясь друг с другом, собеседники часто используют разные объекты, и этот процесс координации всегда происходит в определенных материальных условиях. Таким образом, к примеру, дискурс бейсбола будет зависеть не только от паттернов действий, но и от таких объектов, как бита, перчатки и мячи. А бейсбольное поле упростит и облегчит эти паттерны координации и обозначит их границы. Или же, согласно Витгенштейну[582], наши языковые игры происходят в *формах жизни*. Это значит, что каждая форма жизни может делать свой вклад в источники, которые привносит че-

ловек в любые новые отношения. Человек не просто вступает в отношения многоголосым – он также имеет много возможностей подразумевать объекты или призывать контексты, с которыми можно конструировать значение в любых отношениях. Чем богаче ряд таких возможностей для координации, тем более гибкими и эффективными могут быть люди, когда они бесконечно сталкиваются с вызовом нового и неведомого. Если выражаться более метафорично, жизнь может походить на серию джазовых концертов, в которых бесконечная череда новых партнеров и площадок требует бесконечной импровизации.

Прагматика

Реляционный взгляд, разработанный в этой главе, контрастирует не только с традиционным взглядом на язык как на внешнее выражение внутреннего состояния, но и с широко распространенным убеждением о том, что язык может служить точной «картиной» или «картой» мира (что он может «сказать правду»). Скорее, язык в основном функционирует как составляющая черта отношений. Точно так же, как влюбленным может понадобиться словарь эмоций, чтобы создать сценарий романтической любви, так и лабораторная команда по нейроэндокринологии требует таких терминов, как «гипоталамус» и «аминокислоты», чтобы скоординировать свои усилия вокруг экспериментальных процедур. Ни в одном из случаев – ни в любви, ни в нейроэндокринологии – язык не является картиной или картой мира вне себя самого; скорее, язык выступает важным элементом, как в любви, так и в лабораторных исследованиях (улыбки и объятия в первом случае, проверки и записи – во втором). С этой точки зрения, мы также способны взглянуть на прагматическую важность оценки образовательных практик. В какой степени различные академические дискурсы включены в или связаны с более широкими паттернами культурного действия; каков прагматический потенциал форм жизни, которым ученики подвержены в наших школах? Однако, прежде чем обратиться к определенным практическим вопросам, стоит рассмотреть различия между противостоящими характеристиками конструкции.

7.4. Разновидности конструкции

Конструкционистские идеи принимали множество форм в ходе времени, и их использовали довольно разными способами. Например, в своей классической работе Бергер и Лукман[48] используют социальный конструкционизм, чтобы представить особую форму социальной феноменологии, связанную со структурной концепцией общества. Хотя их интерес к социальной основе знания остался непоколебимым в данном описании конструкционизма, предполагаемая основа была радикально изменена. Не осталось ни феноменологии, ни социальных структурных взглядов. Подобным образом, термин «конструктивизм» использовался множеством различных теоретиков, и фигурирует в конструктивизме Джорджа Келли[290] в формах, которые не полностью совпадают с формами фон Глазерсфельда[558] или Пиаже[431]. Так как конструкционистские взгляды сыграли важную роль в более поздних рассуждениях о педагогике, будет полезно рассмотреть различия между социальным конструкционизмом, описанным выше, и двумя альтернативными направлениями: *радикальным конструктивизмом* и *социальным конструктивизмом*.

Радикальный конструктивизм фон Глазерсфельда оказался под сильным влиянием теории Пиаже и имеет много общего с когнитивными направлениями, нацеленными на образование в целом. Однако, в отличие от когнитивистов (которые, по иронии, продолжают придерживаться эмпирического взгляда на науку), конструктивисты разделяют с социальным конструкционизмом серьезные опасения насчет экзогенной эпистемологии и ее сильного упора на знание как на точное отражение мира. Каждый из них ставит под вопрос взгляд на знание как на нечто, «построенное» в разуме путем пристальных наблюдений. Таким образом, каждый конструктивист ставит под вопрос авторитет, традиционно приписываемый тем, кто претендует на истину вне рамок чьей-то конкретной точки зрения. Однако за этими сходствами также кроются и весьма важные различия. Ведь, как должно было стать понятно из написанного выше, радикальный конструктивизм действительно присоединяется к дуализму разум/мир и делает ставки на когнитивный (эндогенный) процесс. Словами фон Глазерсфель-

да, «Знание нельзя пассивно получить через чувства или путем коммуникации – оно активно строится познающим субъектом»[558]. Таким образом, знание – это не отражение мира таким, какой он есть. Скорее, как сказали Ричардс и фон Глазерсфельд:

> Мы переопределяем «знание» как нечто свойственное неизменности опыта живого организма, а не единствам, структурам и событиям в независимо существующем мире. Соответственно, мы переопределяем «восприятие». Это не принятие или дублирование информации, которая поступает внутрь извне – это, скорее, конструирование неизменностей, путем которых организм может ассимилироваться и организовать свой опыт[442].

Это описание знания уже настолько прижилось, что начинает превращаться в способ, которым конструктивист может избежать бремени дуализма. То есть, строя всю эпистемологию на описании внутреннего, «внешнее» можно стереть из уравнения и считать теорию монистической. И все же, подобное избегание «Сциллы» – страшной угрозы дуализма – противоречит теории с одинаково опасным «водоворотом Харибды» – теории обреченного на провал солипсизма. Ведь если каждый из нас попросту заключен в своем личном опыте, конструируя мир, как вздумается, тогда все, что мы принимаем за «мир», все, что мы считаем «другими людьми» – это всего лишь продукты нашего собственного производства. Я попросту придумываю идею о том, что существует некий мир, и что в нем есть другие, обладающие разумом люди. Следовательно, невозможно определить, как мы уживаемся с миром или даже то, существует ли вообще мир, который бросает вызов нашим способностям к адаптации.

Это – злополучный тупик для эпистемолога, и фон Глазерсфельд вряд ли жаждет в нем остаться. Таким образом, чтобы избежать проблемы солипсизма, в теорию добавляется прагматическая плоскость. Как пишет фон Глазерфельд, «Функция познания – адаптивна и служит для организации субъектом мира, познаваемого через опыт»[558]. Или же, «Радикальный конструктивизм – откровенно *инструменталистский* ... Понятие адаптации, предполагае-

мое здесь,– это базовый биологический концепт в теории эволюции. Оно связано с *соответствием* окружающей среде...»[558]. И все же, чтобы поддержать эту позицию, необходимо два предположения. Первое – о том, что существует реальный мир, отдельный от человеческого опыта в нем, что подтверждает дуалистическое предположение. Второе – о том, что эндогенного определения знания недостаточно; его нужно дополнить экзогенным интересом к реальному миру, к которому адаптируется человек. И все же второе предположение снова подталкивает теорию к спирали проблем, описанных выше. Как, например, можно определить, какие действия – адаптивные, кроме как через личный опыт толкования? Можно ли ошибиться в оценке того, что адаптивно, а что – нет? Как это можно выяснить? На каких основаниях радикальный конструктивист может защищать свою позицию?

Эти проблемы лишь усугубляются, когда конструктивист пытается объяснить, что такое коммуникация. Как объясняет фон Глазерсфельд, «значение сигналов, знаков, символов и языка может быть только субъективным, и никаким иным»[558]. И все же, как можно вообще определить, что собственные субъективности других, их действия на самом деле были направлены на то, чтобы выразить эти субъективности, и что одни действия их выражали, а другие – нет? Или же, как определить связи между конкретными действиями других и конкретным спектром субъективных состояний? Фактически, человек бы остался бродить в своем личном и субъективном мире, надеясь, что каким-то образом коммуникация произойдет. Фон Глазерсфельд признает, что возможности того, что хоть что-нибудь приблизится к истинной коммуникации,– довольно туманны. Он предполагает: «...в лучшем случае мы можем прийти к заключению, что наша интерпретация слов и предложений других людей кажется сопоставимой с моделью их мышления и действий, которую мы выстроили в ходе нашего взаимодействия с ними»[558]. В «лучшем» случае, можно надеяться на большее. Чтобы подробнее ознакомиться с критическим обсуждением конструктивистких направлений, нацеленных на знание и образование, смотрите Филлипса[430], Шоттера[488], Олссена[406] и Осборна[410].

Во многих отношениях социальный конструкционизм находит гораздо более близкого союзника в работах, которые можно определить как *социально-конструктивистские*. Под социальным конструктивизмом мы подразумеваем корпус работы, в которой ключевыми являются и когнитивные процессы, и социальное окружение. Примерами являются формулировки Выготского и другие теории действия[272;303]. Социальный конструктивизм также представлен в образовательной работе культурных психологов[105;473;575] и описан во многих поздних работах Джерома Брунера[78]. Социальный конструкционизм во многом совпадает с такими исследованиями значения, которым наделяют социальную сферу. В определенном смысле, и в конструктивизме, и в конструкционизме человеческие знания или рациональность считаются побочным продуктом социума. В обоих случаях отношения предшествуют человеку. И хотя специфическая роль учителя различается, с обеих позиций отношения между учителем и учеником считаются ключевыми для образовательного процесса.

Однако, несмотря на эти сходства, социально-конструктивистское направление все еще сохраняет связь с дуалистической эпистемологией и всеми сопутствующими ей философскими проблемами в глазах конструкционистов. Остаются нераскрытыми эпистемологические загадки о том, как соединяются внешняя и внутренняя реальность. Именно в этом же ключе социальный конструктивист часто делает центральным предметом исследования ментальный процесс, а не социальный. Таким образом, социальному конструктивисту показалось бы неинтересным, если не сбивающим с толку, теоретическое утверждение вроде «цепной комплекс (в движении ребенка к освоению концептов) по принципу *динамического, временного объединения отдельных звеньев в единую цепь и переноса значения через отдельные звенья этой цепи*»[560]. И наоборот, социально-конструкционистские работы сосредоточены на дискурсе, диалоге, координации, совместном создании значения, дискурсивном позиционировании и так далее[75;561;587].

Наконец, у социальных конструктивистов существует мощная тенденция сохранять тесную связь с эмпирическими установками ценностной нейтральности. Обычно

используются эмпирические примеры, чтобы обосновать ключевые концепции, но без политической и этической рефлексивности, которая бы пришлась по душе конструкционалисту. Для социального конструкциониста ключевыми вопросами являются прагматические результаты как теоретической интерпретации, так и методологического применения. Тем не менее, в своем интересе к реляционному характеру процесса обучения конструкционисты и социальные конструктивисты сходятся.

7.5. Образовательная политика и педагогическая практика

Мы взглянули на несколько проблем, присущих традиционным концепциям знания, и вкратце ознакомились с основами социально-конструкционистских альтернатив. Теперь наша задача заключается в том, чтобы изучить влияние на образовательную политику и практику. Перед этим необходимы два предостережения. Во-первых, далее мы не будем пытаться забыть издавна существующие традиции. Как мы подчеркивали в предыдущих главах, конструкционизм не претендует на место первой философии, основы, на которой можно воздвигнуть новый мир. Мы не пытаемся заменить все традиции во имя истины, этического принципа, политической перспективы или любого другого универсального критерия. Скорее, мы надеемся улучшить и расширить существующие источники на службе глобального благополучия. Этот момент тесно связан с другим: не существует политических или педагогических стратегий, которые нельзя было бы понять через призму социального конструкционизма. Все традиционные практики – к счастью или к несчастью, с переменным успехом – служат затем, чтобы конструировать миры реального и хорошего. На деле же все делают определенный вклад в море понимаемости. Ключевой вопрос состоит в том, могут ли последствия специфически конструкционистского сознания открыть новые многообещающие пути. В этом же ключе мы также обнаружим, что многие существующие инновации соответствуют конструкционистской способности понимать. Однако с определением их сходств мы также открываем

новые горизонты для возможностей. Давайте рассмотрим пять самых важных областей.

От иерархии к гетерархии

Согласно традиционным взглядам на знание как на кумулятивное (экзогенное) и универсальное (эндогенное), образовательные учреждения построены вокруг того, что Фрейре[184] называет «пищевой» моделью. По сути, эта модель – иерархическая, и главная власть находится в руках обществ, создающих знания. Обычно это – эксперты в области, например, ученые и академики. Таким образом, эксперты обнаруживают или открывают правду, которой в итоге научат студентов – или которую им «скормят», если говорить словами Фрейре. Затем, согласно иерархии, следуют эксперты в области образования, например, составители расписаний, которые «расфасовывают» знания в образовательные блоки. За ними следуют администраторы и бюрократы, которые выбирают определенные блоки. Учителя же находятся в самом низу, являясь инструментами для распределения образовательной «пищи» между студентами. От студентов же ожидают, что они будут попросту употреблять, поглощать знания.

Несмотря на повсеместную критику этой модели, она продолжает пугающе точно описывать образовательную практику. Эппл[12] и его коллеги задокументировали иерархические процессы, согласно которым образовательное содержание создается и передается учителям. Механ[369] и его коллеги показали, как студенты в основном остаются пассивными, как от них ожидают лишь впитывать предоставляемые им знания. Несколькими важными способами социальные конструкционисты добавляют этой критике объема. Прежде всего, конструкционисты считают, что все претензии на знание связаны с конкретными обществами, создающими значение. В результате в различных корпусах знания неизменно будут предпочитаться определенные взгляды на благо, например – постоянное улучшение условий (совершенствование), материализм вместо спиритуализма, «разум» вместо «эмоции», индивидуализм вместо коллективизма. В этом смысле, иерархия знания функционирует

тоталитарным способом. Или, говоря словами Фуко[170;172], распространение знания укрепляет отношения власти, в которых пользователь в итоге служит заложником.

На более неуловимом уровне конструкционист считает иерархическую модель шаткой из-за ее стремления подавлять контекстуальные прагматические условия, которые придают авторитетному языку его значимость. С конструкционистской точки зрения, «информированные предложения» получают свое значение из конкретных контекстов использования и функционируют как способ координации действий в этих контекстах. Знание химии, например, служит, чтобы объединить сообщество, определить и наделить ценностью конкретные проекты и идентичности, и помочь генерировать важные результаты для этого сообщества. И все же в иерархической модели информированные предложения лишены такого контекста. Педагоги извлекают корпусы дискурса (и ограниченное количество конкретных подтверждений) из профессиональных дисциплин и передают их тем, кто находится ниже них в иерархии. Прагматическая функция этих дискурсов в самих обществах теряется. Дискурсы теряют свое значение, и студентам часто остается лишь долговая расписка о том, что их обучение *как-нибудь* да окажется полезным и важным. А потому можно учить таблицу Менделеева и выполнять абстрактные лабораторные эксперименты. Но жизнеспособность языка, его практическое значение и живительный потенциал в соответствующем обществе действия становятся размытыми. Эпитет «неуместность» приобретает все больший вес.

Затем, так как авторитетные дискурсы считаются неприкосновенными – произведениями «наших лучших умов» – они склонны двигаться по иерархии изолированно. То есть, они не движутся от сообществ администраторов к учителям, а затем к студентам с предложением «забрать» [знания]. Реципиенты могут прояснять, упорядочивать и сортировать, но авторитетные дискурсы зачастую остаются неприкосновенными. Студенты вступают в эту область, приближаются к ее традициям и выходят из нее. В результате авторитетные дискурсы непросто присвоить для использования во внешних областях жизни. Нельзя просто взять и использовать жаргон физики, экономики, экспериментальной психоло-

гии или алгебры в более общей культурной жизни, потому что его значение так тесно связано с конкретной областью академического использования. В этом смысле, профессиональные дискурсы оперируют параморфно, не столько изменяя существующие формы поведения в мире, сколько сосуществуя в относительной изоляции.

Помимо вопросов власти и деконтекстуализации, конструкционисты подчеркивают проблематику противостояния монологических и диалогических процессов в создании значения. Реципиенту монолога – как в случае с авторитетным знанием – отказывают в праве собственного голоса. Конечная цель монологического образования – это студент, который целиком впитал представленное ему, или, по сути, который стал симулякром авторитета. Какими бы талантами, инсайтами или особым образованием ни располагал человек, он не может поучаствовать в разговоре. А с отказом в праве голоса приходит уничтожение идентичности и, в итоге, побуждение к инертности и бездействию. В подобном ключе Уайз[581] описал, как педагоги и правительства навязывают школам планы обучения и методы, которые во многом отнимают право голоса у учителя. Эппл[12] продолжил этот анализ, рассуждая, как стандартизированные планы обучения, навязываемые учителям, лишают их навыков. Так как с учителями обращаются, будто с техническим персоналом, и просят их лишь выполнять готовые планы, они теряют способность размышлять над более глобальными образовательными вопросами и разрабатывать собственные решения. Как сообщают Ароновитц и Жиру[17], «многие [современные] образовательные реформы сводят учителей к статусу неквалифицированных работников ... чьей основной функцией является проводить реформы, принятые экспертами в высших эшелонах государства и образовательных бюрократических структур»[17].

Другие подобным образом утверждают, что иерархическая модель «лишает навыков» студента. Джексон[283] описывает, как иерархические отношения в школах пресекают творчество и инновации среди студентов. Вуд[585] и его коллеги расширили этот анализ, утверждая, что студентов заставляют «бездумно занимать свое место в мире, который функционирует вне их контроля, не уважая их потребно-

стей»[585]. Как только мы взглянем на реляционные аспекты формирования знания, мы также сможем увидеть, что лишение навыков не происходит равномерно для разных социальных групп. Скорее, так как профессиональные знания во многом плодятся в определенном сегменте общества (преимущественно – среди белых, англоговорящих мужчин из зажиточного среднего класса), дискурсы этого сегмента более значимы (построение сплоченности) в этом контексте, чем в других. Студенты из других слоев общества, которые сталкиваются с этими дискурсами, могут посчитать их далекими и неуместными. В этом ключе мы можем оценить критику Эппла[12], Фрейре[184], Уолкердайна[562] и его коллег, которые описывают, как определенные исторически ущемленные группы – из-за этнической принадлежности, гендера и класса – непропорционально страдают в традиционной образовательной системе.

Какие альтернативы предлагают конструкционисты, учитывая неизбежные проблемы знаний, основанных на авторитете? В этом анализе мы сперва призываем десакрализировать профессиональные знания. Вместо того, чтобы предполагать, что создатели традиционных знаний предлагают «лучшее» или «последнее» слово, давайте поймем, что все претензии на знание происходят из культурно и исторически определенных традиций. Здесь я стремлюсь не отрицать их ценность, а осознать, что такие ценности тоже условны. Например, умение рисовать обычно предполагает ценность самовыражения и эстетики; знание медицины предполагает ценность лечения того, что мы считаем болезнью. Все эти ценности – условны и открыты для обсуждения. Таким образом, вместо того, чтобы осваивать навыки монолога, мы можем считать, что эти дисциплины предлагают ресурсы, которые могут быть или не быть ценными в зависимости от определенного условия жизни. Располагая знание таким образом, мы предлагаем перейти от монолога к диалогу – от иерархии к гетерархии. Мы приглашаем всех порассуждать о предмете, о его ценности и уместности.

Джон Дьюи[143] однажды высказал мощные аргументы в пользу того, чтобы считать образование плодотворной почвой для демократии. Однако эти взгляды были предложе-

ны в то время, когда считалось, что знание – объективно и политически нейтрально. С конструкционистской позиции, любое знание зависит от точки зрения и пронизано определенными ценностями. Таким образом, войти в область знания – значит ступить в определенную форму жизни. Такой вход сам по себе – это не шаг навстречу демократии; он значит выбор одного голоса при возможном отказе от других. В этом смысле, данные аргументы являют собой крепкую поддержку современного движения навстречу многоголосию в образовании и попыткам наделить властью тех, кого по традиции исключали из процесса формирования знания. Бейер и Эппл[52], например, утверждают, что «осмысленная реформа плана обучения должна произойти в тех институтах и от рук тех людей, которые ближе всего связаны с жизнью учеников: учителей, директоров, учеников и членов сообщества»[53]. Вместо того, чтобы считать учителей техническим персоналом, обученным распространять авторитетные знания, многие желают усилить роль учителей как «создателей планов обучения». Например, проекты «исследования действий» тренируют учителей исследовать их собственные интуитивные пожелания относительно образовательного процесса[270]. Вместо того, чтобы принимать объяснения обучения и учебы от экспертов, учителя, участвующие в исследовании действий, собирают собственные данные и решают вопросы образования самостоятельно. Во многих случаях это приводит к более контекстно-специфическому использованию знания.

И все же процесс формирования плана обучения также должен включать и учеников, родителей и сообщество. Что касается студентов, уместно предложение Вуда[585] о планах обучения: «В содержании нам (следует) предоставить студентам инструменты для демократической жизни и видение возможностей в нашем общем социальном контексте. Что же касается формы, план обучения должен привлекать учеников к настоящему принятию решений в совместном сообществе равенства и справедливости»[583]. Принятие решений в школе Садбери Вэлли является примером: здесь на еженедельных школьных собраниях учеников и сотрудников школы все рассуждают о повседневных практиках и стратегиях в школе[230]. В другой образовательной иници-

ативе Клэр Эйзелен установила дополнительный план обучения для одаренных студентов:

> Каждый год небольшие группы начинают занятия со своим учителем в пустом классе. Там еще нет ни книг, ни бумаг, ни расписания. В комнату не попадает ничего, кроме тех вещей, которые приносят сами ученики. Вещи приобретают значение от того, как люди с ними обращаются и как они их используют. Ценность идей появляется таким же образом. У детей возникают идеи и образы, и некоторые из них складываются в проекты. Совместная жизнь начинает требовать некоторых правил. Маленькие группы начинают их конструировать; более крупные группы могут их критиковать. Тем временем начинают проявляться проекты и идеи, и из них постепенно рождается большее культурное целое. К концу года класс забит вещами, которые создали ученики, и которые явственно говорят нам о человеческом опыте, возникая из сконструированной культуры в рамках нашего собственного человеческого сообщества. Класс выглядит как множество выпусков *Курьера* ЮНЕСКО, воплощенных в одном месте.[237]

В заключение мы можем последовать предостережению Латера[321] о том, что нам следует перестать претендовать на универсальные знания, которые подходят для общего плана обучения, и перейти к контекстно-специфическим пониманиям, которые учитывают интересы всех задействованных сторон в конкретной образовательной ситуации.

Вне дисциплин знания

По традиции считается, что термины в нашем языке приобретают значение благодаря связям со специфическими референтами из реального мира. У нас есть такие слова, как «лев», «кролик» и «слон», потому что мы хотим различать три разных вида животных. Однако конструкционист оставляет такую картину языка в пользу концепции, основанной на использовании, где значение слов прослеживается к активным отношениям, в которых они играют роль. Таким образом, значение слова «агрессивный» происходит

не от конкретной данной величины в мире, а из лингвистических контекстов, в которых оно используется людьми, чтобы что-то делать друг с другом (например, указывать на действие, обвинять, готовить речь). Таким образом, его значение существенно изменится в зависимости от того, работает ли человек с другими людьми, чтобы ввести куда-то войска, развить бизнес-стратегию или побороть раковые клетки. Таким же образом «лев» может означать абсолютно разные вещи в зависимости от того, говорит ли человек о джунглях, о созвездиях или о театральном представлении. В основном именно этот многозначный характер слов, их способность использоваться в разных контекстах отношений наделяет язык гибкостью и допускает неуловимые нюансы действий в любой обстановке.

За последние сто лет предпринималось много попыток обозначить области знания – химия, физика, история и так далее. План обучения обычно составляется так, что ученикам предлагается минимально ознакомиться с множеством разнообразных областей, чтобы в итоге выбрать и глубоко постичь хотя бы одну из них. Однако, с конструкционистской точки зрения, границы знаний в основном полезны для тех, кто работает в конкретной области исследований. Они позволяют сообществам «создателей» знания генерировать достижения в рамках своих традиций. Хотя можно многое рассказать о преимуществах образования в таких областях, образовательные процессы, обусловленные дисциплинарностью, крайне проблематичны.

Поначалу многие ключевые для культуры вопросы либо поверхностны, либо абсолютно не связаны с существующими дисциплинами изучения. Дисциплинарные программы действий редко определяются национальными или местными программами; они обычно остаются внутренними, и их почитают внутренние же обитатели. Таким образом, общество обычно с презрением относится к «высоколобым», а те, в свою очередь, с презрением смотрят на «низкий уровень» общественных рассуждений. К сожалению, традиционные дисциплины медленно и беспорядочно делают свой вклад в развитие национальных диалогов об абортах, социальной справедливости, ухудшении окружающей среды, процветании Интернет-коммуникаций, социальных конфликтах,

проблемах геев и лесбиянок, реформе системы социального обеспечения и здравоохранения и так далее. Когда ученые высказываются на такие темы, их часто критикуют их же коллеги за то, что они «продаются», «популяризируются» или «ищут внимания». И все же, как утверждают Ашер и Эдвардс, «дисциплины как систематические корпуса знания – это еще и регуляционные режимы ... через которые осуществляется власть»[550].

Поскольку образование касается качества и эффективности социальных размышлений и действий, можно много чего сказать в пользу освобождения планов обучения от требований дисциплинарности. В до-профессиональном образовании на первое место может встать освобождение дискурсов и практик от их дисциплинарных позиций. В позиции Витгенштейна дисциплинарный дискурс можно и вовсе на время отставить в сторону. Вопросы практического общественного (или частного) интереса могут определять порядок действий для образования. Когда ученики сталкиваются с главными вопросами своего времени, их не должны сдерживать инструменты ограниченного предмета изучения. Скорее, они должны иметь возможность свободно передвигаться между любыми областями, необходимыми для достижения их целей – обыскивать, заимствовать, распутывать, отнимать, сочетать, переформулировать и объединять эти области любыми способами, необходимыми для наиболее эффективного результата. Например, студенты, которые работают над решением проблемы с загрязнением местных вод, могут обнаружить, что им нужны статистические методы, ряд экологических концепций, исторические источники и стихотворение для риторического воздействия. Так же, как различные словари отношений открыты для постоянной реконструкции, так и мы находим оптимальные позиции в стремительно меняющихся условиях.

Конкретизируя эту точку зрения, департаменты образования в штатах Коннектикута и Мэриленда[33] попытались преобразовать способы оценивания успеваемости учеников в 9–12 классах. В частности, их целью было сместить ударение с обычного пережевывания накопленных фактов (излюбленного сторонниками позиции «разум – это чистый лист») и приспособить оценку к тем способам, кото-

рыми ученики используют и сочетают различные навыки в новых трудных контекстах и сообщают о своих выводах окружающим. Таким образом, ученики могут работать индивидуально или в группах, чтобы решать сложные, многоуровневые проблемы, собирать данные, анализировать, интегрировать, интерпретировать их и сообщать о своих результатах реальной аудитории. По мнению педагогов, такие задания позволяют студентам «конструировать значение и структурировать исследования» для определенной аудитории. Таким образом, образовательный акцент перемещается с подготовки студентов к обычному повторению регламентированных и стандартизированных дискурсов на развитие навыков для работы в трудных и переменчивых условиях вне образовательной сферы. Эти аргументы в пользу «подлинной оценки» – связанной с навыками, необходимыми для существования в мире в целом – тесно связаны с ударением на значении в практике.

Навстречу значению в практике

Согласно традиционным объяснениям, образование функционирует, чтобы создать информированных людей, которые, благодаря своим знаниям и/или рациональным способностям, готовы к эффективным действиям в любой ситуации, с которой они могут столкнуться. Образование необходимо для освоения и сохранения знаний; а последующая жизнь предоставляет условия для их использования. Пауло Фрейре высказал одну из основополагающих критических позиций относительно итогового способа образования:

> Учитель говорит о реальности так, будто она неподвижна, статична, категоризирована и предсказуема. Либо же он рассуждает на тему, которая не имеет абсолютно никакого отношения к экзистенциальному опыту учеников. Его задача – «наполнить» учеников содержимым его повествования: содержимым, которое чуждо реальности, не связано с той системой, которая дарит этим ученикам жизнь и придает значение. Слова лишаются конкретности и становятся пустым, отчужденным и отчуждающим словоблудием.[183]

Как мы утверждали выше, язык во многом приобретает свою ценность из того, каким образом его используют люди в конкретных контекстах. В таком случае трудность образовательного процесса заключается не в том, чтобы поместить факты или теории в индивидуальные разумы, а в том, чтобы генерировать контексты, в которых бы объединялись дискурс и практика – контексты, в которых диалоги можно связать с постоянными практическими исследованиями людей, обществ и наций. Фактически конструкционист предпочел бы существенно сократить канонизированный план обучения, согласно которому ученики обязаны ходить на уроки потому, что они необходимы для других предметов или для получения степени. Слишком редко материал предмета непосредственно связан с практическим контекстом использования этого материала, и слишком часто материал предмета применим лишь в возвышенной и ограниченной атмосфере системы образования. Скорее, конструкционист предпочел бы практики, в которых ученики работают вместе с учителями и друг с другом, решая важные вопросы и занимаясь тем, что требует наибольшего активного участия. Например, если ученики интересуются вопросами экологии, расового ущемления, абортов, наркотиков, индустрии рок-музыки, требований модной индустрии, форм самовыражения и так далее, можно ли разработать проекты, которые создадут необходимые навыки? Могут ли ученики взаимодействовать с участниками этих областей, собирать необходимые материалы, читать касающиеся темы книги и статьи, обсуждать их друг с другом и, наконец, формулировать взгляды, которые можно представить вниманию родителей, полиции, руководителей бизнеса, представителей правительства и так далее? Следовательно, для конструкциониста образовательные диалоги должны быть как можно теснее связаны с обстоятельствами применения. Брунер[78] предложил позицию «знания как действия». Он утверждает, что «основываясь на том, что мы узнали за последние годы об обучении человека, (мы работаем эффективнее всего), когда это обучение – интерактивное, проактивное, совместное, коллаборативное, и скорее конструирует значения, чем получает их»[78]. Мы полностью с этим согласны.

Но, с другой стороны, почему образование должно готовить нас к совместному существованию, а не совместное существование – определять границы адекватного образования? Чтение, письмо, математика и лабораторные эксперименты не должны быть барьерами, через которые следует перепрыгивать под угрозой наказания. Они также не являются кирпичиками хорошей жизни, которая ждет нас в далеком будущем. Скорее, в оптимальном случае они могут послужить ресурсами для постоянных диалогов и связанных с ними практик. Обладать книгами – это все равно, что иметь дополнительных участников в диалоге. Например, математика бы больше не была ненавистным лекарством для многих людей, которое они должны проглотить, даже если они не могут выговорить болезнь, от которой эта математическая пилюля лечит, по словам других. Скорее, математические методы могут стать необходимыми инструментами для достижения цели – для определения важных изменений в явлении, для оценки издержек и выгоды, для чтения демографических графиков или для эффективной передачи результатов собственных попыток другому человеку.

Чтобы проиллюстрировать возможности, давайте рассмотрим программу обучения, по которой учатся в медицинской школе в Лимбурге, Нидерланды. Традиционное медицинское обучение основывается на экзогенном взгляде на знание, согласно которому практическое участие должно наступить лишь после «наполнения разума». Таким образом, может пройти три года обучения, прежде чем студенты начнут активно работать с задачами и трудностями медицинской практики. И все же в лимбургском эксперименте новоприбывшего студента тут же отправляют на стажировку к практикующему доктору. Так как проблемы встречаются в практической обстановке, они поднимают вопросы, на которые студент не может ответить, не обратившись к соответствующим источникам (книгам, журналам, статистическим графикам). В процессе поиска и использования этих источников студент становится более эффективным стажером, в результате чего у него возникает больше вопросов о практической значимости, которые, в свою очередь, снова отсылают его к необходимым источникам. Работая в полную силу, студент очень мотиви-

рован получать информацию, и это приобретение связано с конкретными контекстами применения. В этом смысле, конструкционизм отдает предпочтение как учебным программам, разработанным конкретными сообществами, так и стажировочным процессам обучения[446].

Навстречу рефлексивному размышлению

Поскольку профессиональные общества координируются вокруг представлений о реальном и хорошем, они склонны обосабливаться от того, что лежит за их границами. Это не просто вопрос двух культур – точных и гуманитарных наук – а разграничение между дисциплинами в рамках точных и гуманитарных наук и между подсекторами этих дисциплин. (Например, Американская психологическая ассоциация сегодня перечисляет 50 подразделов, многие из которых ведут собственные журналы, профессиональные встречи, репутационные иерархии и так далее). Что важнее всего для целей данной книги, в дискурсивном обществе существует мало возможностей сомневаться в собственной правомерности – в своих силах, слабостях, ограничениях и запретах. Например, в точных науках можно с легкостью усомниться в достоверности определенной части исследований, но при этом о ценности самого исследования речь не идет. Затем, есть мало способов признать потенциал альтернативных точек зрения. Например, человек, опытный в физиологических исследованиях, имеет мало возможностей усомниться в правомерности физиологии как формы истины или признать преимущества, получаемые из альтернативных дискурсов вне этой области (например, из психологического, духовного или эстетического). На деле физиологический дискурс (как и все остальные) ссылается сам на себя и основывается на самом себе, и потому ему не удается привлечь в диалог альтернативные формы артикуляции.

Согласно предыдущему акценту на переходе от авторитарного монолога к диалогу в образовательной среде, необходимы способы для того, чтобы открыть авторитарные языки для рефлексивного размышления. То есть, авторитарные дискурсы нужно открыть для оценки с альтернативных точек зрения, включая авторитарную и нефор-

мальную. Предлагая любой профессиональный дискурс для рассмотрения равноправным специалистам из других областей, мы можем рассмотреть сильные и слабые стороны изучаемой работы и добавить новые измерения последующим диалогам. Например, можно рассматривать биологические тексты с точки зрения главных метафор, используемых в них (литература), или литературные тексты – с точки зрения скрытых политических идеалов. Когда мы открываем авторитарные дискурсы для локальных и неформальных точек зрения общества, такие дискурсы ставятся под сомнение, а диалог при этом обогащается. В любом случае, аналитик также может осознать преимущества и недостатки точки зрения, которой он придерживается.

Такой интерес к рефлексивному размышлению открывается с новой стороны в свете длительных обсуждений «скрытого учебного плана» – термина, связанного с убеждениями и ценностями, которым школы учат подспудно. Согласно аргументу со скрытым учебным планом, все дискурсивные практики несут в себе соответствующий ряд ценностей и практик. Таким образом, внедрить профессиональный дискурс (и способы обучения этому дискурсу) – это также значит непрямо впитать его скрытое влияние на культурную жизнь. Например, Боулс и Гинтис[66] описали, как, в частности, учеников из рабочего класса призывают к послушанию, пассивности и неоригинальности. Эппл[12] обсуждал, как производство учебников и других материалов для учебного плана превращает ценности и убеждения определенных групп в «официальное» знание. Ароновитц и Жиру[17] утверждают, что массовые ожидания большинства систематически лишают подчиненные группы академического успеха, а также укрепляют и оправдывают ценности доминантных групп. Подобным образом Бейер и Эппл[53] утверждают, что вместо того, чтобы создавать жителей, способных сформулировать свои взгляды на нашу коллективную жизнь, школы создают работников, готовых подчиняться указаниям других.

Большинство заинтересованных во влиянии скрытого учебного плана ставят особое ударение на педагогике критики. Критическое размышление служит функциям эмансипации. Критику, безусловно, нужно приветство-

вать; именно с ее помощью в остальном маргинализированные группы обретают уверенность в собственной позиции. Однако стоит отметить две проблематичные черты такой рефлексивности: во-первых – исключительная сосредоточенность на критике, а во-вторых – преданность освобождающим ценностям. Как предполагалось в 3 главе, хотя критическая рефлексивность необходима, она также разграничивает нас. Критика обычно не наделяет обсуждаемые дискурсивные сообщества внутренней рассудительностью – с их собственными «разумными рассуждениями для разумных целей». Предположить, что «скрытый учебный план» вреден – значит подавить голоса тех, кто принимает его ценности. Использование одной лишь критики подавляет потенциал таких дискурсов и практик, а их применение для локальных целей осуждается. С реляционной точки зрения, разработанной здесь, критика должна дополняться способами восприимчивого исследования. Цель рефлексивного размышления – не усугубить пропасть между культурными анклавами, а обогатить формы культурной жизни с помощью процессов переплетения.

Также, как было указано, в большинстве критических анализов также предпочитается альтернативный, освободительный порядок действий. Например, МакЛарен подчеркивает «ведущие референты: свободу и вызволение»[364]. Жиру[219] утверждает, что мы должны развеять миф об официальном и скрытом учебных планах, пролив свет на оценочные варианты выбора, которые в них скрываются, а затем исследовать альтернативы этим «мэйнстримовым» убеждениям и ценностям. Ароновитц и Жиру утверждают, что мы должны «твердо признать преданность культуральным различиям, центральным для обучения и гражданства»[17], и что мы должны «обучать студентов сохранять и оберегать принципы и традиции, необходимые для демократического общества»[17].

С данной точки зрения, хотя такие обязательства представляют собой ценные традиции в культуре, они также ограничивают разговор. Они тоже происходят из авторитарных сообществ создателей знания, и потому они склонны к изоляции, подавлению и саморационализации. Например, как образовательный процесс может принять тех, кто

не верит в равенство всех голосов – от традиционных индусов или католиков до тех, кто не «жалеет розги»? И каким понятием равенства нам нужно руководствоваться в принятии решений: равенство возможностей, в котором все получают одинаковые шансы, но те, у кого что-то не получается, остаются позади; или равенство результата, в котором каждый гарантированно добивается определенного успеха? Сталкиваясь с таким различием, либеральный учебный план оказывается под риском иерархии и ущемления, как и те институты, которые уже находятся под атакой.

Эти ограничения едва ли остались без внимания. Аронович и Жиру[17] напоминают нам, что мы не должны снисходительно навязывать «альтернативные» взгляды ученикам и учителям. Как отмечает Латер, «Слишком часто, привязавшись к собственной версии истины и интерпретируя сопротивление как «ошибочное сознание», освободительным педагогикам не удается уловить степень, в которой «расширение возможностей» становится чем-то, что выполняется «руками» освобожденных педагогов «для» или «ради» еще-не-освобожденных»[321]. С нашей точки зрения, не существует способов, которыми педагогическая практика может избежать критики за то, что она отдает предпочтение этноцентрически ограниченному взгляду на благо. Невозможно избежать традиций отношений. Однако, так как именно в отношениях генерируются концепции блага и истины, существование различий предлагает развитие новых форм связи. То есть, следует искать формы взаимодействия, из которых разрозненные группы могут сформировать новые и, возможно, более инклюзивные понятия блага. Вдобавок к педагогикам оценки и критики, важно развить способы креативного взаимодействия, практики, которые позволят креативным объединениям заменить конфликт и враждебность. Мы вернемся к этому вопросу в 10 главе.

Навстречу генеративным отношениям

В традиционных взглядах на знание как на нечто «в индивидуальных разумах» предпочитается четкое различие между учителем и учеником. Учитель «знает», а студенты вынужденно оказываются в положении объектов «на

операционном столе» – их разумы нужно наполнить содержанием или рассуждениями. С конструкционистской точки зрения, человек не обладает содержанием или суждениями – он, скорее, участвует в них. Информированные и рациональные утверждения – это не внешние проявления внутреннего разума, а реляционные достижения. То, что считается разумом, памятью, мотивацией, намерением и так далее – все это является результатом скоординированных действий и переговоров в сообществе[54;152;390]. Для педагога-конструкциониста главная задача заключается в том, чтобы сделать вклад в генеративные отношения – отношения, из которых ученик выходит с расширенным потенциалом эффективного взаимодействия. Роль студента меняется с объекта, требующего улучшения, на субъект отношений.

Сегодня существует достаточно исследований реляционного процесса в классе. Например, Эдвардс и Мерсер[151] исследовали общие для класса значения и задачу учителей, которая заключается в том, чтобы сделать явными обычно скрытые или подразумеваемые правила того, что является общим. Прекрасно скоординированный анализ совместно конструируемых миров учителя и ученика, особенно в контексте оценивания, содержится в работе Гроссена[234]. Уортэм[587] демонстрирует способы, которыми взаимодействия в классе можно смести конкретными примерами предмета обсуждения. Уолкердайн[561;562] исследует жизнь учеников как участников дискурсивного режима школы и демонстрирует способность ученика занять множество разных позиций в дискурсе. Еще одно исследование позволяет нам увидеть рациональное мышление как процесс, *распределенный* между участниками в классе[457].

Однако важнее всего – вопрос о том, как фокус отношений может обогатить педагогический процесс. Как бы строились образовательные процессы (вместо класса, сосредоточенного на предмете изучения или на ребенке), если бы отношения стояли на первом месте? В этом контексте можно полнее оценить ограничения лекции или монологической презентации учителя. С конструкционистской точки зрения, лекторы в первую очередь демонстрируют собственные навыки в принятии дискурсивных позиций. Хотя

и можно добиться некой пользы, предлагая ученикам модели для роли авторитета, этого взаимодействия с моделями недостаточно, чтобы они смогли сделать то же самое самостоятельно. Если говорить прямым текстом, от учеников скрывают именно те процессы, которые необходимы для публичного создания авторитета. Часы подготовки – перечитывание текстов, просматривание конспектов, изучение новых источников, обсуждение с коллегами, презентации методом проб и ошибок в предыдущих контекстах (все, что может понадобиться для исчерпывающей лекции) – по сути, скрывают из виду ученика. Такое скрывание, естественно, очень важно, чтобы поддерживать миф об авторитете как об индивидуальной «собственности» – «моя лекция демонстрирует превосходство *моего* разума». Однако такие подготовительные действия – это лишь погружение в непрерывные диалоги в области, и то, что один человек произносит с кафедры – это лишь локализованное проявление этих диалогов. Скрывать этот ряд подготовительных возможностей участия – значит не только поддерживать проблематичный миф, но и отказывать ученикам в доступе именно к тем процессам, в которых им необходимо участвовать, чтобы эффективно взаимодействовать.

Если переместить фокус с индивидуального на отношения, мы снова можем оценить работу социальных конструктивистов над процессами обучения с помощью учителей, семиотической стажировки и отношений в зоне проксимального развития[39;303;318;586]. Все они определяют область обучения в реляционной матрице. Однако, вероятно, самым заметным результатом конструкционистского мышления на данный момент является возникновение коллаборативного или кооперационного обучения[57;481]. По словам Кеннета Брюффи[75], коллаборативное обучение – это процесс, в котором постоянное взаимодействие между учениками служит главным инструментом образования. Человек учится через взаимодействие, включение и критическое исследование вместе с остальными. В идеале, благодаря социальному взаимодействию развиваются навыки артикуляции и реакции, а также открываются новые возможности конструирования мира. Обучение становится «перемещением в наших основанных на языке отношениях с други-

ми». В другом изобретательном примере коллаборативного обучения, писатель Кен Кизи работал со своим классом по литературному творчеству из 13 студентов в университете штата Орегон над тем, чтобы написать и опубликовать коллективный роман, *Пещеры*[292]. В других контекстах подобная логика приводила к созданию продуктов, подобных книгам (включая компьютерные файлы, видеокассеты, фильмы, памфлеты), которые сами по себе могут являться вкладом для других групп (родителей, городских властей, членов общества) или классов. С той же целью классы работают вместе над разработкой позиций в дебатах, материалов для обучения других или официальных сообщений для учеников-единомышленников из других частей света.

И все же коллаборативное исследование можно считать лишь началом исследования необъятного потенциала образования, построенного вокруг отношений. Таким образом, мы обогащаемся благодаря исследованиям форм и потенциала диалога в классе[31;572] и изучением важности дружбы в отношениях между учителем и учеником[438]. Также приветствуется расширение концепции отношений, чтобы включить в нее не только социальные отношения в классе. Именно здесь педагогические инновации социальных конструктивистов могут сыграть особенно важную роль. Вдохновленная работой Выготского, концепция отношений расширяется и включает в себя различные инструменты и физические материалы, которые встречаются в образовательном процессе. Однако не существует принципиальных границ для периметра отношений. Мы уже прокомментировали отношения между школой и обществом и национальным порядком действий. Мы лишь начинаем ценить масштабы в полной мере основанного на отношениях обучения.

7.6. В заключение

Хотя обычно такие споры – очень пылкие, в них никто не выступает за полный отказ от традиционных образовательных практик. Все практики конструируют мир собственным способом, содержат определенные ценности и способствуют формированию определенных видов буду-

щего за счет других. Здесь мы предлагаем альтернативу традиционной эпистемологии, которая открывает новые возможности для практики. Мы предполагаем, что социально-конструкционистский взгляд на знание способствует большей демократии в обсуждении того, что важно в образовательной практике, а также локальному определению планов обучения, нарушению дисциплинарных ограничений, закреплению дисциплинарных дискурсов в общественно релевантных практиках, образовательной практике в общественных вопросах и переходу от способов обучения, сосредоточенных на предмете или на ребенке, к тем способам, которые сосредоточены на отношениях. Многие из этих вопросов не новы для диалогов об образовании. И в этом смысле, социальный конструкционизм во многом поддерживает определенные существующие инициативы. Однако, с нашей точки зрения, нам все еще предстоит открыть путь к полному потенциалу конструкционистской эпистемологии.

8

ЭТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Во многих отношениях на хаотическое стремление к глобальному организовыванию можно смотреть настороженно. В предыдущих столетиях лишь император, Папа, король или фюрер обладали достаточной властью и ресурсами, чтобы вообразить себе глобализацию – возможность бесконечного расширения границ влияния, владений, дозволенности и/или самовозвеличивания. С развитием в 21 веке дешевых технологий коммуникации и транспорта потенциал глобализации стал доступен буквально всем – от юных активистов на площади Тяньаньмэнь и винодела в сельской местности Аргентины до изготовителя бумажных полотенец в маленьком городке. Из-за насущной потребности в расширении рынка и в дешевой рабочей силе и материалах самый агрессивный рывок навстречу глобализации, вероятно, совершило бизнес-сообщество. И, в частности, именно транснациональные корпорации подверглись наибольшей критике. Глобальное расширение бизнеса неоднократно разносили в пух и прах за эксплуатацию иностранных работников (в частности женщин и детей), беспощадное уничтожение природных ресурсов, торговлю ненужной продукцией и разрушение местных культур. Хор критиков нарек транснациональные корпорации худшим примером этического сознания[323;332;528;544;556].

Такая критика редко оставалась без ответа. Защитники глобализации указывают на то, как транснациональные корпорации улучшают возможности трудоустройства для тысяч людей, которые иначе бы обнищали, создают предпринимательскую инфраструктуру в странах Третьего мира, способствуют демократизации в остальном автократических народов*, и даже помогают положить конец апар-

** Автократия – самовластие, самодержавие. (прим. пер.)*

теиду в Южной Африке. Более того, комментаторы указывают на потенциал глобализации для альтруистических и дающих жизнь намерений, приводя в качестве примера процветание международных добровольческих организаций[113]. Однако большинство аргументов в пользу глобализации и, в частности, корпоративного сектора, остаются защитными. Предпринимается множество попыток создать этические рекомендации и избежать нежелательной рекламы (путем развития отделов по связям с общественностью). Но в целом они остаются довольно сдержанными по отношению к этической стороне глобализованной экспансии.

В этой главе я хочу начать дискуссию о том, что, как я считаю, имеет гораздо более многообещающий потенциал для глобальных организаций. Я считаю, что вместо прошлых извиняющихся или защитных позиций глобальным организациям пора развивать потенциал этического лидерства. Сегодня на международном уровне существует огромная лакуна в области этического лидерства. Я считаю, что глобальные организации, и транснациональные корпорации, в частности, сегодня обязаны принять на себя эту роль. Чтобы развить этот аргумент, я сперва расскажу о неспособности других потенциальных кандидатов к этическому вдохновению. Затем я сосредоточусь на переходе от модернистских к постмодернистским формам организовывания. Я считаю, что именно в постмодернистском процессе организовывания мы можем найти стимул к пересмотру этического потенциала глобальной организации. Этический потенциал постмодернистского организовывания реализуется, в частности, через *реляционный процесс*. В конце же я продемонстрирую этический потенциал таких практик, основываясь на недавней работе транснациональной фармацевтической корпорации.

8.1. Этическая задача глобализации

Для начала важно поместить проблему организационной этики в более глобальный контекст. Это краткое изложение предупредит любое самодовольное упрощение блага и зла – например, оно помешает натравить злонамеренных завоевателей на невинные культуры Третьего мира. Что важнее, мы обнаружим, что сам процесс глобализа-

ции делает вопросы блага беспрецедентно важными. Чтобы оценить это, необходимо сначала рассмотреть социальное происхождение этических предпосылок. Фактически, любая форма социальной организации воплощает в себе разделяемую внутренне онтологию (согласованный взгляд на «реальность») и этическую чувствительность (повседневное следование тому, что в обществе считается достойным и желанным, в отличие от неуместного или предосудительного). Необходимо прийти к согласию о природе реальности и о ценности определенных действий в отличие от других, чтобы сформировать организационную культуру[569]; без такого согласия организация перестанет быть эффективной. В общем, убеждения о благе – это достижения сообщества[350].

Поскольку организации полностью интегрированы в локальные сообщества, организационные онтологии и этика представляют собой небольшую проблему. Когда конструкции общества о том, что *есть* и что *должно быть*, полностью отражаются в работе его бизнеса, правительственного аппарата, религий и так далее, экспансия и укрепление этих институтов лишь способствует общему восприятию блага в обществе. Однако когда организации расширяются на новые территории, появляется тенденция, в которой реальность в организации отклоняется от окружающего общества. Организационное понимание блага может крайне противоречить локальным представлениям.

В таких условиях глобализация представляет собой невероятное усиление этического конфликта. По мере того, как организации расширяются на зарубежные территории, они привносят чуждые конструкции реального и хорошего. С точки зрения самих организаций, их действия разумны, даже похвальны; местные традиции кажутся провинциальными, устаревшими или даже предосудительными (и, конечно же, поэтому их нужно изменить). С местной же точки зрения, однако, способы жизни, предпочитаемые глобализирующей организацией, кажутся захватническими, бесчувственными по отношению к местным обычаям и обществу и даже глубоко аморальными (например, реакция мусульманских фундаменталистов на многие западные корпорации и продукцию). [В обществе] существует

важное настроение, в котором большинство бранных слов в адрес транснациональной корпорации возникает именно из этого условия – корпорацию оценивают по стандартам, которые во многом ей чужды или истолковываются внутри организации совсем не так, как вне ее.

В таких условиях мы не считаем организации, стремящиеся к мировому господству, морально ущербными; «моральная ущербность» – это эпитет для аутсайдера. Скорее, проблема заключается во множестве противоречащих друг другу конструкций хорошего. И, не имея возможности разрешить эти конфликты, мы сталкиваемся с проблемой ухудшения отношений, законных препирательств и даже кровопролития (например, взрыв Всемирного торгового центра, убийство священников в Африке, похищение коммерческих директоров в Колумбии и мафиозные разборки среди российских бизнесменов).

8.2. Проблематика принципов и санкций

С этой точки зрения, мы находим, что проблемы этического поведения – это не обязательно проблемы злоумышленного намерения. Нам не стоит мыслить категориями вредоносной деятельности мультинациональных корпораций, противопоставляя ее чистоте традиционной культуры (или наоборот). Скорее, этические проблемы, прежде всего, возникают из столкновения общественных (или культуральных) стандартов действий. Предполагается, что стремительный переход к глобализации приводит к невероятному росту этического конфликта. Какие же ресурсы доступны для вынесения приговора, исправлений или координации в таких условиях? Как нам продолжать? Возможно, самой привлекательной альтернативой является выделить ряд стандартов или идеалов, к которым могут (или должны) стремиться все. Это – территория философов, бизнес-этиков и специалистов по правам человека, интересующихся привитием универсальных благ или ценностей. И все же я нахожу немного причин для оптимизма в этой области. Прежде всего, после двух тысяч лет [существования] моральной философии человечество до сих пор не пришло к консенсусу – даже в западной культуре – по вопросам блага. Как это рассуждение характеризует МакИнтайр[350], оно одновре-

менно «бесконечное и неразрешимое»[350]. Когда такие стандарты двигаются от культуры к культуре, конфликты становятся еще глубже. Например, западные принципы прав женщин провоцируют жестокое отторжение в мусульманской культуре. Кто же в таких условиях вправе «назначить этику» для всех? Даже мультинациональные попытки «высечь» универсальный стандарт прав человека не увенчались особым успехом. Такие платформы не только презираются государствами, которые чувствуют, что те пошатнут их власть, но и абстрактные принципы редко диктуют особые действия в конкретных обстоятельствах[198].

Учитывая сложности в установлении универсальной этики, большинство проблем неодобряемого поведения попросту решаются согласно закону. Таким образом, в сфере глобальной организации обычно используются международные торговые комитеты, международные трибуналы, департаменты Объединенных Наций и так далее, чтобы предотвратить чрезмерные нарушения ситуативных восприятий блага. Хотя такие попытки полезны, они все же ограничены. По большому счету, такие санкционирующие попытки реактивны; они активируются только тогда, когда возникают проблемы. В этом смысле, они всегда находятся в погоне за демонами, которые уже пустились наутек. И здесь немного перспектив для позитивных взглядов на будущее. Более того, они генерируют раскол между «нами» и «ними» – между руководящими и оценивающими организациями с одной стороны, и теми, кого они осуждают – с другой. Результат для последних организаций заключается в возникновении стратегической чувствительности: все действия приемлемы, пока они не вызывают подозрений у санкционирующего органа.

В случае как с моральным принципом, так и с прагматическими санкциями, вероятно, главная проблема – это внешнее происхождение. То есть, в обоих случаях попытки преследовать хорошее возникают вне самой организации. Организация должна установить принципы или действовать согласно правилам, созданным где-то в другом месте. Они должны принять особую точку зрения, не свойственную привычной деятельности самой организации. Если нужно добиться широко признаваемого понятия блага, бо-

лее оптимальное решение содержалось бы во внутренних практиках организации – практиках, которые ценятся участниками в их собственном восприятии миссии. Именно такой ряд практик и возникает в переходе от модернистской к постмодернистской организации.

8.3. Недостатки модернистской организации

С тем, как поле этического конфликта расширяется в геометрической прогрессии, а попытки установить этические принципы и узаконить благо оставляют желать лучшего, какие другие источники нам доступны? Именно здесь я хочу предположить, что глобализирующая организация само по себе может предоставить самую многообещающую альтернативу. Я не имею в виду саморегулируемые организационные стратегии или принятие специфических этических кодексов поведения для глобализирующей организации. Такие стандарты неизбежно были бы «локальными» в смысле репрезентации внутренних концепций блага. Скорее, я говорю о формах организационной практики, которые, на самом деле – единственные, которые подходят для жизнеспособности глобализирующей организации. Такое предположение поначалу может показаться ироничным. Ведь все же мы проследили происхождение проблемы этического конфликта именно к самому глобализирующему процессу. Однако, как я попытаюсь продемонстрировать, такой конфликт во многом происходит из расширения в определенной форме организации. В итоге требуется преобразование самого процесса организовывания. А потому давайте обратим внимание на контрастирующие концепции организации.

Как мы обсудим в следующей главе, сегодня существует множество литературы о меняющейся природе организации в двадцатом веке, и большинство комментариев сосредоточено на главных трансформациях последних десятилетий. Существует множество способов обозначить эти изменения, и самими выдающимися являются такие термины, как пост-индустриализация, век информационных технологий, хаос-менеджмент и постмодернизм. Чтобы сохранить согласованность со многими предыдущими моими предположениями[193;211], я буду использовать термин *модер-*

нистский, говоря об идеальной форме организации, к которой в разной степени приближалось большинство главных корпораций (наряду с военными, образовательными и правительственными институтами) в западной культуре уже больше столетия. Затем мы можем называть возникающие процессы организации *постмодернистскими*. Ниже я вкратце охарактеризую главные черты модернистской организации наряду с ее слабыми местами – практическими и этическими – в контексте глобализации. Это подготовит путь для обсуждения этического потенциала постмодернистского организовывания.

Вкратце модернистскую организацию сперва можно охарактеризовать как иерархическую по своей форме[49;100;123;185;355]. В простом случае один актор принимает командование (ответственность, контроль) над группой подчиненных. В расширенном виде формирующий стратегии комитет под влиянием подчиненных, ответственных за сбор соответствующей информации, диктует действия организации. В любом случае директивы идут сверху вниз, а информация (или обратная связь) идет в обратном направлении. В этом смысле, организация монологична; единое согласованное обоснование (стратегический план) доминирует во всех секторах организации. Модель также индивидуалистична в своей ориентации, потому что отдельные люди выступают лидерами или последователями, принимают на себя определенные обязательства, подвергаются оценке и поднимаются по иерархической лестнице (или обрушиваются с нее). Сама по себе организация также «встраивается» в индивидуалистскую метафору со строгими ограничениями относительно того, что находится внутри организации, а что – извне. Обычно считается, что сами организации погрязли в соревновательной борьбе за место на иерархической лестнице, с которого их могут согнать.

В данном контексте также важно подчеркнуть, что модернистская организация значительно стимулирует этический конфликт. Хотя модернистские организации генерируют внутри себя общее восприятие блага и приватно привлекательного оправдания их стратегий, они делают это в относительной зависимости от своего социального окружения. По мере того, как модернистская организация

становится глобализированной, она пытается повторить самое себя (с помощью своих подразделений) по всему миру. Монологическая рациональность и этическая чувствительность в идеале будут преобладать повсюду. На самом деле, организация потенциально становится непрошеным чужаком, который прежде всего стремится укрепить (и оправдать) собственные гегемонические цели.

Дело не только в том, что современная организация ущербна в отношении этических потребностей плюралистического мира. С моей точки зрения, по мере глобализации модернистской организации ее способность к эффективному функционированию также слабеет. В значительной мере такие потери являются результатом доступности тех самых технологий, которые сделали глобализацию возможной. Здесь я, прежде всего, говорю о прорывах двадцатого века в технологиях коммуникации и транспорта. Благодаря таким инновациям, как телефон, видеозапись, микрочип, высокоскоростные компьютеры и спутниковая передача данных, с одной стороны, и масштабные системы автобанов, железнодорожные пути и реактивные самолеты – с другой, возможно передавать информацию, убеждения, людей и товары по всему миру все быстрее и эффективнее. Однако глобальная экспансия модернистской организации также сопровождается множеством новых трудностей и изменений, что подрывает ее жизнеспособность. Давайте рассмотрим следующее:

Рассредоточенность способностей понимать. По мере расширения организации, возникает сильная тенденция к специализации. Компания разделяется на функциональные подразделы; людей нанимают и оценивают как специалистов в различных областях (например, исследования, производство, маркетинг). Различные специальности располагаются в разных зданиях, а иногда – в разных географических регионах. По мере дальнейшего расширения организация воспроизводится в миниатюре в других частях мира. В каждом сегменте по отдельности развиваются общие концепции и ценности. Самое важное: то, что очевидно, рационально и ценно в одной части организации, редко дублируется в других частях. На самом деле, происходит умножение реальностей, что сокращает пони-

маемость и риторическую эффективность единственного «голоса сверху».

Разрывы в звеньях власти. Поскольку в функциональной области практически не бывает решений, которые бы не влияли на других, а большинство важных инициатив требуют скоординированного вклада от разных функциональных специальностей, необходимо больше полагаться на кросс-функциональные команды. Поначалу результатом этого становится размытие модернистской организационной структуры в отношении упорядоченного распределения обязательств. Четкое назначение обязательств среди людей или отдельных функциональных подразделов ниспровергается. Затем подрывается и командная структура, поскольку руководители отделов теряют власть контролировать и оценивать работу сотрудников, которые трудятся в различных контекстах.

Разрушение рациональности. Благодаря доступности высокоскоростной передачи информации, можно быстро собрать данные из разнообразных источников, а затем так же быстро распространить их по обширным сетям. Таким образом люди, ответственные за принятие решений, сталкиваются со все бо́льшим объемом информации, связанной с различными решениями. Поскольку организация все больше сегментируется, это также значит, что возникает растущая дифференциация в источниках доступной информации (например, экономические, политические, научные, культуральные). Появляется больше «типов» информации для обработки. Также, поскольку информация постоянно накапливается, постоянно идентифицируются новые факторы, и продолжается развитие. «Период полураспада» доступной информации, соответственно, сокращается. Вчерашняя статистика все чаще оказывается попросту итогами вчерашнего дня. Хотя статистика – это критерий, который чаще всего используется в стратегическом планировании, существует мало руководств по оцениванию того, когда информация полезна, а когда она уже «вышла в утиль». В действительности, дело не только в том, что люди меньше полагаются исключительно на рациональное планирование – само понятие монологической рациональности ставится под вопрос.

Сокращение централизованного знания. Те же технологические инновации, которые стимулируют глобальное расширение организации, также означают, что централизованная власть все больше отсекается от контекста принятия решения. Помощники, отвечающие за принятие решений, ближе знакомы с контекстами, в которых они работают; их локальный фундамент знаний богаче и детализированнее. Затем, неожиданно, непредсказуемо открываются новые возможности (например, в результате местных выборов, изобретения, перемены процентной ставки, слияния) – и точно так же закрываются. В результате, решения, принимаемые на расстоянии – из-за пространственно-временного устранения головного офиса – оказываются довольно медленными и неразумными. Следовательно, нужно возложить больше ответственности на местных представителей, чтобы именно они действовали в данном контексте.

Подрыв автономии. Из-за того, что масс-медиа становятся все более важными источниками публичной информации, их власть формировать будущее организации существенно возрастает. На самом деле, медиа-профессионалы – новостные аналитики, комментаторы, авторы научных колонок и новостных репортажей – являются стражами национальной реальности. Поскольку их взгляды обычно считаются немотивированными – а потому объективными – они часто кажутся правдоподобнее, чем заявления самих организаций. Таким образом, организации теряют определенную способность к автономному самоуправлению. Их голос теряет авторитет в публичной сфере. Все чаще необходимо учитывать мнения внешних лидеров, прежде чем принимать решения, что, по сути, дает таким лидерам власть формировать будущее организации. Граница между «внутри» и «извне» организации размывается.

Этот подрыв автономии усугубляется тем фактом, что доступные технологии повышают способность различных обеспокоенных наблюдателей идентифицировать себя и их цели и организовать деятельность. Это справедливо не только для политических партий и правительственных департаментов, но и для различных групп, которые признают экономический потенциал в организовывании (на-

пример, профсоюзы и союзы потребителей), а также для разнообразных общественных групп (например, защитники окружающей среды, феминисты, ассоциации пенсионеров), которые сегодня проявляют глубокий политический интерес к глобальным организациям. Такие группы – не просто пассивные наблюдатели: они активно участвуют в поиске информации и общественной критике. На самом деле, глобальная организация оказывается под беспрецедентным пристальным вниманием, результаты которого могут выплеснуться в масс-медиа в любой момент. И снова, происходит сокращение возможностей организации к самоуправлению.

Мы обнаруживаем, что технологии глобализации ставят модернистскую организационную структуру в рискованную позицию, поскольку ослабление происходит всюду: в способности центральной власти сохранять свою способность понимать, руководить, рационально действовать, обладать лучшими знаниями и принимать независимые решения. Дэвид Фридман подводит этому итог: «Традиционный научный подход к управлению обещал наделить менеджеров способностью анализировать, предугадывать и контролировать поведение сложных организаций, которыми они руководили. Но мир, в котором живет большинство менеджеров, часто оказывается непредсказуемым, неясным и даже неконтролируемым»[178]. В более общем смысле, Белла и Дженкинс отмечают: «Крайне сложные организационные системы не подлежат пониманию, и тем более контролю человека или группы»[43].

8.4. Реляционный процесс и этика постмодернистского организовывания

Я предполагаю, что модернистская организация особенно склонна порождать проблемы этического конфликта. В то же время, процесс глобализации двадцатого века сопровождается упадком способности модернистской организации поддерживать самое себя. На самом деле, этический конфликт лишь усугубляется формой организации, которая уже не является функциональной. В этом смысле, организации, которые стремятся поддержать власть «сверху

вниз», контролировать местные операции и все больше определять себя самостоятельно, не только оперируют вопреки собственным интересам, но и делают это ценой этических терзаний. Учитывая это условие, мы сталкиваемся с задачей представления в воображении таких практик организовывания, которые одновременно выгодны для организационного функционирования и этически продуктивны. Можем ли мы тогда разъяснить процессы организовывания, которые одновременно приносят пользу организации и отвечают глобализированному условию этического благополучия?

Именно здесь мы вступаем в область постмодернистской организационной теории. Как будет более подробно обозначено в следующей главе, это направление находится на стадии стремительного развития. Еще рано подводить четкие итоги об этическом потенциале этой теории. Однако ключевое место, которое занимают социально-конструкционистские диалоги в постмодернистской литературе, дает нам эффективный рычаг давления. В частности, в социально-конструкционистских анализах обычно отдается предпочтение ситуативной точке зрения на этические вопросы. Таким образом, они являются бастионом, защищающим от любой монологической формулировки блага. В то же время, конструкционизм делает сильное ударение на отношения как на источник и для онтологии, и для этики. Таким образом, центр внимания перемещается с людей и социальных структур на процессы постоянного взаимообмена, процессов, которые мы можем охарактеризовать как *реляционные*. В данном контексте я хочу предложить концепцию реляционного процесса как ключевой метафоры для достижения двойных целей организационной поддержки и этического благополучия. Давайте рассмотрим этот вопрос.

Для начала, делая акцент на реляционном процессе, мы отказываемся от двух ключевых черт модернистской организации, а именно – от предположения об автономных подразделениях и о структурной цельности. С реляционной точки зрения, главное – это не узнаваемые подразделы (например, головной офис, дочерние офисы, отдел маркетинга) и их структурная организация, а непрерывные

процессы отношений. Выводя отношения на первый план, мы обращаем внимание на формы координированной деятельности, из которых берут начало сами понятия головного офиса, дочерних офисов и отдела маркетинга. В этом смысле, нет отдельных людей, принимающих независимые решения – лишь процессы отношений, из которых становятся понимаемыми действия, определяемые нами как «решения». Следовательно, человек – это общий локус для множества отношений. Его способность понимать (способность к разумному действию) главным образом зависит от участия в процессах реляционной координации.

До тех пор, пока стороны отношений будут продолжать общаться, они будут генерировать внутреннюю область понимаемости («истинного» и «хорошего», как указывалось ранее). Таким образом, по мере того, как организации сегментируются разнообразными способами – географически, функционально, иерархически – они также и генерируют множество центров создания значений. Следовательно, мы можем конфигурировать организацию как ряд *реляционных ядер*, каждое из которых стремится координировать внутреннее значение. По мере того, как стабилизируются внутренние значения, усиливается внутренняя эффективность ядра. Однако, если его способность понимать закостеневает, его способность к координации с другими ядрами понижается. С реляционной точки зрения, необходимо в первую очередь стремиться избегать закрытости в способности понимать – то есть, не позволять любой конструкции истинного и хорошего осесть, или попросту превратиться в «общепринятое». Внутри же ядер следует поощрять разнообразные логические подходы и здоровую оценку неравномерных потенциалов. Более того, все решения и стратегии необходимо воспринимать как случайные, единоразовые, формализации «разговора в данный момент». Таким образом, остается место для продолжения диалога и пересмотра стратегий и практик.

Наконец, и это самое важное с реляционной точки зрения, мы видим, что адекватность решения или стратегии не основывается на интеллектуальной способности одного человека (или группы), принимающего решения. Скорее, следует максимально полагаться на реляционные процес-

сы, связывающие ответственных за решение или стратегию с теми, на кого эти решения окажут влияние. Я не хочу окончательно отвергнуть модернистское предположение о том, что эффективные решения должны основываться на информации о целевых характеристиках (например, установки, мотивация, культуральные привычки, доход). Скорее, это значит, что «цели» в идеале должны присоединяться к формированию характера этих решений. Процесс принятия решений, следовательно, должен быть доступным, интерактивно внедренным в контекст последствия. Фактически реляционные ядра в организации должны тесно переплетаться со множеством других ядер, вести диалоги, в которые множество способов понимать разделяются, переплетаются, изменяются, соединяются или критически воздействуют друг на друга. Похожие процессы интерполяции должны характеризовать отношения с различными «целевыми аудиториями», важными для организации.

Здесь я в общих чертах изложил представление о постмодернистском организационном процессе, в котором главный акцент делается на реляционный процесс. Однако мы, наконец, должны вернуться к нашей главной задаче – представлению глобально разрастающихся организаций как позитивных этических сил. А именно, в каком смысле реляционный процесс строит фундамент для этической перспективы? На каком основании можно утверждать, что реляционный процесс этичен по своей природе? Ответ на этот вопрос можно отследить к более раннему предположению о том, что этика – это общественное творение как таковое; концепции блага возникают в процессе отношений. В этом смысле, организация, в которой подобный реляционный процесс находится на первом плане, также является организацией, в которой постоянно воссоздаются генеративные условия для этической чувствительности. То есть, ни одно предвзятое понятие о благе не вступает в отношения, не подвергаясь сомнению; ни один голос блага – доносящийся издалека – не остается нетронутым. Предвзятые отношения предлагают ресурсы, из которых участники непременно что-нибудь почерпнут; но закулисная, скрытая этика не является ограничивающим фактором в новом контексте. Таким образом, понятия блага находятся в состоя-

нии постоянного рождения и перерождения в собственных конкретных и постоянных контекстах использования.

8.5. Навстречу этически генеративной практике

По сути, здесь я предлагаю переход от концепции этических принципов, из которых происходят надлежащие практики, к формам *этически генеративной практики* – практик, которые дают начало совместному оцениванию и синергетическому* смешению реальностей. Перемещая ударение на практику, мы избегаем бесконечного оспаривания природы блага, лишенного истории и культуры. Не существует априори этического (из которого происходит и само понятие «злого другого»). Скорее, мы сосредоточиваемся на развитии реляционных практик, которые сами по себе являются источниками общего значения блага. Можем ли мы предложить проект этически генеративных практик, набора действий, которые гарантируют возникновение совместного понятия блага? С моей точки зрения, следует избегать такого соблазна: ведь поступить так значило бы вновь отказаться от возможности постоянного диалога. Каждая практика неизбежно отдает предпочтение определенным группам, навыкам или традициям. Вместо того, чтобы описывать такие практики как непреложные истины, нам стоит обратить внимание на практики, которые эффективны локально и ситуативно.

В этом контексте я хочу поделиться некоторыми «историями», накопленными из обширной работы с мультинациональной фармацевтической компанией. Несколько лет Мэри Герген и я работали консультантами и обсуждали с менеджерами по всему миру вопросы об оптимальных практиках управления для будущего. В частности, мы просили их идентифицировать, какие коммуникативные практики они считали наиболее эффективными на тот момент. Отражали бы такие практики традиционное или модернистское значение оптимальной коммуникации (подчеркивание централизованной власти, направление стратегий сверху вниз, а информации – снизу вверх?). Любопытно,

---

* *Синергетический – более эффективный благодаря объединению ресурсов и усилий. (прим. пер.)*

что почти все ответы были единогласно отрицательными. Нам то и дело рассказывали об управленческом опыте реляционного характера, который подчеркивал процесс диалога, множество логических подходов и гибких границ в организационных сферах, а также между организацией и ее внешним контекстом. Это – тот же набор практик, который, на мой взгляд, обладает этически генеративным потенциалом. Давайте рассмотрим следующее:

В одном проекте по организационной реструктуризации руководство отошло от обычного «независимого исследования» операций внешними консультантами, вместо этого поручив такое задание самой организации. Четырнадцать команд, представлявших все секторы компании, провели масштабные интервью, время от времени встречались с другими соответствующими командами, чтобы изучить общие операции компании, и размышляли над требованиями и навыками, необходимыми для будущего успеха. Наконец, все они сделали свой вклад в семитомное изложение их исследования и рекомендаций касательно сокращения штата, обучения и организации работы. Комитет управления во главе с директором организации в итоге принял 75% рекомендаций. На самом деле, буквально всем секторам компании дали право голоса в формировании будущего компании. В результате реструктуризацию встретили с большим одобрением.

Компания подверглась острой критике за исследования в области генной инженерии. Информационная кампания, созданная, чтобы рассказать публике о положительных результатах такого исследования, не смогла разубедить растущую толпу громогласных противников. Затем компания перешла к реляционной ориентации и предложила своим противникам поработать вместе, чтобы провести общественную выставку, информирующую публику о различных взглядах на эти сложные и эмоционально «заряженные» вопросы. После активного обсуждения различные участники согласились создать ряд информативных экспонатов, которые были затем представлены в городском культурном центре. Выставку хвалили за баланс и открытый дизайн. Представители компании также почувствовали, что произошел информативный обмен мнениями с их оппозицией;

обе стороны развили более разносторонние точки зрения и научились больше ценить [мнение оппонента], а публика смогла ознакомиться со множеством вовлеченных в дискуссию вопросов.

В целом, фармацевтические компании всегда находятся под пристальным и критическим наблюдением прессы. Традиционной политикой компании было защищать внутреннюю информацию и решения от вмешательства прессы, а также планировать информационные кампании, чтобы влиять на общественность через прессу. Однако в результате между компанией и прессой развились стратегические отношения противостояния. Пресса становилась все подозрительнее и критичнее. В двух изучаемых странах от такой политики отказались в пользу коллаборативных отношений с прессой. Представителей прессы пригласили присутствовать на встречах, посвященных принятию решений с компанией; представители компании часто и неформально встречались с прессой, чтобы обменяться взглядами и информацией. В обоих случаях результаты оказались более чем удовлетворительными; недоверие и непонимание сошли на нет.

Эти примеры – лишь иллюстрация практик с этически генеративным потенциалом. Давайте также рассмотрим разработку международной исследовательской команды, в которой молодые исследователи шести национальностей посвятили шесть дней работе над вопросами взаимопонимания и уважения; Азиатско-тихоокеанский мастер-класс, в котором представители 14 стран встретились, чтобы обозначить бизнес-стратегии будущего; и встречу представителей Восточно- и Среднеевропейского регионов, чтобы обсудить будущие рынки. Реляционный процесс также был очевиден в общении компании со множеством «целевых аудиторий». Например, в одной инициативе компания сотрудничала с международными и местными агентствами, чтобы разработать программы донорства органов; в другой – дочерняя компания из страны Третьего мира разработала программу по обучению молодежи для технических специальностей в компании.

Важно то, что в результате множества таких попыток в корпорацию были внедрены также и внешние ценности.

Например, вместо того, чтобы считать защитников окружающей среды угрозой для прибыльных предприятий, химический отдел разработал внутреннюю программу, посвященную защите окружающей среды; вместо того, чтобы попросту позволять неиспользованным медикаментам попадать на свалки или в руки детей, французские менеджеры сыграли активную роль в разработке программы по переработке медикаментов; и вместо того, чтобы считать биоэтику нарушением исследовательских прав, компания активно продвигала международную стратегию биоэтики. На самом деле, внешние этические вопросы были внедрены в стратегии компании.

8.6. В заключение

Здесь я предполагаю, что глобализация определенной формы организации, называемой модернистской, способствует обвинениям в аморальности. Однако, как мы обнаружили, неограниченное расширение такой организационной формы идет ей же в ущерб. Этический конфликт и ухудшение организационной эффективности взаимосвязаны. Однако, изучив постмодернистские перспективы, мы обнаружили ряд конкретно реляционных стратегий, многообещающих для оживления организации и координации народов мира. Конкретизация и эффективность таких стратегий была проиллюстрирована в работе международной фармацевтической компании. И хотя остается еще миллиард вопросов, для процесса глобализации существует явная надежда. Реляционные практики постмодернистской организации могут послужить положительной силой для жизнеспособной этики в мультикультуральном мире.

9

НАУКА ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ КОНТЕКСТЕ

Существует всеобщее убеждение, что в течение большей части прошлого века в западном мире преобладал ряд взаимосвязанных концепций, которые можно назвать *модернистскими*, оглядываясь на них сегодня. В свою очередь, эти концепции связаны с различными техническими и материальными условиями, лежащими в основе многих форм институциональной жизни и наполняющими обширный ряд культуральных практик – например, в литературе, искусстве, архитектуре и промышленности. Аналитики фокусируются на различных аспектах этого периода, часто используя термин *модерн*, чтобы подчеркнуть совокупность технологических, экономических и институциональных черт[215;285] и *модернизм* – чтобы вести речь об интеллектуальных и культуральных паттернах[175;329]. Хотя мнения очень разнятся, все же принято считать, что эта взаимосвязанная сеть модернистских убеждений медленно теряет свое господствующее положение вескости, обоснованности. На этот осознанный характер разобщенности указывают многочисленные работы о гибели кумулятивного знания[305], собственного «Я»[19], когерентной идентичности[196], объективности[356], поведенческой социологии[93], эмпирической психологии[414;461], толкования литературы[134] и рациональных основ знания[447]. Эти и другие работы сегодня разжигают обширные дискуссии о недостатках и возможностях жизни в постмодернистском контексте[196;348;401;428;452;546].

Основываясь на бурной критике системной ориентации модернистской организационной теории у Роберта Купера[110;111], необходимо остановиться и рассмотреть саму организационную науку. Поскольку те теоретические гипотезы,

которые Купер критикует в своей работе, тесно переплетены с комплексом взаимосвязанных убеждений о науке об организациях как о порождающей знания дисциплине. Если мы ставим под вопрос теоретический фундамент, мы одновременно ставим под вопрос метатеоретические посылки и убеждения, которые являются «источником» этого фундамента. В этой главе мы вначале рассмотрим главные способы «укоренения» традиционной науки об организациях в модернистских положениях, а также несколько основных угроз, которые постмодернистское мышление несет для таких положений. Также, что важнее, учитывая угасание модернистской традиции, мы должны задаться вопросом: что может предложить постмодернистское мышление в качестве альтернативы для концепции науки об организациях? Можем ли мы плодотворно двинуться дальше, оставив критические и деконструктивные импульсы? Мы предположим, что конструкционистское сознание может предоставить многообещающее представление о будущей науке об организациях, если его [сознание] должным образом расширить. Изложив эти аргументы, мы рассмотрим некоторые важные последствия и проиллюстрируем их потенциал.

9.1. Модернизм и формирование науки об организациях

Чтобы оценить возникший перед нами вызов, давайте сначала выделим ключевые предположения в основе модернистской науки об организациях. В общих чертах, давайте проговорим ряд основных убеждений, определивших сам характер науки об организациях – ее главные формы исследования, теоретические позиции и практики на рабочих местах. На самом деле, последствия этих убеждений были отмечены буквально во всех областях науки об организациях – со школьного класса до исследовательской площадки, форм публикации, теоретического содержания и практик, которые специалисты сами внедряют в организации. Хотя можно многое сказать о науке, следуя модернистскому канону, мы ограничимся лишь несколькими предположениями, которые имеют отношение к будущим разработкам.

Рациональный агент

Большинство ученых согласны в том, что модернистское мышление и институты «прочно укоренены» в Просвещении (восхождение от «темных» или «средневековых» времен) – периоде, в котором работы таких философов, как Декарт, Локк и Кант, придавали искушенный, сведущий голос возникающим концепциям индивида и космоса. Хотя история много раз всерьез отклонялась от этого направления (например, романтизм девятнадцатого века), основные идеи Просвещения продолжили существовать и в прошлом веке. Они получили новое развитие благодаря научному и техническому прогрессу (обусловленному основными идеями Просвещения), росту промышленности и длительным войнам (из-за чего возросла зависимость общества от науки и технологий), а также благодаря разнообразным философским и культуральным движениям (например, логический позитивизм, современная архитектура и музыка) (с кратким, но актуальным обзором таких культуральных основ смотрите работу Гергена[196]. Для более подробного описания смотрите Бирмена[49], Фрисби[185] и Рэндалла[437]).

Просвещение было историческим переломным моментом преимущественно благодаря достоинству, которое оно придало индивидуальной рациональности. Мыслители Просвещения решительно атаковали все формы тоталитаризма – монаршего и религиозного. Как мы утверждали, в каждом человеке скрывается его неотъемлемое и священное начало, область, управляемая собственными способностями человека к внимательному наблюдению и рациональному рассуждению. Как утверждал Декарт: лишь *моя* мысль дает определенное основание всему остальному. Именно это повышение ценности индивидуального разума в итоге послужило основным рационализирующим инструментом для начала науки об организациях двадцать первого века. Это приводит к двойному результату: во-первых, индивидуальный разум работника/сотрудника/ менеджера стал (и остается) главным и основным объектом изучения; во-вторых, знание организации считалось (и продолжает считаться) побочным продуктом индивидуальной рациональности научного исследователя. С одной стороны, если индивидуальная рациональность – это главный источник

человеческого поведения, то раскрыть ее секреты – значит получить власть над будущим благополучием организации. В то же время, именно отдельный, самостоятельный исследователь, который специально тренировался систематично и рационально мыслить, лучше всего «снаряжен» для такого исследования.

Если же говорить подробнее, эти идеи были воплощены в основных концепциях человека и организации, которые мы получаем в результате организационных исследований буквально с самого начала. Для многих ученых[98;133] Тейлоризм предоставил совершенную по своей сути модернистскую модель организационной жизни. С одной стороны, в этой модели индивидуальный работник считается квазирациональным агентом, который систематически реагирует на различные методы воздействия (например, приказы или побуждения). Хотя такое раннее направление лишено унижающих человеческое достоинство качеств раннего Тейлоризма, оно соответствует программам и практикам 1960–70х годов, например, повышение разнообразия работы, ротация должностей, расширение круга задач, планирование рабочего процесса[242] и управление по целям (MBO*). С недавнего времени системы планирования-программирования-бюджетирования (PPBS**) и Всеобщего Управления Качеством (TQM***) часто считаются «устройствами ввода****», используемыми, чтобы получить от работников наибольшую отдачу.

Подобным образом, вера в рациональную агентность основывается на концепции идеального менеджера, который должен эффективно планировать, организовывать, координировать и контролировать действия членов организации. В теориях контингентности[324] излагаются шаги, которые индивидуальный менеджер может совершить, чтобы создать оптимальный баланс между организацией и окружающими условиями. Область стратегического менеджмента подобным образом основывается на предположении об индивидуальной рациональности[534]. Например, теория ожи-

---

* *MBO – management by objectives. (прим. пер.)*
** *PPBS – planning-programming-budgeting systems. (прим. пер.)*
*** *TQM – Total Quality Management. (прим. пер.)*
**** *Устройство ввода – периферийное оборудование для ввода или внесения внешних данных и сигналов в компьютер. (прим. пер.)*

даний[559], теория лидерства «путь – цель»[275] и теория постановки цели[338] – все они основываются на предположениях об индивидуальной рациональности. Фундаментальная работа Герберта Саймона[491] по «ограниченной рациональности» основывается на предположении об индивидуальном принятии решений, хоть при этом и признает ограничения способности человека обрабатывать информацию. Образование в области менеджмента и связанные программы подготовки также разрабатываются с тем, чтобы обеспечить менеджеров управленческой компетенцией, необходимой для высокой эффективности[68;337].

Преданность рациональному процессу не только легла в основу взгляда об индивидуальном работнике и о функции менеджера – она также обозначила границы макроорганизационных теорий. Именно этому вопросу в значительной степени посвятили себя Купер и Беррелл[111]. Они отмечают: «Значимость современной корпорации заключается именно в ее изобретении понятия продуктивности, особенно – в ее экономичном, рациональном виде – и в последующем создании реальности на основе этого понятия, упорядочивая социальные отношения согласно модели функциональной рациональности»[111]. Они приводят примеры из работы Белла[42] и Лумана[342]. Подобным образом, концепции кибернетических и общих систем – как, например, поддерживаемых Боулдингом, Берталанффи и Вайнером – поспособствовали развитию подходов рациональных систем к организационной теории. Как отмечают Шафритц и Отт[478], ориентация на системы философски и методологически связана с Тейлоризмом.

Наконец, вера в рациональную агентность подкрепляет «Я»-концепцию организационного ученого и взгляд на его роль *vis-à-vis* с организацией. Можно по меньшей мере утверждать, что организационная теория – это совершенное проявление рациональной мысли: точной, логичной, последовательной; и это предположение придает профессиональному теоретику бо́льшую ценность. В модернистском понятии *духа времени* (нем. *Zeitgeist*) именно самый рациональный голос должен преобладать в бесконечном соревновании мнений. И именно это скрытое притязание на рациональное мышление во многом обосновало органи-

зационное консультирование: консультант, по традиционным стандартам, является (или должен являться) тем, кто (благодаря научной подготовке) мыслит более четко, объективно, глубоко и систематично, чем не специалист, и поэтому заслуживает право голоса внутри организации. Эта логика подкрепляется вторым модернистским убеждением.

Эмпирическое знание

Вторая часть наследия дискурса эпохи Просвещения – это явный акцент на силе индивидуального наблюдения. Именно рациональное мышление в сочетании с наблюдением позволяет индивидуальному мнению стоять наравне с убеждениями религиозного или королевского происхождения. С ходом столетий это убеждение больше всего укрепилось в эмпирической философии, и наиболее ярко проявилось в прошлом веке в формах логической эмпирической философии. Для логических эмпириков[25] лишь предположения, напрямую связанные с наблюдаемыми величинами, достойны научного рассмотрения, и только скрупулезная проверка научных предположений может привести к увеличению знаний. В поведенческих науках эти взгляды не только стали ключевыми рационализирующими инструментами. Поставив поведенческие науки на ту же основу, на которой стоят химия и физика, специалисты также подстегнули немалый интерес к методологии и статистике исследований.

Именно на этой почве и зародилась наука об организациях. Предполагалось, что существует конкретная организация, объективная единица, доступная для эмпирического изучения. Для примера, в первом выпуске журнала *The Journal of the Academy of Management* Уильям Вулф[584] заявил: «Мы можем описать организацию как живое существо; у нее есть конкретная социальная среда, формальная структура, признанные цели и множество потребностей». Подобным образом, в своей широко цитируемой работе *Теория современной организации* Мэйсон Хейр[245] обсудил «форму» и другие «геометрические свойства» организации, заявляя, что организации имеют телесные качества и характеристики роста, типичные для биологического мира.

Этот конкретный характер организации также был очевиден в статье Толкотта Парсонса для первого выпуска *Administrative Science Quarterly*. В ней Парсонс определил организацию как «социальную систему, ориентированную на достижение относительно специфичных типов целей, что способствует основной функции более всеохватывающей системы, обычно – самого общества»[418]. В том же выпуске журнала Джеймс Томпсон[536], говоря о задаче построения административной науки, поставил основное ударение на «дедуктивные и индуктивные методы ... операциональные определения ... и измерение и оценку».

В этом контексте именно организационный ученый должен был потрудиться над тем, чтобы изолировать переменные, стандартизировать средства измерения и оценить причинно-следственные связи в организационной сфере. Таким образом, например, Пью и коллеги[435] предложили проанализировать организационную структуру с учетом шести основных переменных; в своей «аксиоматической теории организации» Хейдж[243] определил восемь важных переменных (например, сложность, стратификация, эффективность, технологичность, удовлетворение от работы). Уорринер, Холл и МакКелви[565] даже призвали исследователей сформулировать «стандартный список операционализованных, доступных для наблюдения переменных для описания организаций».

В то же время, процесс наблюдения также завоевывает свое место – как в теориях эффективной организации, так и в позиционировании организационного ученого в более обширной культуральной сфере. В первом случае целый ряд организационных теорий подчеркивает необходимость систематического сбора информации, фактов или данных в организации, чтобы оптимизировать принятие решений. Например, в самых первых теориях рационального принятия решений неизменно делался акцент на эмпирических фактах. К примеру, Фредерик[176] указал на необходимость связать теорию статистических решений и другие математические стратегии принятия решений с эмпирическими данными. Рациональные решения – как в организациях, так и в самой науке – это «в первую очередь функция доступной информации»[176]. Акцент на активном наблюдении

в профессии, а также его постоянное повторение в теориях оптимального организационного функционирования, также подкрепляет имидж организационного ученого в культуре. Если технологии наблюдения приносят информацию, необходимую для благополучия организации, а организационный ученый – эксперт в активном наблюдении, тогда голос ученого снова становится привилегированным. Благодаря своей подготовке ученый может быть незаменимым сотрудником в перспективной организации.

Язык как репрезентация

Третий модернистский текст очерчивает контуры науки об организациях. В сравнении с рассказами об индивидуальной рациональности и эмпирическом знании, он кажется незначительным. И все же он оказывается ключевым по мере того, как мы переходим к постмодернистскому контексту. В этом случае акцент ставится на свойстве языка, позволяющем точно представить мир, или, фактически, «содержать истину». Предположение о том, что язык содержит в себе истину, настолько укоренилось, что до недавнего времени оно почти не оспаривалось. Однако его скрытое присутствие заметно повсюду. Прежде всего, мы как организационные ученые считаем язык главным средством, с помощью которого мы сообщаем коллегам и культуре о результатах своих наблюдений и мыслей. Мы используем язык, чтобы рассказать о природе мира – настолько, насколько мы можем определить его характер путем наблюдения. И, предположительно, именно путем наблюдения за миром мы можем улучшить, выправить или скорректировать собственные теории. Мы можем протестировать гипотезы, сравнив их с явлениями, существующими в природе, и неизбежно двигаться навстречу истине в репрезентации [результатов]. Для профессии слова выполняют роль носителей «истины» или «знания» – в журналах, лекциях, книгах или бизнес-консультациях.

Эта же вера в способность языка представлять реальное, в сочетании с верой в рациональное мышление и наблюдение, также создает основу для модернистского понимания организационной структуры. В эффективной организации

различные специализированные группы должны генерировать данные (наблюдения) касательно их конкретных функций (например, маркетинг, операции, работа с персоналом), а результаты этих усилий должны передаваться высокопоставленным руководителям, которых информируют с тем, чтобы они принимали рациональные решения, координирующие эти разнообразные усилия. Фактически, акцент на рациональности, эмпиризм и язык как репрезентация способствуют как четкому *распределению труда* (специализации), так и *организационной иерархии*[133;453;455;537].

Вера в то, что язык содержит истину, в сочетании с опорой на рациональное мышление и наблюдение, также фигурирует в общем предположении о прогрессе в понимании организаций и, как следствие, о построении более успешных форм организации в будущем. Если природа объективного мира познается через язык, другие могут подвергнуть эти находки дальнейшей проверке, и их результаты снова станут общедоступными (и так далее), неизбежным результатом окажется движение к объективной истине. Согласно этому взгляду, ученым следует приобретать все более искушенные знания о природе мира, быть способными ко все более точным предсказаниям и, наконец, быть в состоянии строить целиком эффективные организации.

В годы формирования науки об организациях Роллин Симондс наделил голосом прогрессивный нарратив в журнале *The Journal of the Academy of Management*:

> По мере развития (науки управления бизнесом) ... будут придавать все большее значение четкому указанию причинно-следственных связей и обеспечению эмпирических данных, чтобы обосновать или опровергнуть эти указания. После этого результаты одного исследования можно внедрить в другое, пока не накопится достаточно основательных доказательств в поддержку множества научных принципов[492].

Говоря словами Белла, модернистское (постиндустриальное) общество «организовано вокруг знания с целью социального контроля и направления инноваций и изменений...»[42]. Во многом похожий взгляд на научный прогресс проецируется на теории организационного обучения.

Благодаря постоянному обучению организация будет становиться все более адаптируемой и успешной.

9.2. Постмодернистский поворот

Значительная часть современной теории и практики в науке об организациях все еще развивается по модернистской схеме. Однако во многих отраслях точных и гуманитарных наук – некоторые даже сказали бы, в культуре в целом – постепенно возникла новая чувствительность. Как было отмечено в предыдущих главах, эта чувствительность – преимущественно *критическая*, она систематически «разрушает» корпус модернистских предположений и практик. Такие способы критики не только угрожают модернистской логике, но и ставят под вопрос моральные и политические результаты модернистских убеждений. И все же, хотя критика – повсеместна и ведет к изменениям, она еще не стала восстанавливающей. Обличая существующие традиции, она оставила будущее под вопросом. Как же нам теперь продолжать? Вопрос зловеще маячит на горизонте. Однако, с нашей точки зрения, в определенных формах критики скрывается логика с огромным потенциалом. Критические замечания также основываются на базе предположений, и по мере того, как мы исследуем их результаты, нам открывается доступ к ряду альтернатив. В ситуации с позитивным потенциалом нам кажется, что наиболее многообещающие формы критики – социально-конструкционистские по своему характеру. Далее мы обозначим природу критики и ее результаты для конструкционистского представления о науке об организациях.

От индивидуальной к общественной рациональности

Тогда как вера в индивидуальную рациональность оказывается в центре модернистского взгляда на мир, постмодернистские голоса становятся скептичными. В крайних проявлениях концепция индивидуальной рациональности оказывается как концептуально ущербной, так и деспотичной в своем влиянии. Ее концептуальные проблемы наиболее четко проявляются в литературных и риторических движениях[141;400;494]. В важных отношениях эти движения

настраивают против модернистского предположения о том, что рациональное осмысление скрывается «за» поведением или руководит чьим-то «внешним» поведением. В этом случае областью критики становится язык, который является наиболее понятным, прозрачным выражением индивидуальной рациональности в глазах модернистов. Как предполагают специалисты семиотики, литературные деконструкционисты и риторики, язык – это система в себе, система означаемых, которая предшествует человеку и переживает его. Таким образом, говорить как рациональный агент – значит всего лишь участвовать в системе, которая уже выстроена; это значит заимствовать из существующих идиом, присваивать формы речи (и связанные с ними действия), которые уже есть в наличии. Или, как мы определили в 7 главе, «реализовать рациональность» – значит не выполнять неясную внутреннюю функцию «мысли», а участвовать в форме культуральной жизни. Как в этом случае добавляют риторики, рациональные уговоры не являются победой лучшей формы логики над худшей – они являются результатом использования особых риторических навыков и инструментов. Фактически, почти нет оснований полагать, что существует специфически рациональный процесс (или логос), который скрывается в том, что мы считаем рациональным аргументом; спорить рационально – значит «играть по правилам», предпочитаемым в определенной культуральной традиции.

Для многих ученых результаты таких споров привлекают внимание к наличию обширных деспотичных сил в культуре, которые присваивают и право голоса, и власть, претендуя на трансцендентную или свободную от культуры рациональность. Критика модернистской точки зрения на индивидуальную рациональность лучше всего сформулирована в феминистских и мультикультуральных критических работах (примеры феминистских работ можно найти здесь[235;247], а примеры афро-американской критики сайентизма – здесь[576]). Как подозревают критики, в культуре существуют иерархии рациональности: в зависимости от ученой степени, культурального опыта и других подобных маркеров, определенные люди считаются более рациональными (умными, проницательными), чем другие,

а потому – более достойными позиции лидерства, влияния и богатства. Любопытно то, что людей, занимающих эти позиции, систематически отбирают из очень небольшой прослойки населения. На самом деле, хотя спорам эпохи Просвещения удалось свергнуть тоталитарную власть короны и креста, сегодня они создают основу для новых, более утонченных структур власти и доминирования.

И все же постмодернистские голоса также позволяют нам шагнуть за пределы критики. Ведь когда эти разнообразные идеи связаны с возникающими спорами в истории науки и социологии знания, появляется альтернативный взгляд на человеческую рациональность (главные работы, сделавшие вклад в подобную литературу, можно увидеть здесь[32;164;299;305;322]). Давайте снова взглянем на систему языка. Язык по своей природе является побочным продуктом человеческого взаимодействия. Не может быть «приватного языка» (как утверждал Витгенштейн[582]). Создать абсолютно индивидуальную систему символов – это, по сути, нездоровая идея. Следовательно, жизнеспособный язык зависит от общественного сотрудничества – «совместное действие» (говоря терминами Шоттера[485]) двух или более людей. Производство смысла – это общественное достижение. Значит, если быть рациональным – это фундаментальное достижение в языке (или в действиях, согласованных с данным языком), как предполагалось ранее, тогда рациональность по своей природе – это форма общественного участия. Говорить рационально – значит говорить согласно условным правилам культуры.

От эмпирического метода к социальной конструкции

В модернизме методы наблюдения пользовались привилегированным положением. Считалось, что чем более утонченными были измерительные и статистические технологии, тем надежнее и детальнее было научное понимание феномена. С постмодернистской точки зрения, все исследования встроены в предварительную структуру понимания – ряд ориентировочных предположений о природе мира (какие качества свойственны объекту исследования) и методология (как средство для фиксирования этих ка-

честв). В более общем смысле, наше понимание феноменов *обременено теорией* само по себе, как и методы, используемые для их освещения (классические аргументы на эту тему можно найти здесь[305;164]). Лишь когда отдается предпочтение определенному теоретическому подходу (или форме языка), можно выстраивать исследование и выбирать методы. Таким образом, выбор теорий априори определяет значительную долю результатов исследования – что можно будет сказать, подводя его итоги. В качестве примера: если организационный ученый придерживается взгляда на человека как на рационального индивидуума, принимающего решения, тогда разумно строить исследования на эвристике обработки информации, различать эвристические стратегии и экспериментально демонстрировать условия, в которых различные стратегии оказываются эффективными. Если же, наоборот, теоретик придерживается психоаналитического подхода и считает, что жизнь организации руководствуется подсознательной динамикой, тогда вопросы символической власти и подсознательных желаний становятся исследовательской реальностью. Проективные инструменты могут послужить предпочитаемыми исследовательскими методами. Первое исследование никогда бы не раскрыло «подавленного желания», а второе – «когнитивной эвристики». Каждая из сторон посчитала бы методы своего оппонента обманчивыми. А потому говорить об «организационной системе», «стилях лидерства» или «причинно-следственных влияниях» – значит избирательно заимствовать из огромного хранилища высказываний (или письменных материалов), из которых и состоит культуральная традиция.

Данные аргументы подробно разработаны учеными социального конструкционизма (в сфере организации обратите особое внимание на эти работы[20;384;532;578]). Такие работы одновременно освободительные и показательные. С одной стороны, они бросают вызов миру ученого и обывателя, принимаемому как нечто само собой разумеющееся. Например, ставя под вопрос предположение о рациональных решениях, о различии между гендерами или о существовании психического расстройства, они освобождают нас от оков традиционной понимаемости. Они предлагают альтер-

нативные формулировки, создание новых, разнообразных реальностей. В своей обличительной роли такие работы также пытаются пролить свет на процессы, которыми создаются разнообразные рациональности и реальности. Они повышают нашу чувствительность к нашему же участию в построении своего мира, тем самым подчеркивая наш потенциал добиваться совместно организованных перемен в понимании, и тем самым – действий.

Язык как социальное действие

Поскольку для постмодерниста язык – это дитя культурального процесса, считается, что описания мира отдельным человеком – это не внешние проявления ментального зеркала (то есть, описания его приватных «наблюдений» или «восприятий»). Научные описания – это не зеркала, которые отражают наши наблюдения о том, что существует вокруг нас. И все же, если мы избавились от модернистского взгляда на язык как на изобразительный инструмент, как его можно заменить? Главный ответ на этот вопрос нужно искать в поздних работах Витгенштейна. Как предположил Витгенштейн[582], язык приобретает свое значение не из своего ментального или субъективного обоснования, а из его применения в действии («языковые игры»). Или же, снова подчеркивая важность погруженности человека в отношения в постмодернистских работах, язык приобретает свое значение из организованных форм взаимодействия. С этой позиции «сказать правду» – значит не предоставить точную картину того, «что произошло на самом деле», а поучаствовать в ряде социальных условных правил, неким образом поместить санкционированные вещи в данную «форму жизни». «Быть объективным» – значит играть по правилам данной традиции.

В более широком смысле, это значит, что язык для постмодерниста – это не отражение мира, а его построение. Язык не описывает действие – он сам является формой действия. Следовательно, заниматься наукой – значит активно участвовать в ряде субкультурных отношений. Когда научные описания становятся доступны для культуры – например, описания организаций как информацион-

ных систем, или менеджеров как «обработчиков» информации – они присоединяются к запасу культуральных способов понимания. Они формируют наши способы понимания, а, следовательно,– и связанные с этим способы поведения. Считать организацию информационной системой, а менеджеров – преданными идее рационального расчета,– значит предпочитать определенные формы культуральной жизни, подрывая или предотвращая другие. Вскоре мы вернемся к последствиям этого.

С такой реляционной точкой зрения на язык модернистское предположение о бесконечном накоплении знаний оказывается под вопросом[348]. Поскольку научная теория – это не карта существующих условий, исследование не функционирует как доказательство научных описаний. Научное исследование может привести к техническим достижениям, но оно не устанавливает истинности наших описаний и объяснений. По мере того, как мы стремимся заменить одну научную теорию другой в своем исследовании, мы не движемся неумолимо «вперед» по дороге к истине; мы – как сказали бы многие – заменяем один способ формулировки другим. И снова, этим мы не хотим отрицать, что научное исследование улучшает наши способности в определенных видах предсказывания и генерирует новые технологические формы. Однако мы хотим усомниться в том, что сопровождающие эти формы описания и теоретические объяснения – истинны.

Чтобы оценить положительные последствия этого условия, давайте рассмотрим монологический «напор» традиционной науки. Обычно научное исследование предназначено для того, чтобы сузить ряд описаний и объяснений – отсечь неправильные, неточные и непоследовательные формы языка и вывести единственное лучшее описание, которое больше всего приблизится к «объективной истине». Для постмодерниста результаты этого стремления к единогласию – катастрофичны по своей природе. Культура состоит из богатого набора идиом, описаний и объяснений, и эти разнообразные формы речи являются составляющими культуральной жизни. Уничтожить наши способы говорить о любви, преданности, семье, справедливости, ценностях и так далее – значило бы подорвать

способы жизни, общие для многих людей. В своем поиске «единственного лучшего описания» наука выступает мощным дискредитирующим инструментом – раскрывающим «невежество» обывателя в разных областях. Показывается, что любовь – это миф, что семьи формируются из-за требований «эгоистичных генов», что ценности – это лишь результат социального влияния, и так далее. Потому нам предлагается заменить научное ударение на «единственном лучшем описании» множественностью конструкций. Или, другими словами, тоталитаризм заменяется плюрализмом.

9.3. Навстречу постмодернистской науке об организациях

Как мы обнаруживаем, постмодернистская критика выступает главной формой делегитимизации. В научной сфере она способствует потере уверенности в рациональной теории, в защите скрупулезных научных методов и в перспективе стабильного роста объективного знания. Как утверждают Беррелл и Морган[83], существует внушительное упущение в предположении о непреклонном предмете исследования – предмете, который не формируется благодаря подходам самих исследователей. Если же это перенести в сферу организационной жизни, результатом таких аргументов становится угроза устоявшимся предположениям об эффективном лидерстве, научно управляемой трансформации организаций, перспективе стабильного роста организационной эффективности и способности науки об организациях способствовать увеличению знаний о функционировании организаций. Эти преобразования – на самом деле переломные, и если сегодняшние дискуссии продолжатся такими же темпами, вскоре мы можем столкнуться с серьезной эволюцией в концепции и практике науки об организациях.

И все же, хотя подавляющее большинство ученых и практиков могут считать эти возникающие угрозы равносильными нигилизму, здесь мы также попытались обнаружить реконструктивную тему. В частности, мы подчеркнули замену индивидуальной рациональности общественными переговорами, важность социальных процессов в зада-

че наблюдения, социально-практическую функцию языка и важность плюралистических вкладов в концепцию истинного и хорошего. Вкратце, мы составили краткий очерк *социально-конструкционистского* взгляда на научные усилия – взгляд, который соответствует многим видам постмодернистской критики и при этом позволяет нам шагнуть за границы критического момента.

Поэтому в этом заключительном разделе мы обратимся к возможным границам позитивной науки об организациях в постмодернистском контексте. Эта задача основывается на целом ряде работ, в которых уже была представлена постмодернистская мысль в науке об организациях, а именно – серия *Organization Studies* о постмодернизме и организационном анализе под редакцией Купера и Беррелла 1988 года. Другие авторы, например, Боже[61], Клегг[100], Герген[197], Огилви[403] и Паркер[415], также сделали значительный вклад в связь постмодернистской мысли с дискурсом менеджмента. В 1992 году тема постмодернизма фигурировала на ежегодных встречах Академии менеджмента[61;64;100;193;265;395;533]. Эти исследования также дополняются многими впечатляющими связанными работами об организационном анализе[71;87;257;327;359;383], социальном конструировании лидерства и организации[94;509;591], формирования значений в организациях[114;569]. В попытке внедрить разнообразные составляющие этой работы и одновременно развить потенциал науки об организациях в конструкционистском подходе, мы сосредоточиваемся на четырех важных областях: исследовании, критике, генеративной теории и организационном действии.

Место исследовательских технологий

В модернистской структуре технологии эмпирического исследования (например, эксперименты, симуляция, оценка установки и мнения, включенное наблюдение, тестирование характерных черт, статистическая оценка) широко использовались, чтобы оценить или подтвердить разнообразные теории и гипотезы о поведении в организациях. В постмодернизме методология теряет свой статус главного судьи об истине. Исследовательские технологии могут

производить данные, но и производство, и интерпретация данных должны неизбежно основываться на формах языка (метафизические убеждения, теоретические подходы, концепции методологии), внедренных в культуральные отношения. Таким образом, в исследовании не удается подтвердить, опровергнуть или еще каким-либо образом обосновать теоретическую позицию, не подчиняясь при этом целому ряду внедренных культуральных предположений.

В то же время, в постмодернизме нет ничего, что бы противоречило возможностям использования эмпирических технологий в определенных *практических* целях. Несомненно, многие скептически относятся к общему нарративу прогрессивной науки. Однако такой скепсис часто ставится под сомнение из-за очевидного факта, что мы можем выполнять такие действия, как «передача информации», «автоматизация производства» и «контроль качества», которые мы не могли осуществлять в прошлых столетиях. И все же постмодернистская критика ставит под вопрос не технологическую способность (или «знание, как»), а притязания на истину, которые основываются на сопровождающих описаниях и объяснениях («знание, что»). В этом смысле, постмодернистские аргументы не должны «отговаривать» организационных ученых от стремления к методологическому и технологическому развитию. В первую очередь, в определенной мере *методологии прогнозирования* о командном/индивидуальном производстве на определенной сборочной линии, прогнозирование о текучести менеджерских кадров в определенной компании и о должностных кражах в отдельной бюрократической системе, например, могут сделать полезный вклад в область условно общепринятых реальностей. Таким же образом мы можем продолжать использовать то, что можно назвать *методологиями сенсибилизации* – то есть, методы, которые привносят новые и потенциально полезные идеи для размышления. Такие исследовательские методы, как эксперименты и интервью, вполне могут привести к результатам, которые сделают нас более чувствительными к альтернативным интерпретациям мира. До тех пор, пока человек не объективизирует термины описания и внимательно относится к ценностным резуль-

татам такой работы, эти методы приветствуются в конструкционистских спорах.

Хотя постмодернистская критика подрывает функцию исследования в обеспечении истины и перемещает эмпирическое ударение на более локальные и практические заботы, она также приветствует внушительное расширение концептуализации исследования. Вместо того, чтобы служить опорой для теоретических предварительных структур различных научных анклавов, исследовательские технологии могут выполнять множество *социальных* функций. Многие организационные исследователи уже начали изучать потенциал такой позиции. Например, Гарет Морган[382] говорил о научном исследовании как о «процессе взаимодействия ... созданном для реализации потенциала». Аргирис и коллеги[15] и Шон[471] заявляли о неразделимости исследования и социального действия. Именно в этом ключе исследования через совместные действия[439;542] оперируют, чтобы разрушить традиционные роли исследователя и исследуемого, чтобы *реализовать потенциал локального знания.*

И все же это – не единственные функции исследования в конструкционистской системе. Можно также использовать разнообразные исследовательские стратегии, чтобы *наделить голосом* группы, которые обычно маргинализируют, неправильно понимают или лишают привилегий. До сих пор ученые обычно посвящали себя исследованию способов, которыми заглушают различные голоса. Например, Калас и Смирсич[87] использовали феминистские деконструктивные стратегии, чтобы раскрыть риторические и культуральные способы, которыми концепция лидерства представлялась как «соблазнительная игра». Мартин[359] рассмотрела подавление гендерных конфликтов в организациях, показав, как попытки организации «помочь женщинам» часто подавляют гендерный конфликт и материализуют ложные дихотомии между публичной и приватной областью деятельности. Мамби и Патнэм[388] продемонстрировали андроцентрические* предположения в основе концепции Саймона «ограниченной рациональности». Также Нкомо[399] проанализировала, как организационная концеп-

**Андроцентризм – глубинная установка, согласно которой общечеловеческая субъективность приравнивается к мужской (прим. пер.).*

ция расы вплетена в евроцентричный взгляд на мир. Хотя такая форма анализа важна в постмодернистской науке об организациях, необходимы также инновационные практики или методологии, чтобы вывести на передний план маргинализированные голоса в организации. Приветствуются практики, которые позволяют выражать невысказанные позиции, чтобы они циркулировали и принимали активное участие в процессе принятия решений.

Наконец, в более обширной концепции исследования можно пуститься на поиски методов для *генерирования новых реальностей*, чтобы положить начало еще не реализованным подходам или практикам. Пока что наиболее подходящие технологии для достижения этих целей приобретают форму диалогических методов[114;296;439;469;477]. Диалогические методы часто позволяют участникам избежать ограничений реальностей, с которыми они приходят, и, путем совместной работы, формулировать способы понимания или действий, задействующие множество данных. Как предполагают Ковалески и Дирсмит[120], диалогическое исследование часто облегчает формирование непредвиденных отношений. Особенно многообещающим является движение к «методу позитивной оценки ситуации»[115] – практике, которая позволяет организациям делиться позитивными историями из прошлого и использовать их для совместного развития идеальных форм будущего.

Навстречу диалогической рефлексии

Культуральная жизнь во многом вращается вокруг значений, приписываемых различным действиям, событиям или объектам; дискурс – это, вероятно, критическое средство для формирования значений. И, поскольку дискурс существует на открытом рынке и отличается крайне разнообразными соединениями, комбинациями и трансформациями, паттерны человеческих действий также будут неизменно подвижны – временами двигаясь незаметно, а временами – отчетливо. Это значит, что эффективность наших профессиональных теорий прогнозирования, вмешательства и принятия решений постоянно находится под угрозой. Технология, эффективная сегодня, уже завтра может стать просто воспоминанием. В этом смысле, прогнозирова-

ние организационного поведения похоже на прогнозирование на рынке акций; с каждым новым веянием понимания феномен преображается.

В этом смысле, мы можем считать организационную науку генеративным источником значения в культуральной жизни – благодаря ее описаниям, объяснениям, технологиям и услугам для организаций. А в генерировании и распространении значений наука также предоставляет людям орудия для действия. Ее концепции используются, чтобы обосновать различные политические стратегии, разделить или объединить разные группы, судить или оценивать людей, идентифицировать себя самого или свою организацию и так далее. Фактически, наука об организациях предоставляет прагматические инструменты, с помощью которых осуществляется организационная/культуральная жизнь. С этой точки зрения, становятся особенно выдающимися две перспективы профессиональной деятельности. Здесь мы рассматриваем идеологическую и социальную критику; после этого мы обратимся к задаче создания новых реальностей.

В модернистской науке об организациях было мало обоснований для моральной или политической оценки науки как таковой. Дисциплина пыталась предоставить ценностно нейтральные знания и оценки; если это знание использовалось в неэтичных или неуместных целях, это не было заботой науки как таковой. Таким образом, на данном этапе научная подготовка предоставляет очень мало ресурсов для моральной или политической оценки. Наука об организациях приспособилась скорее к языку «как есть», чем к языку «как должно быть» – к дискурсу рационального суждения, а не гуманной заботы[114;284;421]. И все же, поскольку постмодернистское ударение стоит на прагматике языка, наука об организациях больше не может стоять в стороне от моральной и политической дискуссии. Будучи генератором и распространителем значений, эта область по своей природе работает на благо определенных «акционеров», деятельностей и форм культуральной жизни – и в ущерб другим. Две формы критического анализа особенно важны.

Для начала наука об организациях может соответствующим образом разработать литературу о *самокритике*. Необходимы дискуссии на тему культуральных последствий

ее собственных конструкций. Учитывая разнообразные интеллектуальные движения, описанные выше, эта форма саморефлексии уже развивается[110;295;427;535]. Например, Бойясигиллер и Адлер[67] показывают, как американские ценности, связанные со свободой воли и индивидуализмом, влияют на концептуализацию организационного поведения. Американское культуральное предположение о том, что люди контролируют (и должны контролировать) собственные действия, противоречит убеждениям культур, подчеркивающих общественные обязательства. Работы феминистских ученых, процитированные выше, наряду с работами, представляющими различные этнические и политические точки зрения, также значительно способствуют критической саморефлексии. Критически освободительные[4;580] и радикально гуманистические[22] работы расширяют эти горизонты еще больше. Постмодернистская трансформация не только обеспечивает серьезную гарантию такой работы, но и способствует активному расширению таких попыток.

Одновременно с восхвалением собственных практик, наука об организациях может должным образом направить свой интерес на формы *организационной структуры и практики* в культуре – или в мире. Что же можно сказать в пользу современных организационных структур, и в чем их недостатки? Цель этого – не просто расширить модернистский поиск наиболее эффективной, продуктивной и прибыльной организационной структуры и практик. Скорее, цель заключается в том, чтобы породить размышление над «организацией» как над формой культуральной жизни. В какой степени, кем и для чего желанны существующие способы организации? В определенной степени, сравнительные исследования организационной жизни несут в себе такие оценочные точки зрения. Например, Аллен, Миллер и Натх[3] утверждают, что в странах, где высоко ценится индивидуализм, акторы склонны рассматривать отношения с организациями стратегически, а в коллективистских культурах человек чувствует больше гармонии с организацией и окружением. В американской системе существует твердая вера в то, что человеку под силу добиться перемен, что соответствует факту о том, что среднестатистический американский директор зарабатывает в 160 раз больше, чем

среднестатистический американский работник, тогда как в более коллективно ориентированной культуре, например, в Японии, соответствующее соотношение – меньше 20[124]. Хотя такие исследования делают читателя чувствительным к возможным предрассудкам в мире организационной жизни, воспринимаемом как должное, фактически, они являются утонченной критикой западных способов жизни.

Конструирование новых миров

Как предполагалось в 3 главе, критическая оценка имеет серьезные ограничения, и необходимо открыть более позитивные точки зрения. Поэтому мы обратим внимание на один из самых важных и потенциально мощных побочных продуктов науки об организациях – на его языки описания и объяснения. Когда концепты, метафоры, нарративы, образы начинают действовать в культуре, их часто поглощают текущие отношения. Следовательно, такие отношения необходимо преобразовать. Эта возможность побуждает ученого использовать свои интеллектуальные таланты ради создания новых культуральных реальностей. В модернистскую эпоху организационный ученый, по большому счету, «полировал зеркала». По сути, его задачей было держать это зеркало перед лицом природы. Для постмодерниста такая роль – бледная и пассивная. Для постмодернистского ученого задача заключается не в том, чтобы «рассказать все как есть», а в том, чтобы «рассказать все так, как оно может стать»*. Необходимо, чтобы ученые были дерзкими, ломали барьеры общепринятых убеждений, предлагая новые формы теории, интерпретации или способности к пониманию. Здесь предлагается концепция *генеративной теории*[198]. Такая теория создана, чтобы сместить традиционные предположения и открыть новые альтернативы для действий. Путем такого теоретизирования ученые делают вклад в формы культуральной понимаемости, в символические ресурсы, доступные людям в то время, когда они совместно ведут свою жизнь.

Генеративное теоретизирование уже доказано стабильно растущим количеством вкладов из постмодернистской аналитики с целью создания новых способов концептуали-

* *Чтобы узнать о концепте «реализма становления», смотрите статью Чиа*[95].

зировать сами организации (и бросать им вызов). В этих случаях теоретики обычно считают бюрократические, иерархические и рационально контролируемые организации созданными и поддерживаемыми многими особыми модернистскими дискурсами (как в академической, так и в рыночной сфере). Как мы отметили в 8 главе, из-за радикальных перемен в технологическом этосе, доступности информации, экономической глобализации и так далее модернистская организация больше не является целесообразной. Теперь используется новая волна постмодернистских и конструкционистских дискурсов в качестве средств для описания и создания того, что часто называют *постмодернистской организацией*. Большая часть этой работы намечается в критике Купера[110] системной организации и языка как активной силы в одновременных процессах организации/дезорганизации. Рид и Хьюз[440], а также Боже, Гефарт и Тэтченкери[63] составили полезные сборники этих источников. Важно отметить, что эта работа также продолжает диалогические отношения с рынком, тем самым приобретая способность к конструированию[52;384;425].

В качестве примера рассмотрим стремительные шаги навстречу глобализации, происходящие сейчас в бизнес-сообществе[34;112;570]. С текущей точки зрения, наука об организациях не должна стремиться к единственной лучшей, самой рациональной и эмпирически обоснованной теории – огромному или тотализирующему нарративу. Скорее, приветствуется разнообразие теоретических подходов. Взгляды на глобализацию как на «пост-фордистскую модель накопления»[2] или «гибкое накопление»[255] должны стоять в одном ряду с описаниями глобальной организации как «пост-коперниканской»[425] из-за ее существования в сети общностей. Мы также можем стремиться к новым формам артикуляции, как в концепции *систазы*[191]. В отличие от системы, систаза – это организация без абсолютного центра, вокруг которого, «будто мозаика из непрестанно колеблющихся прагматик языка»[349], постоянно устанавливается и подвергается угрозам порядок. В то же время, такие всеобъемлющие концептуализации требуют поддержки от описаний на более конкретном уровне действия. Преследуя это направление аргументации, Джозеф[287] приводит при-

мер эволюции транснациональной некоммерческой организации, которая превратилась в глобальную в 1970-х годах. К 1980-м стало понятно, что универсальную модель социально-экономически-культурального развития компании невозможно было применить ко всем культурам. Требовалась реорганизация, благодаря которой каждая местная организация автономно преследовала бы собственную модель развития. В результате организация развила выдающуюся компетентность в функционировании в качестве международной сети локально несовместимых организаций.

Задачу генеративной теории также следует квалифицировать тремя способами. Во-первых, наука об организациях уже сформировала обширный ряд теорий. С постмодернистской точки зрения, такая мириада формулировок – это не дефицит (указание, в модернистских терминах, на предпарадигматический и не-кумулятивный характер науки). Скорее, каждая из существующих теорий представляет дискурс, потенциально доступный для многих целей во множестве контекстов. Следовательно, генеративные попытки могут включать возрождение прошлых теорий[96;384], переопределение или реконтекстуализацию их значений, чтобы эти значения не исключили из хранилища возможностей[302]. Во-вторых, движение навстречу генеративной теории должно быть максимально чувствительным к вопросам *потребительной ценности* – то есть, как, если это возможно, данная форма языка может быть внедрена в текущие отношения[107]. Как сформулировал Аргирис[14], область должна стремиться к созданию «воплощаемых» дискурсов. Если профессиональная работа написана на жаргоне, понятном лишь крайне искушенным ученым, ее рыночная польза оказывается под большим сомнением. Следовательно, существует высокая потребность в риторическом обогащении профессионального письма (смотрите также 4 главу).

Организационная активность

Финальная особенность постмодернистской науки об организациях произрастает из предыдущего логического рассуждения. В этом случае нас интересуют ученые как активные участники внутри самих организаций, которые работают, например, консультантами, оценщиками, чле-

нами совета директоров и так далее. С нашей точки зрения, именно в этом контексте наиболее полно реализуются выделенные ранее множественные функции и формы исследований, критической рефлексивности и генеративной теоретизации. В то же время, мы считаем эти отношения преимущественно диалогичными, областью не только для академического дискурса и практики, которая просачивается наружу, но и для того, чтобы дискурсы и практики организации проникали в научную среду.

Вместо того, чтобы строить теории об этих отношениях, может быть полезно исследовать отдельную попытку реализовать многие из этих предложений на практике. Описание поможет продемонстрировать потенциал и ограничения этих предложений, когда они активизируются в организационной обстановке. В предыдущей главе была описана консультация, в которой мультинациональная фармацевтическая компания обратилась к Гергенам за услугой. Согласно описанию проблемы, организация распространилась в пятидесяти разных странах, после чего она столкнулась со значительными трудностями в эффективной коммуникации и координации действий. Люди, выполняющие разные функции в разных странах, не могли понять либо оценить подходы и решения друг друга. Особенно напряженными были отношения между компанией-учредителем и зарубежными филиалами; каждая сторона была настроена критично и с недоверием к действиям других.

С модернистской точки зрения, в этот момент было бы уместно начать многосторонний исследовательский проект, в котором мы бы попытались точно обозначить происхождение проблемы, определяя конкретные условия, структуры или людей, ответственных за нее, и, основываясь на результатах такого исследования, составить рекомендации для плана действий по улучшению. Однако, с постмодернистской точки зрения, существуют веские причины отказаться от этого варианта. Дело не только в том, что «проблема» продолжает меняться по мере того, как выполняется исследование и осуществляется вмешательство; сама идея о том, что существует единственный набор предположений, которые точно отразят природу условия (или его «причинно-следственной» подоплеки) – это серьезное

заблуждение. Затем, обеспечить эту интерпретацию эмпирическими данными и представить ее как авторитетную (как независимую истину) – значит вступить в нечестные отношения с организацией. Противостоящие реальности подавляются во имя «научного авторитета».

Учитывая эту и другие проблемы с модернистской ориентацией, мы сначала установили серию *генеративных диалогов*, в которых мы, как консультанты, играли роль, нацеленную на сотрудничество. Проводя интервью с различными менеджерами на различных уровнях организации – как в компании-учредителе, так и в филиалах – мы изучили их взгляды на различные отношения в организации. Мы пытались не найти и определить «проблему» со все большей точностью, а выделить дискурсивные ресурсы, которые бы позволили менеджерам устраниться из повседневных дискурсов отношений и взглянуть на свою ситуацию рефлексивно. С одной стороны, мы надеялись ослабить осадочные реальности в основе «проблемы» и приумножить голоса, которые могли бы обсуждать вопросы, тем самым предлагая больше вариантов действий.

Хотя наши дискуссии были весьма разнообразны, две формы вопросов были одинаковы для всех: во-первых, мы просили участников описать случаи, в которых коммуникация и координация были крайне эффективны. Основываясь на работе Шривастры и Куперрайдера[510] о методе позитивной оценки ситуации, мы стремились, в первую очередь, деконструировать общепринятое представление о неудаче («у нас серьезная проблема»), а во вторую – обеспечить ряд позитивных примеров, которые могут послужить практическими моделями (источниками для реконструкции). Однако мы также исследовали области, в которых, по мнению менеджеров, существовали специфические проблемы в коммуникации и координации. Этим мы стремились преодолеть привычные конструкции дефицита в организации, которые можно использовать, чтобы генерировать дальнейшие диалоги (например, логические обоснования для ситуации «нам нужно поговорить»).

Второй этап проекта был предназначен для того, чтобы *представить концептуальные ресурсы*. Учитывая рассуждения, изложенные выше, мы считаем, что теорети-

ческий дискурс (когда он должным образом истолкован) имеет потенциал импульса, катализатора в области практики. Внедрение новых метафор, нарративов или образов может помочь найти новые способы действия. Однако было необходимо, чтобы эти источники отражали предыдущие диалоги – чтобы они объединяли организационную реальность с научными рассуждениями. Поэтому мы разослали всем участникам письма, в которых подводили итоги их комментариям. Эти итоги были сформулированы в терминах, ключевых для постмодернистской организационной теории. С одной стороны, мы использовали описания менеджеров, чтобы проиллюстрировать недостатки модернистской организации – ее иерархий, сингулярной логики, четкого разделения границ, индивидуалистических взглядов на лидерство и так далее. Затем мы часто связывали позитивные примеры с постмодернистскими концепциями организации, в том числе, например, совместную работу, интерактивное принятие решений, создание реальности, мультикультуральные ресурсы и координацию интерпретаций. На самом деле, проиллюстрировав ряд концептов и образов текущими практиками из организации, мы надеялись, что в организации можно применить теоретические источники для использования в разговоре.

На третьем этапе мы попытались *расширить пространство для разговора*. То есть, заручившись разрешением различных участников, мы представили содержание их интервью другим менеджерам. Мы широко распространили эти документы в попытке (1) обогатить ряд источников для разговора, доступных участникам, (2) обеспечить позитивные образы для использования в будущем, (3) предоставить задачи, которые могут дать начало дальнейшему обсуждению, (4) внедрить в дискуссии обычный язык (извлекая пользу из постмодернистской организационной теории). На этом этапе мы не можем однозначно утверждать, что действительно ведутся полезные диалоги; это стало бы темой дальнейшего диалога. И было бы однозначно легкомысленно предположить, что этих разнообразных движений достаточно, чтобы изменить корпоративную культуру в целом. По меньшей мере, необходима подготовка менеджеров наряду с изменениями в корпоративных структурах

коммуникации. Однако эти различные обсуждения представили в организации множество конструкционистских предположений, предложили новые формы организационной практики (технологии) и рефлексивно пополнили нашу собственную теоретическую ориентацию, и все это – чтобы поощрить новые и трансформативные разговоры.

9.4. В заключение: навстречу разговору-катализатору

В данной главе мы сначала выделили и связали ряд предположений, ключевых в науке об организациях. Затем эти модернистские предположения были поставлены под сомнение путем их рассмотрения сквозь призму постмодернистской критики. После этого мы ушли от критики, чтобы предложить альтернативный взгляд на организационную науку, которая ставит основное ударение на процессы социального конструирования. С этой, последней позиции мы обрисовали принципы того, что мы считаем существенно расширенной и обогащенной концепцией науки об организациях.

И все же эти взгляды едва ли стоит считать окончательными и установившимися. Наоборот – сама концепция науки в постмодернистском контексте настаивает на постоянных взаимообмене, рефлексии и трансформации. Таким образом, данное описание скорее является началом разговора, чем его окончанием. Ни один из представленных аргументов не является безупречным. Например, Жан-Франсуа Лиотар критиковал современную науку за то, что она отказалась от знания как от самостоятельной цели. Он считает: «Знание производится ... для того, чтобы быть проданным, оно потребляется ..., чтобы обрести стоимость в новом продукте. Наука становится производственной силой, другими словами – лишь моментом в процессе капиталооборота»[348]. Разве сегодняшний поиск пользы постмодернистской науки об организациях не подвергается такой же критике? Существует ли более многообещающая альтернатива? Есть и другие вопросы, включая, например, подразумеваемый режим ценностей, содержащихся в этом анализе, возможности бесконечного регресса в аргументации и интеллектуальные и культуральные опасности релятивизма. Так пускай диалог продолжается...

ЧАСТЬ III

СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

10

ОТ ИДЕНТИЧНОСТИ К РЕЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Социальное конструирование и политика идентичности – это «трагичная пара», чьи отношения переполнены страстью, провокацией и вероломством. Этот союз – не из легких, но его чрезвычайная близость породила ряд невероятно влиятельных движений во всех областях. Однако, на мой взгляд, плодородие этой пары стремительно ослабевает. Напряжение между этими в остальном близкими сторонами переросло в ожесточение. Плоды их любви ступили на кривую и жестокую дорожку, где на каждом углу таятся контркритика, издевательства, пренебрежение и неприязнь. А когда в осаде оказывается политика идентичности, социальный конструкционизм кажется подозрительным союзником – если не убийцей. Может ли политика идентичности успешно придерживаться своего курса, и стоит ли поддерживать ее отношения с социальным конструированием? В этой главе я предположу, что политика идентичности не может и дальше успешно придерживаться нынешних способов действия, и что на самом деле мы находим движение, которое бы стремилось к преобразованию. Подобным образом конструкционистские диалоги вступили в новую фазу развития. Этот поворот в конструкционистских изысканиях может и должен сыграть ключевую роль в будущей эволюции политики идентичности. Следовательно, мы готовы вновь разжечь огонь в том, что я буду называть *реляционной политикой*.

Хотя сочетание «реляционная политика» служило множеству разных целей, в моем изложении оно будет означать способ политического активизма – обычно (хоть и не исключительно) инициируемого группами, исключенными из традиционного основного русла политики. Такие маргинализированные группы генерируют самопровозглашен-

ную идентичность (групповое сознание), характеризуемую индивидуальными идентичностями ее членов. Политика идентичности отличается от многих социальных движений (например, левого или фундаменталистского христианского активизма) тем, что ее члены – например, женщины, афроамериканцы, геи – политически определяются как отдельные люди. Политика и личность фактически неразделимы. Эта неразделимость в основном зависит от восприятия природного. Человек может по желанию или по прихоти присоединиться к Национальной стрелковой ассоциации или к Клубу восхваления Господа. А вот к коренным американцам или темнокожим мусульманам так присоединиться нельзя. Человек попросту является – от природы, по традиции или из-за сложившихся обстоятельств – американцем азиатского происхождения, лесбиянкой или членом низшего класса. Преимущественно именно из-за «естественного» положения своих членов группы претендуют на определенные неотъемлемые права – например, на равные возможности, равное отношение, свободу действий, участие в демократическом управлении.

Почему же «роман» завязался именно между политикой идентичности и социальным конструкционизмом? Существует много причин. Среди них – то, что обобщенный переход к социальному конструированию в научных кругах предоставил мощную базу обоснований для политического и морального активизма. Большую часть прошлого века научные круги наслаждались тем, что среди них считалось идеологической беспристрастностью (например, *Конец идеологии* Белла). Считалось, что функция исследования – определить объективно истинное, и эта позиция была резюмирована в позитивистко-эмпирической позиции в естественных и социальных науках. Утверждалось, что моральные и идеологические обязательства усложняли поиски, и приводили к предвзятости и заблуждениям («настоящая наука стремится к истине, а не к благу»). Однако, когда конструкционистская критика поставила под сомнение претензии на объективность – истину за пределами культуральной точки зрения – она также уничтожила разделение «есть/должно быть». Дискурсы истины, объективности и рациональности не только перестали быть главны-

ми риториками – их сторонники казались виновными либо в невежестве (недостатке рассуждений или подразумеваемой идеологии), либо в эксплуатации (маскировке своекорыстной идеологии под личиной нейтральности). Следовательно, конструкционистский штурм привел к медленному разрушению авторитета и к одновременному освобождению политически и морально заинтересованных исследований. Если профессиональная работа ученого – неизбежно политическая, как полагают конструкционисты, тогда этот ученый получает в свое распоряжение новую и вдохновляющую цель. Вместо того, чтобы генерировать знание, которое, *может быть,* используют члены общества, ответственные за принятие решений – как себе воображали ученые собственное предназначение – процесс генерирования знания сам становится средством создания хорошего общества (исследования женщин, исследования темнокожих, квир-исследования являются наглядными примерами такого импульса).

Таким образом, конструкционизм не только помог распалить политический импульс, но и создал мощный набор инструментов для общественной критики. Как мы обозначили в предыдущих главах, конструкционистские исследования показали, как претензии на истинное и хорошее рождаются из исторических традиций, подкрепляются социальными сетями, объединяются с помощью литературных тропов, легитимизируются благодаря риторическим механизмам и служат особым идеологиям, создавая структуры власти и привилегий. Для искушенного конструкциониста не существует неуязвимых и неопровержимых позиций, фундаментальных гарантий, трансцендентных рациональностей или неоспоримых фактов как таковых. Сейчас важнее всего то, что многие из этих способов деконструирования оппозиции «готовы к употреблению»; их можно (и так и происходит) легко перефразировать для повседневных жаргонов политического активизма.

10.1. Крах политики идентичности

Вы не ошибетесь, если разглядите в замечаниях выше толику ностальгии. Это были времена головокружительно-

го возбуждения, разрушения идолов, блестящих дискуссий и прозрений о добродетели. Я не считаю, что уже целиком изучены все последствия этого периода, или что их потенциал исчерпан. Однако, с моей точки зрения, огромная сила политики идентичности при поддержке и содействии конструкционистских диалогов начала ослабевать. Во многом такое понижение эффективности можно понять с точки зрения культуральных перемен – перемен, которые отчасти можно проследить к влиянию самой политики идентичности. Чтобы я мог принять конструкционистскую точку зрения и продолжил аргументы, представленные в 3 главе, позвольте мне сфокусироваться только на риторике политики идентичности.

Вначале преобладающая риторика не имела особого влияния за пределами групп, которые ее придерживались. Для жертв – тех, кто больше всех нуждался в «политическом образовании» – такая риторика чаще бывала отчуждающей или контрпродуктивной. По большому счету, политика идентичности зависела от риторики вины, иллокутивное влияние которой создано, чтобы наказать жертву (за то, что она – несправедлива, предвзята, негуманна, эгоистична, деспотична и/или жестока). В западной культуре мы, по сути, имеет два способа реагировать на такие формы наказания – принятие или сопротивление. Способ принятия («Да, теперь я вижу свои ошибки») требует обширной предварительной структуры пониманий (например, история, которая легитимизирует авторитет и суждения критика, и которая призывает жертву критики к ответу). Однако, поскольку в политике идентичности нет предварительно установленного контекста, чтобы поместить жертву именно в такую ситуацию, реакция на критику обычно враждебная, защитная и контробвинительная.

Такие враждебные ответы также поддерживаются различием дискурсивных миров критика и жертвы. То, что с одной стороны считается «эксплуататорской платой» с одной стороны, считается «справедливым заработком» с другой; «предвзятые решения» с одной стороны нарекают «заслуженным решением» с другой; попытки побороть «исключающие предрассудки» считаются нарушением «порядочного и дружелюбного общества»; то, что для

критика является «закоснелой узостью взглядов», для его жертвы становится «стремлением сохранять традиции». В таких условиях те, кто становится мишенью критиков, с наименьшей вероятностью будут соблюдать осторожность, и с наибольшей – присоединятся к оппозиции. Как утверждает Мэри Энн Глендон в своей книге *Обсуждение прав*, риторика прав «поляризирует дебаты; она склонна подавлять моральную дискуссию и стремление к согласию. Как только план действий объявлен «правильным», разумные дискуссии и сдержанные позиции исчезают».

Стоит добавить, что такое враждебное противостояние не ограничивается отношениями критика и жертвы – оно распространилось и на многие политические движения в целом. Будучи излюбленным способом взаимодействия с другими людьми, риторика вины также становится главным инструментом для исправления всего, что не так с политическими движениями. Любое движение, которое обвиняет культуру в подавлении голосов, вскоре обнаружит, что и в его собственных рядах некоторые голоса «равнее» других. В борьбе за экономическое равенство женщины атакуют мужчин за их патриархальную позицию; в борьбе за гендерное равноправие женщин обвиняют в том, что они заглушают голос темнокожих; привилегированные в образовании оказываются виноватыми в использовании элитистского и исключающего языка; гетеросексуалы виноваты в политике, ущемляющей геев; и так далее. В качестве примера: выдающийся темнокожий автор Патрисия Хилл Коллинз[106] пишет о необходимости создания отдельного темнокожего феминистского движения. Однако она также выступает за «критическую позицию в отношении научных исследований популярных вопросов, вопросов феминизма и положения темнокожих»[106]. Здесь она присоединяется к другим выдающимся темнокожим мыслителям, а также к целому ряду латиноамериканских, коренных американских и азиатско-американских женщин, обвиняя феминизм в скрытом расизме и в чрезмерной заботе о проблемах белых женщин из среднего класса.

Доминирующая риторика политики идентичности не только сеет распри в итоге – существуют также важные области, в которых она потеряла эффективность из-за соб-

ственного избытка. Например, риторика прав бесследно прошла через спорные контексты. Там, где велись самые выдающиеся битвы за классовое, расовое и гендерное равенство, формы риторики стали доступны всем тем, кто страдает. Очень быстро к большой тройке присоединились коренные американцы, азиатские американцы, латиноамериканцы, пожилые, бездомные, бывшие душевнобольные, инвалиды, геи и лесбиянки, а также противники абортов и эвтаназии и борцы за права детей. Мы также наблюдаем споры о праве на высшее образование, праве осужденных на смерть заключенных рожать детей и продолжать свой род, а также о праве женщин справлять нужду в общественных местах. Амитай Этциони утверждает: «Непрестанное создание новых прав, подобно оптовой печати валюты, приводит к масштабной инфляции прав, которая обесценивает их моральные притязания»[161]. Глендон[221] добавляет, что обсуждение прав содержит «скрытое положение о том, что мы, по большому счету, скитаемся по земле среди чужаков и, предположительно, не должны никому ничего – лишь избегать наносить другим прямой вред». Другие критики гораздо резче. Журналисты национальных газет даже говорили о «лепете о правах».

Наконец, благодаря относительно длительному присутствию риторики в культуральной жизни, было достаточно времени для развития эффективной контрриторики. Как отмечает Хиршман в *Риторике реакции*[266], дискурсивные попытки препятствовать социальным переменам имеют богатую историю. Однако последние несколько десятилетий способствовали множеству новых опровержений, ведущих к самоизоляции. Например, существует оплот «виктимизации», в котором утверждается, что если человек нарекает себя жертвой деспотичных обстоятельств, это – лишь оправдания, чтобы прикрыть собственные неудачи, бездействие или безответственность. Реакционный критик Чарльз Сайкс[525] предполагает, что мы стали «нацией жертв», и что риторика прав и обвинений ответственна за «разложение американского характера». В своей книге *Оправдание насилия* Алан Дершовиц утверждает, что мы стали нацией «слезливых историй». Благодаря тому, что ее позаимствовали непосредственно из политики иден-

тичности, риторика политкорректности стала одной из самых мощных опровергающих риторик. Меньшинства так резко критикуют установленные политические стратегии и практики, что они приобретают тиранический характер для адресатов такой критики – и в результате нарушаются права на традицию и голос *последних*. Как недавно отметил один комментатор, вероятно, это едва ли не первый раз в истории нации, кода обе стороны политических дебатов основывают свою защиту на гражданских свободах. Наконец, с тем, как антилибералистские критики вроде Майкла Сандела[464] начали подрывать оправдание индивидуальных прав, открылся путь к риторике ответственности, которая бы заменила риторику прав. Именно эта последняя риторика позволила Коммунитарному движению достичь такой высокой культуральной видимости.

10.2. Конструкционистский парадокс

Политика идентичности не только была приведена в достаточную боевую готовность превратностями культуральной истории – в ней также начало чувствоваться определенное удушающее присутствие ее конструкционистского «партнера». Ведь, в то же время, как социальный конструкционизм предоставляет яркие и живые дискурсивные источники для выстраивания внутренней силы и расшатывания оппозиции, он еще и создает хаос в ключевых установках политики идентичности. В частности, как указано в 1 главе, конструкционизм предлагает убедительные аргументы против реализма, эссенциализма и этического фундаментализма, присущих дискурсу политики идентичности.

В первом случае социальная критика, развитая в рамках политики идентичности, обычно основывается на реалистском дискурсе – дискурсе, который отдает своей критике привилегию доступа к независимой истине. В определении границ класса, «стеклянного потолка», гомофобии, влияния порнографии на изнасилования, эмбриона как живого существа, высказываются утверждения о состоянии природы, независимом от наших интерпретативных склонностей. Безусловно, для конструкциониста такие утверждения – это не столько отражения природы, сколько

результат социального процесса. Такие описания неизменно определяются как исторически, так и культурально, и с других общественных позиций доступными и вероятными являются мириады других альтернатив. Реалистская позиция тем более иронична, по мнению конструкциониста, потому что такая критика часто идет рука об руку с деконструкцией объективности противника. Сконструированный характер доминирующего дискурса используется политиком идентичности, чтобы проложить путь для маргинализированной альтернативы, чтобы эта позиция в результате считалась прозрачной.

С проблемным реализмом тесно связано эссенциалистское предположение, лежащее в основе большей части политики идентичности. Заявления о правах женщин, детей, пожилых, бедных, душевнобольных и так далее обычно подразумевают наличие существенной совокупности – группы, объединившейся благодаря ее отличительным чертам. Название группы считается референтным – полученным из характеристик, существующих в природе и независимых от самого названия. Конечно, для конструкциониста референтность – это, преимущественно, социальное достижение, а потому оно оспоримо по своей природе. Реальность истории, этнической принадлежности, класса и так далее генерируется в современной культуральной жизни, и она может быть разной. Как утверждает Генри Луис Гейтс[190], темная кожа – это «не материальный объект, абсолют или событие», это просто «троп». И, основывая свой аргумент на социальном процессе, он продолжает: «Раса – это всего лишь социально-политическая категория, и больше ничего». Когда эта социально-политическая категория применяется к людям, она также выступает фактором ослабления, ограничивая идентичность человека и сводя на нет его потенциал быть чем-то иным. В своих *Размышлениях ребенка позитивной дискриминации* Стивен Картер предполагает, что такие ярлыки функционируют как проблематичные стереотипы, которые маскируют сложные моменты и генерируют обманчивые социальные стратегии[88].

Наконец, конструкционистская мысль свидетельствует против притязаний на этические основы, которые можно

найти в политике идентичности – притязаний на «землю обетованную», с которой можно с такой уверенностью осуждать других людей, объявляя их негуманными, корыстными, предвзятыми и несправедливыми. Конструкционистская мысль служит нам болезненным напоминанием о том, что у нас нет трансцендентных принципов, на которых мы могли бы обосновать такие обвинения, и что наше моральное негодование само по себе является продуктом исторически и культурально определенных традиций. И потому конструкционист подчеркивает: возможно ли, что те, кого мы пытаемся разгромить, также живут в традициях, которые для них исполнены этической важности? Таким образом, мы находим, что социальный конструкционизм – это палка о двух концах на политической арене, потенциально одинаково опасная как для карающей длани, так и для оппозиции.

10.3. Реляционный поворот в социальной конструкции

Как предполагают многие, политика идентичности приближается к тупику. Она больше не кажется эффективным способом утверждения голоса, достоинства и равенства. Однако, что более оптимистично, я вижу признаки значительной трансформации как в политике идентичности, так и в социальном конструкционизме. В первом случае, например, «левый» активист Тодд Гитлин отчаивается из-за того, во что превратилась политика идентичности, стремительное развитие которой, по его словам, «ведет к углублению в себя, к мрачной и таинственной браваде, прославляющей виктимизацию и стилизированную маргинальность»[220]. Темнокожие мыслители – Корнел Уэст, Тони Моррисон и Генри Луис Гейтс – также стали критично относиться к прошлым политическим позициям и теперь вторят тем многим, кто ищет эволюции в политике идентичности. А потому позвольте описать то, что, как мне кажется, является ключевым результатом современной конструкционистской мысли. После этого мы можем рассмотреть, как это движение способствует (заново) представленному политическому порядку.

С момента их возникновения как обладающей самосознанием силы (в особенности в 1970-х), работы социальных конструкционистов были во многом деконструктивными в своих целях и результатах. Демонстрируя социальные, лингвистические, риторические, идеологические, культуральные и исторические силы, ответственные за генерирование мира знания – как профессионального, так и повседневного – они бросили вызов всем притязаниям на авторитет, истину, рациональность и моральное превосходство. Как мы описывали во 2 и 3 главах, эти работы были крайне эффективными силами, которые расширяли права на обсуждение реального и хорошего. И, хотя эти попытки обязаны продолжаться, их одних недостаточно. Отчасти недостаточно потому, что их главная роль – симбиотична: критика находится в состоянии покоя, пока шуты не принимаются плясать. В то время, когда конструкционистский дискурс помещается на орбиту, когда он начинает постепенно подстраиваться под те способы, которыми мы описываем и объясняем, он также поощряет альтернативные формы действия – новые паттерны отношений. В определенных отношениях эти паттерны представляют альтернативы, смещающие вековые традиции. Фактически, конструкционизм скрывает в себе огромный революционный потенциал для наших культуральных форм жизни. В исследовании этого потенциала конструкционистское исследование переходит от симбиотической к продуктивной позиции – от деконструирования к реконструированию.

Я многое говорил об этих положительных результатах в предыдущей работе[204] и, действительно, предыдущие страницы сполна иллюстрируют этот взгляд в действии. Однако для целей данной книги я хочу сосредоточиться на лишь одной возникающей разработке, а именно – на реляционной теории и практике. В своих диалогах конструкционисты постоянно недооценивают важность отношений как матрицы, из которой извлекается значение. Именно в генерировании координаций – действий, слов, объектов – рождается человеческое значение. Все, что мы считаем истинным о природе, о разуме, о себе и о других, происходит из отношений. Или, говоря словами Мартина Бубера[79], «В начале есть отношение». Именно такая линия рассуждения стала

красочной противоположностью концептуальному движению от индивидуального к реляционному «Я» (2 глава), терапевтическому движению от исследования индивидуального разума к совместно конструируемым реальностям (6 глава), педагогическим практикам коллаборативного обучения (7 глава) и тем практикам мультинациональной организации, в которых мы нашли этический потенциал (8 глава). Этот поворот в конструкционистской мысли – это не шаг к объявлению новой истины, истины отношений; скорее, этот поворот в чувствительности открывает новое пространство для инноваций и трансформаций.

10.4. Навстречу реляционной политике

Если мы расширим реляционную метафору, каковы последствия политики идентичности? С моей точки зрения, ее потенциал довольно внушителен. На самом деле, я считаю, что здесь мы видим зарождение самой разнообразной ревитализации и трансформации. Позвольте мне обрисовать такую трансформацию в *реляционной политике* – политике, в которой противопоставления «Я»/другой, мы/они заменяются осознанием и оценкой важности реляционного процесса. Именно в такие практики, которые освобождаются от ограниченного «свертывания» смысла, и помещают разрозненный дискурс на общую орбиту, мы и поместим источник жизнеспособных социальных изменений. Здесь я не веду речь о простой фантазии, очередном грандиозном, но неосуществимом плане, оторванном от реальности. Скорее, я полагаю, что реляционная политика уже бросается в глаза; она еще не совсем обладает самосознанием, но уже стремится к общей понимаемости во многих направлениях. Здесь я хочу рассмотреть только три конкретных направления развития: пересмотр «Я» и другого, дискурсивная практика и социальное действие.

Ре-теоретизирование «Я» и другого

В значительной мере политика идентичности – это потомок западной, индивидуалистической идеологии. Группа заменяет индивидуального человека в центре внимания, но это не разрушает дискурса индивидуальности. Скорее, дис-

курсивно с группой обращаются так же, как и с человеком: ей приписывают благие и дурные намерения, считают ее достойной порицания или же прав и так далее. Несмотря на переход к социальному, мы снова наследуем проблемы индивидуализма – просто теперь одной «ступенькой» меньше. Вместо общества изолированных и отчужденных людей – потенциальная война всех против всех в индивидуалистском смысле – мы получили поле битвы враждующих групп. Как сказал Джеймс Хантер[281], теперь мы участвуем в «культуральных войнах».

Сторонники политики идентичности теперь особенно остро осознают проблематику разделения. Как они подчеркивают, доминирующая культура уже склонна к объективизации Другого. Словами дю Приза[147], другого вынуждают идти прямиком в *ловушки идентичности*, которые подтверждают чувство превосходства и собственного достоинства у доминирующей культуры. Именно в этом свете мы можем понять попытку темнокожих мыслителей стереть границы этнической, сексуальной и политической идентичности. Например, в своей работе *Вопросы расы* Корнел Уэст предупреждает об опасности очерчивания четких границ «черной» культуры и стремится к «искреннему признанию базовых человечности и «американскости» в каждом из нас». Подобным образом, Стэнли Крауч в *Записках судьи, выносящего смертный приговор* утверждает, что политика должна учитывать афроамериканцев «на как аутсайдеров» – отдельной и самостоятельной группы – а как участников обширных анклавов общества, например, «избирателей, налогоплательщиков и трезвых мыслителей». В этом же ключе Тодд Гитлин ведет речь о *политике общности*, которая направлена на понимание различий «на основе того, что *не* различается – то есть, того, что у групп общего»[220].

Это – полезные побуждения к преодолению традиционного противостояния «Я»/другой. Конструкционистский переход к отношениям предлагает ресурсы и для дальнейшего движения вперед. Перед нами возникает возможность развивать способность понимать, которая выходит за рамки идентификации разделимых единиц – я/ты, мы/они – и которая может создать реальность с более фундаменталь-

ной соотносимостью, более ощутимой неразделимостью. Именно здесь предыдущее обсуждение реляционных «Я» (2 глава) особенно уместно. По мере того, как мы реконцептуализируем мысль, воспоминание, эмоцию и так далее как реляционные комплексы эмоциональных представлений, различие между «Я» и другим размывается. Тенденция видеть социальный мир сложенным из индивидуальных единиц – людей либо групп (а, следовательно, и этнических групп, классов, институтов и наций) – уступает концепции реляционного процесса. Центр внимания смещается на процессы, которыми то, что мы считаем единицами (люди, группы и т.д.), появляются на свет. Здесь мы сосредоточиваемся не на танцорах, а на танце.

Хотя уже многое было сказано о реляционной теории в предыдущих главах, эти попытки все еще находятся на стадии зарождения. Захватывающими также являются: концепция самопозиционирования Дэвиса и Арре[132], «сети разговора» Тэйлора[530], «неоднозначность подлинности» Митчелла[377] и «Я» как терминалы множества сетей Бодрийяра[35]. Помимо этого, заманчивыми кажутся циркулирующие образы *многокомпонентных* «Я» – то есть, имеющих множество граней, каждая из которых отражает отдельную область человеческих отношений и представляет лишь один отдельный компонент целого. В связи с этим вопросом на ум приходят книги *Идентичность/различие* Коннолли[109] и *Гендерное беспокойство* Джудит Батлер. В каждом случае мы находим богатый набор образов, которые могут значительно изменить нашу интерпретацию социальной жизни. По мере того, как реальность становится все более понимаемой, мы находим все больше обоснований для дальнейших рассуждений о политике идентичности. Чтобы вкратце ознакомиться с перспективами, нам предлагается рассмотреть возможность того, что:

- Не существует естественной (биологической, генетической) основы для межгрупповой вражды (как привыкли утверждать социобиологи, этологи и фрейдисты). Насилие – это важное па в реляционном танце; этот танец уходит корнями в историческую традицию и подвергается изменениям как на уровне широких масс, так и на политическом уровне.

- Предвзятость не зарождается в индивидуальном разуме. Предвзятое действие – это значимый ход во множестве разных культуральных сценариев. По мере того, как разворачиваются сценарии, открывается путь и для предвзятых действий. Благодаря нашему участию в культуре (включая ее масс-медиа) все мы способны на такие действия. Таким же образом все мы способны на любящие, заботливые и социально ответственные действия. Фактически, все действия – это побочные продукты существующих реляционных форм.
- Идентичность – индивидуальная или же групповая – не происходит из природы мира. (Между людьми или группами не существует необходимых или естественных различий). Скорее, идентичность – это реляционное достижение. Обособление (или объединение) – это лишь один из множества способов, которыми мы можем описать или объяснить мир. И такие формы дискурса затуманивают область человеческих связей.
- Не существует способов достичь окончательной победы (политической, экономической, военной), если победа значит уничтожение противника (или его позиции). Осудить, разгромить или объявить войну сконструированному другому в нашем обществе в итоге неизбежно приведет к саморазрушению; ведь в фундаментальном смысле мы сами являемся другими. Мы рождаемся из собственных отношений и получаем чувство собственной идентичности из отношений.
- Трансформация общества не зависит от смены убеждений, верований, политических ценностей или представления о хорошем. Скорее, трансформация потребует высвобождения позитивного потенциала, присущего реляционному процессу. Фактически, мы должны определить ряд реляционных форм, которые делают возможной коллективную трансформацию, в отличие от отчужденной диссоциации. Ниже мы подробнее разъясним последнее утверждение.

Навстречу реляционному дискурсу

Вдобавок к развитию реляционных концепций «Я» и другого, реляционная политика способствует исследова-

нию альтернативных способов говорить/действовать с другими – в частности, с теми, с кем мы бы иначе не согласились. Это не потому, что нам нужны более привлекательные, резкие или витиеватые слова, чтобы объяснить свою позицию. Я не говорю об «убийственных аргументах» или «занятной истории». Скорее, дискурс важен, потому что он сам по себе является составляющей частью отношений. Как социальное действие, дискурс – это способ, которым строятся отношения; смена способа говорить или писать является скорее побуждением сменить характер отношений. Здесь и в предыдущих главах мы вкратце ознакомились с некоторыми способами, которыми традиционная риторика – например, притязания на истину и моральный авторитет и критические атаки – функционирует, чтобы изолировать, распалить и усилить конфликт. Следовательно, эффективная реляционная политика требует поэтического «скачка» к новым формам дискурса и, конкретнее, к формам, которые приветствуют более обширные возможности взаимной поддержки. Или, как сформулировал Дэвид Голдберг[222], необходимы новые *внедряющие метафоры* – в этом случае не для теоретического развития, а для использования в суматохе повседневных взаимодействий.

Именно в этом контексте многие коллеги присоединились к Шейле МакНами и мне[368], чтобы исследовать потенциал *реляционно ответственного* дискурса. Как утверждается в этом случае, если мы придадим ценность процессу создания значения – фактически, того процесса, без которого не было бы области политической ценности – наше внимание обращается к формам дискурса, которые противостоят этому процессу, чтобы его разрушить. Поднимается вопрос: какими способами мы можем говорить, чтобы при этом сохранялись наши способности к продуктивному (а не к деструктивному) генерированию значения? С нашей точки зрения, индивидуальное обвинение – это один из основных дискурсивных ритуалов, который часто разрушает основу для длительного взаимодействия. Дискурс вины во многом функционирует подобно критицизму (3 глава), поскольку жертву обычно унижают, отделяют от общества блага и тем самым изгоняют ее. В процессе обвинения отметается целое море сложных условий, в которых нахо-

дится каждое действие, и причиной этого действия становится единственный человек. Быть реляционно ответственным – значит определять альтернативные формы дискурса, которые могут послужить заменой для ритуала обвинения и упреков. Как еще мы можем говорить, чтобы быть в состоянии изменить или прекратить нежеланное действие, при этом поддерживая отношения взаимного уважения?

Давайте рассмотрим лишь один вариант – построение совместных отношений[368]. Как мы увидели, все больше возрастает интерес к переходу от риторики антагонизма и разделения к формулированию представлений о единстве. Дискурсивный переход от *я/ты* к *мы* имеет огромные последствия для политического процесса. Конструкция разделения уступает место конструкции общих вкладов. Следовательно, практический вопрос заключается в том, как в ходе разговора выстроить совместные отношения. Все единицы социальной жизни – начиная с индивидуального человека, продолжая обществом и заканчивая государством – являются реляционными конструкциями. Обычно необходимо координировать разговор, чтобы они признали себя такими единицами. Таким образом, как только возникает антагонизм – признание противостояния *я/ты* – мы сталкиваемся с возможностью создать трансцендентный дискурс *мы*. Чтобы заменить ритуал обвинения, необходимо начать реляционно ответственное исследование о том, как же было совместно совершено осуждаемое действие. Как же мы *вместе* создали ситуацию, в которой произошло недопустимое действие? Такое исследование не только позволяет участникам сохранять творческую связь, но и открывает новые направления исследования. Дело не только в том, что отдельный человек должен «исправиться» – скорее, происходит изучение возможностей сотрудничества.

Позвольте мне привести простой пример. Несколько лет назад мы с моей женой, Мэри, ехали по опасной дороге над обрывом в южной Европе. Не прекращаясь лил дождь, видимость была минимальной, движение транспорта на дороге – опасным, и мы опаздывали на встречу. Мы оба были крайне напряжены, и, поскольку мое вождение было не безупречно, настроение Мэри становилось все критичнее, а я становился все раздраженнее и раздосадованнее от ее

обвинений. Вскоре нам нужно было опасаться не только дороги, но и самих себя. После того, как мы чуть не попали в чудовищную аварию, я остановился на обочине, чтобы мы могли взять себя в руки. Тогда мы решили реконцептуализировать поездку. Вместо того, чтобы определять меня как «водителя», а ее – как «пассажира в опасности», мы решили, что лучше эти роли разделить. МЫ будем вести машину, и МЫ будем критиковать – вместе. Она стала дополнительной парой глаз на дороге, а я развил самокритичную позицию. Результаты были удовлетворительными: мы не только избежали разрушения наших отношений, но и выжили, чтобы рассказать об этом.

Однако, в более общих масштабах, с процветанием дискурса совместных отношений мы сталкиваемся с возможностью того, что политические партии могут прекратить обвинять друг друга в разнообразных государственных или социальных неудачах. Многие считают, что ритуал взаимных обвинений подорвал потенциал эффективной политической деятельности на национальном уровне. Буквально все предпочтения одной политической партии автоматически становятся мишенями критики со стороны другой партии; буквально все заявления о достижениях сводятся на нет; причины всех неудач прослеживаются до дел рук оппозиции. С переходом к совместным реальностям мы открываем пространство для альтернативных разговоров. Как «мы вместе» создали условия для неудачи; как мы совместно добились нынешних достижений, и возможно ли объединить разные предпочтения новыми, креативными способами? Реляционная политика не должна скрывать или уничтожать различия; однако можно многого добиться, если считать, что эти различия происходят из реляционного процесса, а не появились независимо друг от друга. Мы едва ли прошлись по поверхности «выполнимых» словарей реляционной ответственности; будущее остается открытым и неизвестным. Давайте же наконец обратимся к более прямым формам политических действий.

Политика реляционной практики

Трансформации в теоретических ресурсах и дискурсивных практиках едва ли достаточно. Крайне необходимы ин-

новационные формы политических действий. С моей точки зрения, одна из наиважнейших инноваций, полученных из движения политики идентичности – это внушительное расширение арены политического. В частности, политическая практика больше не является уделом формально воспринимаемой политики – кампании, голосование, занимаемый пост и так далее. Она также перестала быть иерархичной – потоком, движущимся от высших эшелонов вниз к простым людям. Скорее, осуществление политики стало делом каждого, начиная с локальной и непосредственной арены – на улицах, в школьных классах, в бизнесе и так далее. Более того, как мы со временем узнали – в особенности от активистов феминистского движения – не бывает деятельности, которая не политична по своей сути: от мультиков, которые смотрят наши дети, до покупки шампуня и рубашек. В этом смысле, политическое действие не требует ни агрессивной поддержки конкретных планов действий, ни партийного членства, чтобы быть эффективным. Мне кажется, что можно перспективно сформировать будущее реляционной политики, объединив эти открытия: мы можем считать реляционную политику *обезвреженной* (в смысле ослабления агрессивных или деспотичных стремлений) и *рассеянной* (в смысле ее распространения на все формы отношений). Политика в реляционном режиме может быть незаметной, гибкой и постоянной – не работа конкретных групп в определенных областях, считаемых «политическими», а работа всех нас, во всех наших взаимоотношениях.

Здесь меня особенно интересуют формы практики, наполненные или согласованные с реляционным поворотом в конструкционистской теории. Как мы можем перейти от аргументации, возбуждения и препирательств к обычным, но непрекращающимся формам взаимно поддерживающей деятельности? Какие можно сгенерировать формы практики, чтобы перейти с их помощью от изоляции и обособления к взаимному обогащению идентичностей, объединению практик, переплетению «Я» и бесконечно расширяющимся формам скоординированных действий? Я считаю, что такие практики возможны и, на самом деле, существует множество примеров такой инновации. Некоторые из них были описаны в предыдущих главах этой книги – в част-

ности, примеры терапии, образования и письменного стиля. Например, конструкционистский ход в терапии (6 глава) успешно перенес внимание с несовершенных людей на реляционные процессы. Суть в том, что мы переходим от того, кто или что является дефективным, к тому, как мы интерпретируем паттерны жизни как дефективные, и какие альтернативные формы конструкций могут позволить отношениям развиваться дальше более согласованно. Следовательно, терапия нацелена не на нахождение зла (болезни, нарушения) и не на его исправление, а на координацию значений с отношениями так, чтобы дискурс зла считался устаревшим. В случае с образованием (7 глава) мы обсудили недавно возникшие практики коллаборативного обучения, критического рассуждения, многоголосой грамотности и диалогической оценки. А в случае с академическим письменным стилем (7 глава) мы пришли к формам репрезентации, которые укрепляли отношения. Я считаю, что эти практики – это реляционная политика в действии.

Не существует определенной границы в формах деятельности, которые можно генерировать ради целей реляционной политики. Каждая форма человеческой координации предлагает возможности инновации. Однако несколько согласованных попыток – среди них есть и мои излюбленные – подведут итог этому обсуждению.

ИНСТИТУТЫ, СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НА СООБЩЕСТВЕ. Меня глубоко впечатлила деятельность многих терапевтически ориентированных институтов, нацеленная на выход в общественную работу – не ради конкретной политической поддержки, а ради пересечения границ разделенных дискурса и ценности. Например, выдающейся является работа Сэллианн Рот и Лоры и Ричарда Чейсина и их коллег над Проектом публичных бесед*, в которой они попытались свести лидеров двух враждующих идеологических лагерей – например, тех, кто отстаивал право выбора в вопросах абортов и эвтаназии, и их противников, или же людей с гетеро- и гомосексуальной ориентацией. Цель этих взаимодействий – не отстаивать одну точку зрения в противопоставление другой, не навязать пони-

* *www.publicconversations.org*

мание одной определенной традиции, и не отделаться от конфликта. Скорее, подавляя разнообразные формы разделяющей риторики и одновременно наделяя голосом нарративы прожитого опыта («мой опыт с абортом», «каково мне быть геем»), мы пытаемся открыть способ внедрить другого, оценить ситуативный характер рассматриваемых подходов. Нет, это не разрешит идеологический конфликт, но в результате мы получаем гораздо более гуманный способ отношений друг с другом. Также здесь мне приходит на ум впечатляющая работа Фреда Ньюмана и Лоис Хольцман[396;397] и их коллег из института Ист Сайд на Манхэттене. Выходя далеко за рамки терапевтической практики, институт помогает молодежи из гетто организовывать шоу талантов, предлагает проводить публичные диалоги между темнокожими и евреями, и даже организовал многонациональную начальную школу в Гарлеме. Даже тех, кто обращается в институт за терапевтическим лечением, побуждают присоединиться к остальным в организованной политической деятельности – в особенности, в деятельности, которая может облегчить условия, из-за которых у них самих возникают проблемы.

МЕТОД ПОЗИТИВНОЙ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ. В области организационного менеджмента Дэвид Куперрайдер[113] и его коллеги из Западного резервного университета Кейза разработали форму организационной интервенции под названием *метод позитивной оценки ситуации*. Когда организации сталкиваются с конфликтом – между руководством и работниками, мужчинами и женщинами, темнокожими и белыми и так далее – метод позитивной оценки ситуации смещает центр внимания с обсуждения проблемы: кто виноват, в чем корень разногласий, и как разрешить конфликт. Все эти обсуждения лишь способствуют объективизации «проблемы». Скорее, здесь люди пытаются работать с организацией, чтобы определить истории о желательных или идеальных отношениях – случаи, в которых группы хорошо и эффективно работают друг с другом. Затем, по мере того, как эти ценные нарративы представляются коллективному сознанию, организацию побуждают обсудить, какое будущее они могут построить на основе таких случаев. Уже в самом процессе приведения позитивных при-

меров и создания образа желаемого будущего разделяющие конструкции теряют свою силу убеждения. Такая ориентация на позитивное сотрудничество также расширилась на процессы построения сообщества, межрелигиозной интеграции, образования, заботы о пожилых людях, подготовке полицейских и так далее*. А под руководством Блисс Браун и ее коллег граждане Чикаго объединяются, чтобы совместно строить новое будущее. Их программа под названием *Imagine Chicago* («Представьте Чикаго») способствует диалогу, нацеленному на оценку и рост, не только в многочисленных слоях общества в Чикаго, но и в различных экономических и этнических группах**.

Эти реляционные инновации были частью конструкционистских диалогов. Однако есть и другие достойные внимания движения, которые не столько наполнены реляционными концепциями, сколько согласованы между собой. Здесь я хотел бы упомянуть грандиозный рост *частных волонтерских организаций* за прошедшие десять лет – организации, созданные обычными людьми и посвященные человечным и дающим жизнь практикам. Сегодня более 30000 подобных организаций функционируют на транснациональной основе, координируя участников по всему миру в борьбе с голодом, болезнями, СПИДом, загрязнением окружающей среды, в помощи детям и так далее. Как предполагают Куперрайдер и Даттон[113], «глобальная кооперация безгранична». Повсеместное возникновение *виртуальных сообществ* также представляет собой потенциальный вклад в реляционную политику. Сегодня существует более пяти миллионов Интернет-пользователей, значительная часть которых состоит в маленьких сообществах значения со свободными взаимосвязями. Выходя за расовые, этнические, возрастные, гендерные, географические и религиозные рамки, такие области дают возможность начать диалог по бесчисленному количеству вопросов – глубоких и личных***. Также меня впечатлила попытка всеохватыва-

---

* *Смотрите работу Хаммонда[246] и www.TAOS.org; чтобы узнать о продолжающейся дискуссии на эту тему, свяжитесь с новостной группой, написав Джеку Бриттейну (mgtjwb@utah.edu). (прим. автора)*

** *www.imaginechicago.org*

*** *Мы рассмотрим ограничения координации в Интернете в следующей главе. (прим. автора)*

ющего экуменизма* среди мировых религий – например, ее проявление в недавно возникшем Парламенте религий мира. На этой встрече в Чикаго собралось 8000 людей 150 вероисповеданий со всего мира, чтобы обсудить взаимное изучение. В каждом из случаев означаемые преодолевают границы и начинают играть на новых аренах.

10.5. В заключение

Здесь я не хочу утверждать, что мы должны забросить существующую традицию политики идентичности, дискурсы ущемления, справедливости, равенства, прав и так далее, но и не ратую за активизм в ключе «что, съел?», который нам так хорошо знаком. Я не стремлюсь уничтожить существующие словари деятельности. Скорее, я надеюсь, что сегодня мы участвуем в составлении нового словаря, нового сознания и нового ряда практик – реляционной политики, которая будет объединяющей, всепроникающей, коллаборативной и постоянной. Как предположила сторонница лесбийского феминизма Шейн Фелан, «политика идентичности должна основываться не только на идентичности, но и на оценивании политики как искусства жить вместе»[429]. Реляционная политика и является попыткой реализовать это искусство.

* *Экуменизм – движение за сближение и объединение различных христианских церквей (конфессий). (прим. пер.)*

11

ТЕХНОЛОГИИ, «Я» И МОРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Одна из ключевых задач, стоящих перед любой культурой, заключается в том, чтобы обеспечить приемлемый, если не добродетельный, способ коллективной жизни. Фактически, перед каждой культурой стоит задача, которую мы можем в широком смысле назвать *моральным проектом*. По меньшей мере, со времен Просвещения мы в западной культуре жаждали выполнить эту задачу каким-либо способом помимо оружия. Скорее, вместо этой жесткой формы контроля мы в целом желали связать институциональный порядок с рациональной платформой. То есть, мы пытались сконструировать общую для всех нас понимаемость, образ моральной жизни, и способы ее достижения. Более трех столетий надежды на моральное сообщество основывались на двух основных и противоречащих друг другу способах понимать: в центре одного способа лежал индивидуальный моральный агент, а в центре второго – сообщество. Два этих ядра морального действия служат ключевым моментом в данном рассуждении. Могут ли они оставаться полноценными и полезными в двадцать первом веке? Существуют ли перспективные альтернативы?

Давайте предположим, что формы морального способа понимать ни развиваются, ни поддерживаются в «вакууме». Их создание и возможная гибель во многом зависят от существующих условий – как материальных, так и культуральных. Процветание религиозной системы, например, будет зависеть от существующих институтов образования, экономики, государственной идеологии и так далее. В этом свете давайте рассмотрим одну их основных трансформаций двадцать первого века, а именно – *социализирующих технологий*. Начиная с телефона, автомобиля, систем массовых перевозок и радио в начале века и до реактивных

самолетов, телевидения, Интернета, спутниковой передачи, факса и мобильной связи к концу века, дешевые технологии кардинально расширили и укрепили область социальной связи. Говорим ли мы об «информационном веке», «процессе глобализации» или «новом устройстве мира», мы находим, что повседневная жизнь отличается стабильным ростом спектра мнений, ценностей, подходов, отношений, образов, личностей и информации, к которым мы получаем доступ (чтобы ознакомиться с этим аргументом подробнее, смотрите работу Гергена[196]).

Таким образом, ключевой в данном анализе вопрос: могут ли традиционные концепции «Я» и сообщества оставаться правомерной основой для морального порядка в возникающем технологическом контексте? В этой главе я предположу, что эта технологическая трансформация значительно подрывает потенциал и индивидуализма, и коммунализма обеспечить морально жизнеспособное общество. В этих новых условиях необходимы новые формы понимаемости и связанные с ними институты. Рассмотрев разрушение наших издавна существующих традиций, я продолжу развивать тему, общую и для предыдущих глав, и отмечу возникающий потенциал *реляционного бытия*.

11.1. «Я»: гибель от рук технологий

Основываясь на ранних греческих, иудейских и христианских традициях, и наиболее точно сформулировав свою позицию в эпоху Просвещения, мы традиционно считали индивидуального человека атомом морального сообщества. Говорим ли мы о психике, душе, агентности, рациональном рассуждении или сознательном выборе, обычно мы считаем, что моральное действие происходит из особых состояний индивидуального разума. Таким образом, философы пытаются определить основные критерии принятия моральных решений; религиозные институты тревожит состояние индивидуального сознания; суды изучают способность человека различать хорошее и плохое; родители озабочены моральным воспитанием своих отпрысков. В общем предполагается, что благонравный разум побуждает к достойному поведению, и что если достаточно людей

будут совершать достойные поступки, мы сформируем хорошее общество. Именно на таком взгляде и основывается большая часть научных теорий. Кольберг[301] в своем плане зарождения моральной мысли, а также Бубер[79] в своих изысканиях обращаются к другому на ты (англ. *thou*), а Левинас[331] отвечает лицу другого в самом себе. Как уже давно считается, мы должны положиться именно на человека, чтобы достичь морального порядка.

И все же давайте рассмотрим концепцию «Я» в технологическом контексте. Здесь нам будет полезен классический анализ перехода от устной коммуникации к печатным технологиям Уолтера Онга[408]. Онг предположил, что переход от устной к печатной культуре значительно изменил общепринятые формы мысли. Таким образом, например, в «устных» обществах (то есть, в обществах, не использовавших письмо) люди с большей вероятностью зависели от воспоминаний, конкретных (в отличие от абстрактных) категорий, и от избыточности (в отличие от точности). И все же в определенном важном смысле, этот захватывающий тезис реализуется не полностью. Хотя Онг хотел проследить формы ментальной жизни к культуральному контексту, у него не было доступа к самим ментальным свойствам. То есть, в анализе нам рассказывают не о самой ментальной жизни, а об изменениях в наших убеждениях о ментальном процессе. Расширяя результаты анализа Онга, мы можем спросить, не возросла ли благодаря развитию печатных медиа важность отдельных разумов – или разума как области ключевой важности. В устном обществе, в котором уверенность в реальном и хорошем укрепляется обсуждением лицом к лицу, нет особых причин приниматься исследовать личное или ментальное значение [слов] говорящего. С помощью слов, выражений лица, жестов, физического контекста и постоянного приспособления к реакции аудитории, значения становятся прозрачными. Однако когда печать позволяет словам возникать на основе непосредственных отношений между людьми – когда печатный дискурс проникает в мириаду контекстов, отделяясь во времени и пространстве от собственных корней – тогда герменевтическая проблема становится ключевой. То есть, мы начинаем серьезное рассуждение о «разуме, стоящем за

словами». А благодаря таким вопросам, как «что он хотел этим сказать?», «что он имел в виду?» мы создаем реальность разума как оригинальный источник действия*.

Учитывая потенциальную зависимость концепций «Я» от технологических условий, давайте рассмотрим наш современный этос. В частности, что можно сказать о все большем проникновении коммуникационных технологий в нашу жизнь и об их влиянии на наши убеждения в индивидуальных разумах? Я считаю, что эта технологическая трансформация медленно подрывает понимаемость индивидуального «Я» и его функцию как источника морального действия. Этому существует множество разнообразных причин; здесь я ограничусь лишь несколькими связанными тенденциями (более обширный анализ «потери 'Я'» в эпоху медиа можно найти здесь[545;203]).

Многоголосие

Кардинально расширяя спектр информации, к которой мы имеем доступ, ряд людей, с которыми мы взаимодействуем по важным вопросам, и набор мнений, доступных из различных медиа-источников, мы становимся причастными к множеству реальностей. Или, проще говоря, мы нарушаем комфорт ограниченного единоголосия. Начиная с национальной политики и экономики и заканчивая локальными вопросами образования, окружающей среды или психического здоровья, мы сталкиваемся с изобилием спорной информации и мнений. Так же дело обстоит и с вопросами моральных последствий. Будь то вопрос кандидатов в Верховный суд, политики абортов или защиты равных интересов, человек разрывается между конфликтующими моральными позициями. Поскольку эти позиции доступны для понимания, они также присоединяются к набору источников, доступных человеку для личных рассуждений. Согласно Бахтину, человек приближается к состоянию радикального многоголосия.

Если человек приобретает все более разнообразный словарь для рассуждения, как можно достичь удовлетвори-

* *Такой вывод также вторит стремительно растущему корпусу литературы об историческом и культуральном конструировании разума*[169:346:228]. *(прим. автора)*

тельного решения? Исследование сознания изнутри приводит не к согласию, а к какофонии; мы сталкиваемся не с «тихим голосом совести», а с хором соревнующихся соперников. Например, платить налоги – моральный долг человека, но также его долгом является обеспечивать зависимых от него членов семьи, пользоваться результатами своего труда и избегать поборов со стороны несправедливых государственных политических стратегий; моральный долг человека – помогать голодающему населению Африки, но при этом – еще и помогать нищим своей собственной страны, предотвращать рост населения и избегать вмешательства в политику суверенных в остальном наций. Где же в этом океане моралей сигнал об однозначности?

Если погружение во множество понимаемостей оставляет моральные ресурсы человека в состоянии сложной фрагментации, тогда в какой мере эти ресурсы служат ориентиром или наставлением? Или, что более близко для нашего исследования, если «взгляд изнутри» становится все менее полезным в вопросах моральных действий, не теряет ли забота о «моем умонастроении» своей актуальности? Чем привлекательнее для человека вариант повернуться к окружающему, внешнему миру и к социальному контексту – определить внешнее мнение, обсуждать, искать компромисс и импровизировать. И в этом переходе от частного внутреннего к социальной сфере нарушается предположение о частном «Я», которое определяет направление [развития] морали. Если обсуждение сложности, свойственной многообразию, нормализуется, концепция разума как морального критерия устареет.

Пластичность

По мере того, как коммуникационные технологии усугубляют наше погружение в информацию и процесс оценивания, они также расширяют масштаб и сложность нашей деятельности. Мы участвуем в большем количестве отношений, распределенных по многочисленным и разнообразным областям, начиная с общения лицом к лицу дома и на работе, и заканчивая профессиональными и досужими отношениями, которые часто охватывают целые континенты. Затем, из-за стремительной циркуляции информации

и мнений, период полураспада различных продуктов и политических стратегий сокращается, а возможности новых начинаний расширяются. Таким образом, формирование рабочего места находится в постоянном движении. Работающий человек чаще меняет работу, при этом – часто переезжая в новое место. В начале 1990-х годов каждый третий американский сотрудник работал на одного человека менее года, и почти два из трех – менее пяти лет.

В результате таких перемен человек сталкивается со все более разнообразным множеством требований к поведению. На каждом новом месте работы могут требоваться новые паттерны действий; нравы, аппетиты, персоны – все можно приобрести, отбросить и вернуть снова в зависимости от того, что потребуют условия. По мере продвижения во времени и пространстве могут возникать противоречащие акценты: здесь – твердый, там – мягкий, здесь – властный, там – податливый, здесь – искушенный, там – грубый, благородный и аморальный, традиционный и бунтарский. Для многих людей такие, подобные хамелеону, перемены кажутся обычными; они стали неотъемлемой частью ежедневной суматохи. Временами такие задачи могут приносить удовольствие – к ним даже могут стремиться. А ведь только пятьдесят лет назад Дэвид Ризман в своей известной книге *Одинокая толпа*[444] отстаивал достоинства сосредоточенного на себе человека и осуждал человека, направившего свои усилия вовне, из-за недостатка твердости в характере – человека без «гироскопического» (автономного, в себе) центра саморегуляции. В новом, основанном на технологиях этосе, исчезает потребность в сосредоточенном на себе человеке, делающем все на один манер. Такой человек – узок, ограничен и негибок. В стремительном темпе технологического общества забота о внутренней жизни – это роскошь, если не пустая трата времени. Сегодня мы прославляем протеевскую личность. В любом случае, внутреннее «Я» теряет свою значимость[335].

Потеря аутентичности

Давайте рассмотрим более «утонченный» способ саморазрушения, который в этом случае обусловливается растущим наплывом образов, историй и информации. Давайте

взглянем на те подтверждающие моменты индивидуального авторства – моменты, в которых чувство аутентичного действия становится особенно очевидным. Учитывая западную традицию индивидуализма, обычно это – моменты, в которые мы воспринимаем собственные действия как уникальные, в которые мы не просто дублируем модели, повинуемся приказам или следуем традициям. Скорее, с помощью такого инновативного акта мы гарантируем, что «Я» становится оригинальным источником, креативным агентом, автором собственной морали. И все же в мире, в котором технологии упрощают невероятную сложность в том, «как все происходит», такие моменты случаются все реже. Например, как же так выходит, что молодая пара, которую двадцать лет окружали романтические нарративы – по телевидению и радио, в фильмах, журналах и книгах – могут произнести ласковое слово, не чувствуя при этом призрачного присутствия клише? Или, говоря словами Умберто Эко[149], «как может мужчина, любящий образованную женщину, сказать ей: «Я безумно тебя люблю», когда он знает, что она знает (а она знает, что он знает), что эти слова уже были написаны Барбарой Картленд?» Каким образом человек может выделиться из толпы в единственном проявлении моральной стойкости и не услышать голосов Джона Уэйна, Гэри Купера или Харрисона Форда у себя за спиной?

Если же человек попытается подтвердить агентность на основе общественного действия – политического протеста, религиозного выражения, музыкального перформанса и так далее – проблемы аутентичности встают еще острее. Во-первых, существующие технологии не позволяют нам убежать от прошлого. Скорее, образы прошлого хранятся, воскресают и воссоздаются как никогда ранее. В этом смысле, прыжок от устной к печатной памяти стал всего лишь началом драматического технологического цунами, обрушившегося на культуральную память. Таким образом, становится все труднее избегать наблюдений за тем, как исторически подготавливается любое достойное внимания действие. Выступить на публике – значит побудить несчетное количество комментариев о том, каков ты, например, «совсем как в 60-х», «уходит корнями в движение Духовного возрождения Билли Сандея», или «вдохновляется Джими

Хендриксом». Если же публичная демонстрация привлечет внимание масс-медиа, также произойдет медленное превращение из аутентичного в инструментальное. То есть, то, что когда-то казалось спонтанным, теперь преобразилось в перформанс «для масс-медиа» и ее аудитории. Например, потакание политическим страстям заглушается тем, сколько внимания нужно уделять собственному гардеробу, проецированию голоса и выражению лица. Человек не может просто «играть музыку»: он должен позаботиться о прическе, позе и комплекции. В мире, в котором локальное стремительно переносится в область глобального, период полураспада моральной аутентичности стремительно сокращается.

Быстротечность

Поскольку человек окружен сонмом других людей, которые реагируют на него похожим образом, может возникнуть чувство единого «Я». Например, человек может понять, что он – первый сын уважаемого учителя старших классов и преданной матери, звезда бейсбольной команды и ярый католик. Это чувство постоянства также создает стандарт, по которому можно судить о морали действий человека. Человек может знать: «это на меня не похоже», и «если бы я это сделал, я бы испытал невыносимые муки совести». Однако, по мере усиления влияния социализирующих технологий, человек становится быстротечным, кочующим или «бездомным разумом»[47]. Сегодня среднестатистический американец переезжает более 11 раз за свою жизнь по мере того, как возможности трудоустройства в глобальных масштабах стабильно возрастают. Требование к дальним переездам – как профессиональным, так и для досуга – привело к тому, что за год количество авиапассажиров выросло в геометрической прогрессии. Также стоит отметить еще и область виртуальных путешествий – огромное количество часов, посвященных телевидению, электронной почте и сети. В каждом случае мы можем психологически преодолевать континенты и культуры целыми часами. Фактически постоянные напоминания человеку о его идентичности – о том, кто он такой и кем всегда был – больше не преобладают. Внутренний стандарт блек-

нет, и в итоге стоит понять, что он мало что значит в генерировании морального действия.

Есть и менее уловимый эффект такой обусловленной технологиями быстротечности. Дело не только в том, что согласованное сообщество влияет на чувство личной глубины. Дело также в доступности Других, которые уделяют время и внимание, необходимые для возникновения чувства разворачивающегося внутреннего мира. Примером является процесс психоанализа. Когда аналитик с глубочайшим интересом слушает слова своего клиента, и эти слова пробуждают вопросы с более глубоким значением, у клиента возникает чувство осязаемой внутренней сущности, реальности некой области за пределами поверхностной данности или, фактически, чувство индивидуальной глубины. Этот процесс требует времени и внимания. Также происходит и в повседневной жизни; человек приобретает чувство глубины, прежде всего, когда у него есть достаточно времени для исследования, для перехода от инструментальных расчетов к вопросам «более глубоких желаний», забытых фантазий, «того, что на самом деле важно». И все же становится все труднее выявить моменты, в которые мы не пребываем в этом «вихре». В мире, где доминируют технологии, нужно продолжать двигаться; сеть обширна, обязательств – много, ожидания – бесконечны, возможности – тоже, а время – это ограниченный ресурс. Сегодня уже неудобно обладать «внутренними глубинами».

Коммодификация «Я»*

Эти аргументы тесно связаны с финальным технологически обусловленным переходом в культуральном понимании. Поскольку социализирующие технологии позволяют масштабно и дешево распространять информацию, популярные развлечения стали масштабной индустрией. Ключевыми в индустрии развлечений являются индивидуальные исполнители – люди, которые, будучи занимательными, руководят обширной аудиторией и внушительными доходами. Фактически, «Я» становится товаром, доступным для приобретения. Индивидуальный исполнитель может

* *Коммодификация – превращение в товар. (прим. пер.)*

менять имена, партнеров и образы жизни, чтобы добиться большей славы и больших доходов. По мере того, как такая индустрия развлечений растет, а телеканалов становится все больше, возрастает потребность в «персонажах». Все чаще обычный человек – из-за особого увлечения, уникальной истории, героического или идиотского поступка или владения «внутренней информацией» – становится потенциальным кандидатом на завоевание славы и богатства.

На менее уловимом уровне потенциал людей к реконструированию самих себя во множестве контекстов также способствует укреплению чувства ««Я» на продажу». В постоянных, долгосрочных отношениях лицом к лицу человеку редко нужно задаваться вопросом «что я хочу получить от этих отношений» и «как я должен себя вести, чтобы это получить». Такие вопросы возникают в основном тогда, когда человек переходит в данную ситуацию из абсолютно другого контекста. Благодаря своему многоголосому потенциалу человек становится восприимчивым к возможности создания выгодного «Я» – которое бы пожинало плоды эффективной интеграции. Продажа собственного имиджа индустрии развлечений тесно связана с инструментальным отношением, которое возникает в результате участия в целом сонме разнообразных и сложных отношений в повседневной жизни. В каждом из случаев все больше возрастает осознание «Я» как товара. Быть «верным себе», добиваться глубины характера или найти собственную идентичность – все это превращается в устаревшие заслуги из прошлого, которые больше не приносят выгоды.

Каждая из этих тенденций – к многоголосию, пластичности, повторению, быстротечности и коммодификации – функционируют, чтобы пошатнуть давнее предположение об осязаемом «Я», персональном сознании как агентивном источнике внутреннего характера и основе моральной жизни*. И все же, хотя в определенных аспектах угасаю-

---

* *Эти выводы, безусловно, резонируют и с другими описаниями «потери», «децентрализации» и «деконструирования» «Я» у современных ученых. Однако, хотя в своих ключевых работах Фуко, Лакан и Деррида основывают свои выводы на теориях, в данном анализе мы пытаемся проследить смысл растворения до конкретных обстоятельств культуральной технологии. Фактически, мы можем предположить, что саму понимаемость теоретических анализов можно извлечь из общего дискурса в современной культуре. (прим. автора)*

щая понимаемость морального «Я» заслуживает критики, в других аспектах она весьма приветствуется. И интеллектуально, и идеологически концепция «Я» как морального атома ущербна. На концептуальном уровне дело не только в том, что концепция моральной агентности воспроизводит трудные проблемы эпистемологического дуализма – субъект/объект, разум/тело, а также разумы, которые познают другие разумы. Эти вопросы уже хорошо нам знакомы из предыдущих глав. Но, если быть точнее, сама идея *независимого* морального решения непривлекательна. Вопрос заключается в том, как могут происходить моральные размышления, кроме как в категориях, предоставляемых культурой? Если мы целиком исключим словарь культуры из индивидуальной субъективности, как же тогда человеку формировать вопросы о справедливости, долге, правах или моральном благе? Как сказал Майкл Сандел[464]: «Представить человека, не способного на конститутивные связи ...значит вообразить себе не идеально свободного и рационального агента, а человека, который абсолютно лишен характера и моральной глубины».

Эти концептуальные проблемы связаны с широко распространенной идеологической критикой. Наблюдения Алексиса де Токвиля[539] о жизни американцев в девятнадцатом веке положили им основу: «Индивидуализм – это взвешенное, спокойное чувство, побуждающее каждого гражданина изолировать себя от массы себе подобных и замыкаться в узком семейном и дружеском кругу. Создав для себя, таким образом, маленькое общество, человек охотно перестает тревожиться обо всем обществе в целом». За последние десятилетия эти взгляды не раз повторялись и подкреплялись. Кристофер Лэш[319] проследил связи между индивидуалистскими предположениями и культуральными тенденциями к нарциссизму; Белла и его коллеги[44] утверждают, что определенные формы индивидуализма препятствуют возможности верных отношений и преданности сообществу; для Эдварда Сэмпсона[462] предположение о замкнутом человеке ведет к невосприимчивости к голосам меньшинств, подавлению другого и социальному разделению. В итоге концепция внутреннего происхождения действия обрекает сообщество на непреодолимую изоля-

цию. Если то, что важнее всего для нашего существования, скрыто от другого, (и наоборот – если значительные для другого вещи скрыты от нас), мы навсегда сохраняем чувство глубокой изоляции, неспособности узнать, что же скрывается за обличьем другого. Формируя внутреннее «Я», мы неизбежно создаем Другого, с которым мы навсегда останемся чужими.

11.2. Техно/сообщество: возрождение противостояния «каждый за себя»

Мы обнаруживаем, что существует множество причин приветствовать спад попыток поместить моральное действие в независимые умы. Здесь на кону стоят не только концептуальные и политические границы, присущие индивидуализму. Скорее, для многих аналитиков существует гораздо более лучший кандидат, способный достичь морального проекта, а именно – сообщество. Как предложил Аласдер Макинтайр, для того, чтобы быть индивидуальным «Я» – то есть, тем, кто определяется в нарративе прошлого, настоящего и будущего – необходимо сообщество. Следовательно, быть моральным «Я» – значит «нести ответственность за действия и опыт, из которых состоит доступная для нарратива жизнь в сообществе»[350]. В этом смысле, моральный проект достигается благодаря поддержке лучших традиций сообщества. Фактически, «благодетели обретают свой смысл и цель, не только поддерживая отношения, необходимые для достижения разнообразных благ, присущих практикам ... но и поддерживая те традиции, которые придают и практикам, и индивидуальным жизням их необходимый исторический контекст»[350]. На более политическом уровне этот взгляд резонирует с коммунитарной попыткой заменить основанную на правах ориентацию на общественную жизнь на ту, которая акцентирует внимание на обязательствах перед сообществом.

Однако давайте рассмотрим сообщество как моральные ресурсы в век технологий. И снова путь для такого рассуждения проложен давней классической работой, в данном случае – *Воображаемыми сообществами* Бенедикта Андерсона[9]. Андерсон предположил, что возникновению

национальных государств во многом способствовало развитие печатных технологий – которым удалось не только объединить и зашифровать определенные языки, но и которые можно использовать, чтобы генерировать чувство общей заинтересованности и общего будущего. Фактически мы не можем отделять вопросы социальной организации от технологического контекста. Следовательно, каков потенциал основанной на сообществе морали в современном контексте?

Если под сообществом мы подразумеваем группу людей, которые длительное время общаются лицом к лицу в географически обусловленной среде, надежды на успех морального проекта немного. Как я попытался обозначить в своей работе *Насыщенное «Я»*[196], социализирующие технологии двадцатого века повсеместно разрушили традиционное сообщество лицом к лицу как генеративную матрицу моральных действий. Системы массовых перевозок разделили дом и работу, а жилые районы – от торговых и развлекательных центров; семьи часто бывают разбросаны по разным континентам; и, в основном из-за карьерных требований, семьи все чаще переезжают с места на место. Даже если соседи или семьи находятся физически близко, взаимодействие лицом к лицу значительно сократилось. Общение с помощью технологий – телефонов, телевидения, радио, плееров, компьютеров и так далее – упорно сокращает зависимость от людей, которые находятся прямо рядом с нами. Так, и еще множеством других способов, географически обусловленное место жительства и традиционная семья теряют способность генерировать и поддерживать моральные обязательства (для дальнейшего обсуждения технологий и разрушения традиционной семьи смотрите[372;196]). Таким образом, хотя в теории возникающий технологический этос привлекательнее индивидуализма, он навязывает серьезные и укрепляющиеся ограничения для установления морали в географически обусловленных сообществах.

И все же, хотя технологическое развитие сокращает важность сообществ лицом к лицу в культуре, мы также становимся свидетелями поразительного роста в количестве и важности *технологически опосредованных сооб-*

ществ. Это – сообщества, участники которых во многом полагаются на коммуникационные технологии для поддержания их реальности, ценностей и порядков действий. Телевизионная пропаганда – это наглядный пример. Несколько миллионов американцев связаны главным образом через опосредованную коммуникацию со множеством убеждений, которые влияют на решения повсюду – начиная с местных школьных систем и заканчивая позициями национальных политических партий[273]. Менее очевидными являются 20000 негосударственных организаций (НГО), упомянутых в предыдущей главе. Такие организации работают на международном уровне, борясь с голодом, перенаселением, СПИДом, загрязнением окружающей среды и другими угрозами человеческому благополучию. Более миллиона таких частных организаций развивают благосостояние людей в США. Дальнейшее существование таких организаций существенно зависит от существующих коммуникационных технологий.

Также за последние десять лет возникло бесконечное количество компьютерно опосредованных или *виртуальных* сообществ, которые меньше афишируют свой моральный план действий. Чувство сообщества, часто создаваемое в таких группах, проиллюстрировано у Говарда Рейнгольда в книге *Виртуальное сообщество*:

> Когда я нашел WELL [компьютерно опосредованное сообщество], я будто открыл для себя небольшой уютный мирок ... спрятанный в стенах моего же дома; целый набор персонажей оживленно и весело приветствовал меня в группе, когда я нашел потайную дверцу... На том конце моего телефонного провода росла полномасштабная субкультура, и они пригласили меня помочь им создать кое-что новое. Виртуальная деревня с населением в несколько сотен людей, на которую я набрел в 1985 году, выросла до восьми тысяч к 1993 году.[441]

Сегодня такие сообщества с легкостью возникают благодаря Всемирной сети, в которой буквально любая организация может разместить красочное приглашение к участию. Если моральные убеждения подкрепляются в отношениях,

в коммуникационных технологиях XXI века можно увидеть большой потенциал. Здесь мы наблюдаем пышный рост новых сообществ, многие из которых специально сконструированы вокруг представлений о хорошем. Как уместно замечает Дэйв Хили, «Поскольку Интернет является культурой согласованности, он служит коррективой для опасностей индивидуализма»[258].

И все же достоинства организации, основанной на технологиях, одновременно представляют собой чрезвычайную угрозу. С одной стороны, ряд моральных предположений, представленный в виртуальном мире, огромен и разнообразен; но он также и несет в себе потенциальный конфликт. Например, сегодня существуют довольно активные веб-сайты, которые приглашают присоединиться к религиозным организациям самых разных конфессий (включая изобилие маленьких сект, например, суфизм, шаманизм, джайнизм, друидизм и пантеизм)*. Помимо этого, человек может присоединиться к целому ряду разнообразных политических движений – начиная с защитников прав лесбиянок и геев, пожилых людей, противников абортов и эвтаназии, и заканчивая Ку-Клукс-Кланом, военными движениями и неонацистами. Потенциальная сила этих форм опосредованного участия, вероятно, наиболее наглядно представлена в способности культа технологического происхождения «Врата в рай» спровоцировать массовые самоубийства. Здесь мы находим не только семена повсеместного социального конфликта: такие анклавы можно быстро и недорого создать и развить, не обращая особого внимания на географическое расстояние. Простота и эффективность организации также сопровождается мощными центростремительными или направленными внутрь тенденциями. Нажатием одной лишь кнопки человек вступает в тотализирующую реальность группы. Во многих случаях отношения на технологической основе дополняются печатными масс-медиа (новостными рассылками, газетами, журналами) и встречами лицом к лицу (религиозными службами, конференциями, демонстрациями, пикниками). Социальные и политические планы действий поощряют стиль жиз-

* *Посетите www.spiritual.com, чтобы ознакомиться с тысячами записей о кибер-вере. (прим. автора)*

ни полной включенности. Хили комментирует тенденции к виртуальной сегментации:

> У меня в университете ... любители IRC-чатов настолько же сегрегированны, как и школьная столовая моего сына. В нашей компьютерной лаборатории вьетнамские студенты зависают на вьетнамских порталах, точно так же, как в школе Бена они сидят за отдельными столами во время обеда... В сети ... разговоры обычно не «подслушивают»; границы, разделяющие виртуальных собеседников, менее ощутимы, но их значение гораздо драматичнее. Два виртуальных места могут быть «разделены» одним лишь кликом мыши, но при этом люди, занимающие эти места, никогда не пересекутся.[258]

Такую сегментацию сопровождает тенденция моральных/политических позиций становиться более поляризованными и жесткими. Реальность внутри группы становится все убедительнее, а внешние реальности становятся все более злонамеренными. Когда моральные/политические планы действий проявляются в общественных действиях, едва ли можно избежать ужасного конфликта. Такие нарушения в гражданском обществе происходят все чаще: в борьбе за право на аборт, за окружающую среду, за права геев и лесбиянок, за свободу слова, социальную справедливость, школьные молитвы, контроль оружия и так далее. Я подозреваю, что практически все читатели присоединились к борьбе в одной или нескольких из перечисленных областей, и что они одновременно воспитали в себе крайне враждебное отношение к оппозиции. Все это – столкновения между конкурирующими взглядами на моральное общество. Однако мы начинаем выступать против тупика основанной на сообществе морали, только когда преданность справедливости, достоинству, свободе и моральной целостности становится побуждением ко взрыву Федерального здания в Оклахоме.

11.3. Навстречу реляционному бытию

Согласно предыдущему анализу, наши заслуги за преследование морального проекта крайне ограничены. В све-

те возникающего технологического контекста ни индивидуализм, ни коммунализм не обещают с достаточной уверенностью обеспечить нам приемлемый способ культуральной жизни. Обе традиции имеют множество недостатков – концептуальных, идеологических и практических. На самом деле, учитывая нарастающее столкновение глобальных культур, эти традиции могут показаться потенциальной угрозой для нашего будущего благополучия. Каждая из них сеет разногласия. На каких же концептуальных основаниях нам продолжать; существуют ли достойные альтернативы индивидуализму и коммунализму в преследовании морального проекта в двадцать первом веке? Как мы отметили в предыдущей главе, происходит незаметное, но важное движение, которое потребует глубокого и креативного внимания, чтобы принести плоды. Это движение, которое направлено на разрушение двойственности «Я»/общество и на включение и «Я», и сообщества в более обширную реальность связанности.

В определенных отношениях, возникающие технологии снова создают пространство для реляционного воображаемого. Особенно важным здесь является развитие чат-румов, электронных досок объявлений, рассылок и других Интернет-средств, которые позволяют отношениям разворачиваться без обязательного нахождения в индивидуальных телах[520;545]. То есть, можно представлять идентичности, которые могут иметь или не иметь некой конкретной связи с конкретным существованием участников, и эти виртуальные идентичности могут состоять в активных и захватывающих отношениях. Для нас важнее всего то, что мы имеем отношения, которые развиваются не на основе «реальных «Я»» (первичный разум в теле), а на основе «Я»-конструкций или дискурсивных формирований. (Одно «реальное «Я»» в действительности может генерировать множество «Я»-конструкций). Лишь скоординированное функционирование этих дискурсивных формирований позволяет достичь виртуального «сообщества» (рассылка, чат-рум, электронная доска объявлений, интерактивная игра). Фактически виртуальное сообщество не имеет географического расположения за пределами сети дискурса, на котором оно строится. Здесь мы подходим к состоянию

чистой связанности – без людей или сообщества в традиционном понимании.

Технологическая сфера значительно помогает вдохновлять образ отношений без «Я» или сообщества. Несколько десятилетий компьютер служил одной из ключевых метафор человеческого функционирования. Когнитивная революция в психологии, наряду с движением искусственного интеллекта и когнитивной наукой, во многом почерпнула свою понимаемость из приравнивания человека к компьютеру. Однако, со стремительным развитием Интернета и Всемирной сети, компьютер постепенно теряет свое риторическое очарование. Интернет – это область, которая предоставляет мгновенные отношения все большему количеству людей по всему миру. Это – настолько обширная и мощная область, что ее едва ли можно контролировать национальным государством. Он не подконтролен ни одному институту; он функционирует, по сути не подчиняясь законам. В этом контексте компьютер – это всего лишь двери в область без видимых границ. Метафора компьютера – ограниченная и узкая – постепенно заменяется *сетью* – миром, который распространяется до бесконечности.

Точно так же, как технологический этос раньше отдавал предпочтение реальностям «Я» и сообщества, сегодня он функционирует, чтобы вдохновить нас на интерес к отношениям. Этот интерес был очевиден на многих страницах данной работы. Интерес к реляционным концепциям «Я» и к реляционному процессу в терапии, организациях, образовании и политической деятельности был ключевым. В каждом случае предпринимаются попытки выразить реальность человеческой связанности и важность отношений во всем, что мы ценим. И все же, в отличие от традиционной науки, такие теоретические рассуждения обычно не посвящаются открытию истины о человеческих действиях. Скорее, социальный конструкционизм в целом отказывается от гарантий «истины» и «объективности» ради основанной на пользе концепции языка. Таким образом, реляционное теоретизирование преимущественно нацелено на то, чтобы обеспечить ряд дискурсивных ресурсов, которые могут пополнить потенциал для человеческого взаимодействия. Эта антипатия к постулатам истины также

ставит нас лицом к лицу перед задачей морального проекта. В каком смысле реляционные описания, рожденные из конструкционистской восприимчивости, могут служить моральными ресурсами для будущего?

Поначалу конструкционистская антипатия к фундаментальным или основным притязаниям (монологическим и тоталитарным) также противостоит моральным обязательствам. Если так, тогда конструкционизм оказывается мишенью критики из-за недостатка в нем морального стержня – то есть, из-за его «морального релятивизма». Фактически, здесь вместо морального стержня – вакуум (для дальнейшего обсуждения конструкционизма и морального релятивизма смотрите работу Гергена[198], 4 главу). И все же именно в безосновательности мы и находим моральный потенциал конструкционизма для постмодернистского мира. Конструкционизм не пытается поместить свои предположения на основу или на первичную философию, и в то же время – не стремится подавить какую-либо этику или идеологию. Скорее, с конструкционистской точки зрения, все моральные дискурсы – это ресурсы для формирования значения, то есть – ресурсы, необходимые для создания понятия блага (достоинства, ценности, идеалов). Однако, в то же время, когда эти ресурсы используются отдельно друг от друга, когда их целью становится господство, они становятся разрушительными. Поэтому, у конструкциониста нет основополагающей причины отстаивать создание вместо разрушения. Однако, если мы ценим сам процесс оценивания, тогда мы заинтересованы поддерживать те процессы отношений, из которых возникают ценности. В принятии конкретного морального блага скрывается более фундаментальное обязательство перед процессом, из которого можно получить благо – то есть, по сути, это отношения создания, а не разрушения.

Если эти пути кажутся разумными, тогда мы переводим наше внимание с попытки создать конкретный моральный кодекс на вопросы моральных различий. Именно в области различий мы находим потенциал взаимного уничтожения – конец оценивания. В большинстве сфер жизни дискурсивные отношения развиваются без особого сопротивления. Когда мы общаемся с семьей, друзьями, сосе-

дями и так далее, возникают скрытые (а иногда и явные) моральные кодексы – соглашения о том, что приемлемо, неприемлемо или желаемо. Фактически в нормальном человеческом общении формулируются стандарты хорошего. В этом смысле, моральный проект всегда [уже] находится в действии. Чтобы возникло чувство хорошего, не нужна основополагающая рациональность. Однако на этом этапе основная проблема заключается не в генерировании морали как таковой, а в существовании множества моралей. Когда анклавы хорошего начинают считать свои локальные стандарты универсальными, а другие обязательства – низшими или угрожающими, открывается путь для уничтожения значения. Именно в процессе взаимного отрицания мы сталкиваемся с разрушением отношений – а с ним и с гибелью морального значения.

11.4. В заключение: поддерживая матрицу значения

Таким образом, главная проблема, которая стоит перед нами сегодня – это конфликтующие морали. Каким образом мы можем продолжать удовлетворительно жить вместе – бок о бок с теми, чьи представления о хорошем, в нашем понимании, являются формой ада? Поначалу мы можем решить огласить дискурс-этику – ряд принципов, которые помогли бы нам вынести приговор о наших различиях – как в случае с серьезными попытками Хабермаса[239]. Однако, в свете антифундаменталистского давления на конструкционистский способ рассуждения, существуют причины избегать трансцендентных гарантий для особых типов разговора. И, учитывая аргументы в пользу характера значения, основанного на пользе, нет особой потребности генерировать абстрактные и свободные от контекста «правила вежливого разговора». Скорее, многие конструкционисты могут добиться большего, если перейдут от науки к общественным практикам. Практики, которые особенно важны для морали, связаны с поддержкой конструктивных процессов формирования значения перед лицом перемен.

Практики поддержки генеративного создания значения были ключевыми в данной работе. Мы рассмотрели множество способов преодолеть пропасти между теми, кто на-

ходится в разрозненных и конфликтующих реальностях. В самом деле, многие главы обозначили путь к демонстрации «Я» в этом отношении. Также мы указали, что многие практики и теоретики сегодня пытаются заменить агонистические отношения продуктивным созданием значения. Эти попытки основываются на таких разрозненных областях, как семейная терапия, организационное развитие, коммуникация, консультирование, образование, социальная работа, организация сообщества и так далее. Эти исследования едва ли являются личной прерогативой конструкционистов; сами попытки являются общими. Однако в таких исследованиях лежит потенциал того, что может превратиться в социальные ресурсы для поддержки морального проекта. Таким образом, эта книга заканчивается не наброском многообещающего будущего, а приглашением присоединиться к исследованию и созданию практических ресурсов для поддержки процесса формирования самой морали.

ЛИТЕРАТУРА

1. Addison, R.B., & Packer, J.J. (Eds.). (1989). *Entering the circle: hermeneutic inquiry in psychology.* Albany, NY: SUNY Press. 2. Albertsen, N. (1988). Postmodernism, post-Fordism, and critical social theory. *Environment and Planning, 6:* 339-365. 3. Allen, D.B., Miller, E.D., & Raghu, N. (1991). North America. In N. Raghu (Ed.),*Comparative management* (pp. 23-54). Cambridge, MA: Ballinger. 4. Alvesson, M., & Willmott, H. (1992). On the idea of emancipation in management and organization studies. *The Academy of Management Review, 17:* 432-464. 5. Ammons, A.R. (1969). «The Confirmers», from *Collected Poems* 1951-1971 by A.R. Ammons. New York: W.W. Norton. 6. Amundson, J. (1996). Why pragmatics is probably enough for now. *Family Process,* 35: 473-186. 7. Andersen, T. (1991). *The reflecting team: dialogues and dialogues about dialogues.* New York: W.W. Norton. P. 19. 8. Andersen, T. (1995). Reflecting processes; acts of informing and forming; you can borrow my eyes but you must not take them away from me! In S. Friedman (Ed.), *The reflecting team in action* (pp. 11-38). New York: Guilford Press. 9. Anderson, B. (1983). *Imagined communities.* London: Verso. 10. Anderson, H. (1997). *Conversation, language and possibilities, a postmodern approach to psychotherapy.* New York: Basic Books. P. 114, 134. 11. Anderson, H., & Goolishian, H. (1992). The client is the expert: a not-knowing approach to therapy. In S. McNamee & K. Gergen (Eds.), *Therapy as social construction* (pp. 25-38). Thousand Oaks, CA: Sage. 12. Apple, M. (1982). *Education and power.* Boston: Routledge & Kegan Paul. Apple, M. (1993). *Official knowledge, democratic education in a conservative age.* New York: Routledge. 13. Arendt, H. (1969). *On violence.* New York: Harcourt Brace Jovanovich. 14. Argyris, C. (1996). Actionable knowledge: design causality in the service of consequential theory. *The Journal of Applied Behavioral Science, 32:* 390-406. 15. Argyris, C, Putnam, R., & Smith, D. (1985). *Action science.* San Francisco: Jossey-Bass. 16. Aries, P. (1962). *Centuries of childhood: a social history of family life.* New York: Vintage. 17. Aronowitz, S., & Giroux, H.A. (1991). *Postmodern education: politics, culture and social criticism.* Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 12, 34. 18. Ashbach, C, & Schermer, V.L. (1987). *Object relations, the self, and the group.* London: Routledge & Kegan Paul. 19. Ashley, D. (1990). Postmodernism and the 'end of the individual': from repressive self-mastery to ecstatic communication. *Current Perspectives in Social Theory, 10:* 195-221. 20. Astley, G. (1985). Administrative science as socially constructed truth *Administrative Science Quarterly, 30:*497-513. 21. Astley, G., & Zammuto, R. (1992). Organization science, managers, and language games. *Organization Science, 3:* 443-460. 22. Atkouf, O. (1992). Management and theories of organizations in the 1990s: toward a critical radical humanism? *The Academy of Management Review 17-*407-431. 23. Averill, J.R. (1982). *Anger and aggression: an essay on emotion.* New York: Springer-Verlag. 24. Averill, J.R., & Nunley, E.P. (1992). *Voyages of the heart.* New York: Free Press. 25. Ayer, A.J. (1940). *The foundation of empirical knowledge.* New York: Macmillan. 26. Bacigalupe, G. (1996). Writing in therapy: a participatory approach. *Journal of Family Therapy, 18:* 361-374. 27. Badinter, E. (1980). *Mother love: myth and reality.* New York: Macmillan. 28. Bakan, D. (1990). *Sigmund Freud and the Jewish mystical tradition.* London: Free Association Books. 29. Bakhtin, M.M. (1981). *The dialogic imagination: four essays by M.M. Bakhtin* (M. Holquist, T.C. Emerson, & M. Holquist, Eds.). Austin, TX: University of Texas Press. 30. Bakhtin, M.M. (1985) *Speech genres and other late essays.* Austin, TX: University of Texas Press. P. 99. 31. Barbules, N.C. (1993). *Dialogue in teaching.* New York: Teachers College Press. 32. Barnes, B. (1974). *Scientific knowledge and sociological theory.* London: Routledge & Kegan Paul. 33. Baron, J., Forgione, P., Rindone, D., Kruglanski, H., & Davy, B. (1989). *Toward a new generation of student outcome measures: Connecticut's common core of learning - assessment.* Presentation at the annual meetings of the American Educational Research Association, San Francisco, CA. 34. Bartlett, C, & Ghoshal, S. (1991). Global strategic management: impact on the new frontiers of strategy research. *Strategic Management Journal, 12:* 5-16. 35. Baudrillard, J. (1988). *The ecstasy of communication.* New York: Semiotext(e). 36. Baudrillard, J. (1994). *Simulacre and simulation.* Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. P. 81. 37. Bazerman, C. (1988). *Shaping written knowledge: the genre and activity of the experimental article in science.* Madison, WI: University of Wisconsin Press. 38. Becker, C, Chasin, L., Herzog, M., & Roth, S. (1995). 'From stuck debate to new conversation on contraversial issues: a report from the public conversations project.' *Journal of Feminist Family Therapy, 7:*143-163. 39. Becker, J. & Varelas, M. (1995). Assisting construction: the role of the teacher in assisting the learner's construction of preexisting cultural knowledge. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism in education.* Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 40. Belenky, M., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). *Women's ways of knowing.* New York: Basic Books. 41. Bell, D. (1960). *The end of ideology.* Glencoe, IL: Free Press. 42. Bell, D. (1974). *The coming of post-industrial society.* London: Heinemann. P. 20. 43. Bella, D. A. and Jenkins, C. H. (1993), *The Functionary, the Citizen, and the Engineer.* Journal of Engineering Education, 82: 170. 44. Bellah, R.N. et al. (1985). *Habits of the heart.* Berkeley, CA: University of California Press. 45. Benhabib, S. (1992). *Situating the self.* Cambridge: Cambridge University Press. P. 15. 46. Berg, I.K., & de Shazer, S. (1993). Making numbers talk: language in therapy. In S. Friedman (Ed.), *The new language of change: constructive collaboration in psychotherapy* (pp. 5-25). New York: Guilford Press. 47. Berger, P., Berger, B., & Kellner, H. (1973). *The homeless mind.* New York: Vintage. 48. Berger, P. & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality.* New York: Doubleday / Anchor. 49. Berman, M. (1982). *All that is solid melts into air: the experience of modernity.* New York: Simon & Schuster. 50. Berman, R.A. (1989). *Modern culture and critical theory.* Madison, WI: University of Wisconsin Press. 51. Bernstein, R. (1989). The end of history, expiained for a second time. *New York Times,* 10 December, Section 4: 6. 52. Berquist, W. (1993). *The postmodern organization.* San Francisco: Jossey Bass. 53. Beyer, L., & Apple, M. (1988). *The curriculum: problems, politics and possibilities.* Albany, NY: State University of New York Press. P. 52. 54. Billig, M. (1987). *Arguing and thinking: a rhetorical approach to social psychology.* Cambridge: Cambridge University Press. 55. Billig, M. (1990). Collective memory, ideology and the British royal family. In D. Middleton & D. Edwards (Eds.), *Collective remembering.* London Sage. 56. Billig, M., Condor, S., Edwards, D., Gane, M., Middleton, D., & Radley, A. (1988). *Ideological dilemmas: a social psy-*

chology of everyday thinking. London: Sage. **57.** Bleich, D. (1988). *The double perspective, language, literacy and social relations.* Oxford: Oxford University Press. **58.** Bloom, L.R. (1996). Stories of one's own: nonunitary subjectivity in narrative representation. *Qualitative Inquiry, 2*:176-197. **59.** Blumenfeld-Jones, D.S. (1995). Dance as a mode of research representation. *Qualitative Inquiry, 1:* 391-401. **60.** Bohan, J., & Russell, G.M. (1999). *Conversations about psychology and sexual orientation.* New York: New York University Press. **61.** Boje, D. (1992). *The university in a panoptic cage: the disciplining of the student and faculty body.* Paper presented at the National Academy of Management Meetings, Las Vegas, Nevada. **62.** Boje, D., Gephart, R., & Thatchenkery, T. (Eds.). (1996). *Postmodern management and organization theory.* Newbury Park, CA: Sage. **63.** Boje, D.M., Gephart, R.P., & Joseph, T. (Eds.). (1997). *Postmodern management and organization theory.* Thousand Oaks, CA: Sage. **64.** Boland, R.J., & Tenkasi, R. (1992). *Post-modernism and its implications for information system design.* Paper presented at the National Academy of Management Meetings, Las Vegas, Nevada. **65.** Botschner, J. (1995). Social constructionism and the pragmatic entente: a reply to Osbeck. *Theory and Psychology,* 5:145-151. **66.** Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in capitalist America.* New York: Basic Books. **67.** Boyacigiller, N, & Adler, N. (1991). The parochial dinosaur: organizational science in a global context. *The Academy of Management Review, 16:* 262-290. **68.** Boyatzis, R. (1982). *The competent manager: a model for effective performance.* New York: Wiley. **69.** Boyte, H., & Evans, S. (1986). *Free spaces.* New York: Harper & Row. **70.** Bradley, B.S. (1989). *Visions of infancy, a critical introduction to child psychology.*Cambridge: Polity Press. **71.** Bradshaw-Camball, P., & Murray, V. (1991). Illusions and other games: a trifocal view of organizational politics. *Organizational Science, 2:* 379-398. **72.** Brooks, C, & Warren, R.P. (1970). *Modern rhetoric.* New York: Harcourt Brace and World. **73.** Brown, N. (1959). *Life against death, the psychoanalytical meaning of history* Middletown, CT: Wesleyan University Press. **74.** Brown, R.H. (1987). *Society as text,* Chicago: University of Chicago Press. P. 173. **75.** Bruffee, K.A. (1993). *Collaborative learning.* Baltimore: Johns Hopkins University Press. **76.** Bruner, J. (1986). *Actual minds, possible worlds.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **77.** Bruner, J. (1990). *Acts of meaning.* Cambridge, MA: Harvard University Press. P. 34, 84. **78.** Bruner, J.S. (1996). *The culture of education.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **79.** Buber, M. (1970). *I and thou.* New York: Scribner. **80.** Budge, G.S., & Katz, B. (1995) Constructing psychological knowledge: reflections on science, scientists and epistemology in the APA Publication Manual. *Theory and Psychology,* 5:217-232. **81.** Burkitt, I. (1991). *Social selves: theories of the social formation of personality.* London: Sage. **82.** Burkitt, I. (1996). Social and personal constructs. *Theory and Psychology, 6: 71-77.* **83.** Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological paradigms and organizational analysis.* Portsmouth, NH: Heinemann. **84.** Butler, J. (1990). *Gender trouble: feminism and the subversion of identity.* New York: Routledge. **85.** Butler, M.H., Gardner, B.C., & Bird, M.H. (1998). Not just a time-out: change dynamics of prayer for religious couples in conflict situations. *Family Process, 37:* 451-475. **86.** Cabaj, R.P., & Stein, T.S. (Eds.). (1996). *Textbook of homosexuality and mental health.* Washington, DC: American Psychiatric Press. **87.** Calas, M., & Smircich, L. (1991). Voicing seduction to silence leadership. *Organization Studies, 12*:567-602. **88.** Calhoun, C. (1994) Social theory and the politics of identity. In C. Calhoun (Ed.), *Social theory and the politics of identity.* Oxford: Blackwell. **89.** Carter, S.L. (1991) *Reflections of an affirmative action baby.* New York: Basic Books. **90.** Case, S., Brett, P., & Foster, S.L. (Eds.). (1995). *Cruising the performative.* Bloomington, IN: Indiana University Press. **91.** Cecchin, G., Lane, G., & Ray, W. (1992). *Irreverence: a strategy for therapist's survival.* London: Karnac Books. P. 14. **92.** Chandler, A. (1962). *Strategy and structure.* Cambridge, MA: MIT Press. **93.** Cheal, D. (1990) Authority and incredulity: sociology between modernism and postmodernism. *Canadian Journal of Sociology, 15:*129-147. **94.** Chen, C.C., & Meindl, J. (1991). The construction of leadership images in the popular press: the case of Donald Burr and People Express. *Administrative Science Quarterly,* 36: 521-551. **95.** Chia, R. (1996). From modern to postmodern organizational analysis. *Organizational Studies, 16* (4): 579-604. **96.** Chia, R., & King, I.W. (1998). The organizational structuring of novelty. *Organization, 5:* 461-478. **97.** Child, J. (1972). Organizational structure, environment, and performance: the role of strategic choice. *Sociology, 6: 2-22.* **98.** Clark, P., & Wilson, J. (1961). Incentive systems: a theory of organizations. *Administrative Science Quarterly, 6*:129-166. **99.** Clegg, S.R. (1989). *Frameworks of power.* London: Sage. **100.** Clegg, S.R. (1990). *Modern organizations: organization studies in the postmodern world.* Newbury Park, CA: Sage. **101.** Clegg, S.R. (1992). *Postmodern management?* Paper presented at the National Academy of Management Meetings, Las Vegas, Nevada. **102.** Clifford, J., & Marcus, G. (Eds.) (1986). *Writing culture.* Berkeley, CA: University of California Press. **103.** Cloud, D.L. (1994). Socialism of the mind: the new age of post-Marxism. In H.W. Simons & M. Billig (Eds.), *After postmodernism.* London; Sage. **104.** Cohen, E. (1995). Towards a history of European physical sensibility: pain in the later middle ages. *Science in Context, 8: A7-7A.* **105.** Cole, M. (1998). *Cultural psychology.* Cambridge: Harvard University Press. **106.** Collins, P.H. (1990). *Black feminist thought.* New York: Routledge. P. 106. **107.** Colville, I.D., Waterman, R.H., & Weick, K.E. (1999) Organizing and the search for excellence: making sense of the times in theory and practice. *Organization, 6:* 129-148. **108.** Combs, G. and Freedman, J. (1990). *Symbol, story, and ceremony: using metaphor in individual and family therapy.* New York: W.W. Norton. **109.** Connolly, W. (1991). *Identity/difference: democratic negotiations of political paradox.* Ithaca, NY: Cornell University Press. **110.** Cooper, R. (1989). Modernism, postmodernism and organizational analysis 3: the contribution of Jacques Derrida. *Organization Studies, 10* (4): 479-502. **111.** Cooper, R., & Burrell. G. (1988). Modernism, postmodernism and organizational analysis: an introduction, Part I. *Organization Studies, 9:* 91-112. **112.** Cooperrider, D.L. (1990). Positive imagery, positive action: the affirmative bais of organizing. In S. Srivastva & D.L. Cooperrider (Eds.), *Appreciative management and leadership.* San Francisco: Jossey-Bass. **113.** Cooperrider, D.L., & Dutton, J.E. (Eds.). (1999). *Organizational dimensions of global change.* Thousand Oaks, CA: Sage. **114.** Cooperrider, D., & Srivastva, S. (1990). Appreciative inquiry in organizational life. *Research in Organizational Change and Development, 1*:129-169. **115.** Cooperrider, D., Sorensen, P.F., Whitney, D., & Yaeger, T.F. (Eds.) (1999). *Appreciative inquiry.* Cleveland: Stipes. **116.** Corbin, A. (1986). *The foul and the fragrant.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **117.** Coulter, J. (1979). *The social construction of the mind.* New York: Macmillan. **118.** Coulter, J. (1983). *Rethinking cognitive theory.* New York: St. Martin's Press. **119.** Cousins, M., & Hussain, A. (1984). *Theoretical traditions in the social sciences.* New York: St. Martin's Press. **120.** Covaleski, M., & Dirsmith, M. (1990). Dialectic tension, double reflexivity and the everyday accounting researcher: on using qualitative methods. *Accounting, Organizations and Society, 15* 543-573. **121.** Crook, S., Pakulski, J., & Waters, M. (1992). *Postmodernization.*

London: Sage. **122.** Crouch, S. (1990). *Notes of a hanging judge.* New York: Oxford University Press. **123.** Crozier, M. (1964). *The bureaucratic phenomenon.* London: Tavistock. **124.** Crystal, G. (1991). *In search of excess: the overcompensation of American executives.* New York: Norton. **125.** Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: the psychology of optimal experience.* New York: Harper & Row. **126.** Cushman, P. (1990). Why is the self empty: toward a historically situated psychology. *American Psychologist, 45:* 599-611. **127.** Cushman, P. (1995) *Constructing the self, constructing America, a cultural history of psychotherapy.* Reading, MA: Addison-Wesley. **128.** Dahl, R.A. (1957). The concept of power. *Behavioural Science,* 2:201-205. **129.** Dahl, R.A. (1961). *Who governs? democracy and power in an American city.* New Haven, CT: Yale University Press. **130.** Danziger, K. (1997). *Naming the mind: how psychology found its language.* London: Sage. **131.** Darwin, C. (1896). *The expression of the emotions in man and animals.* New York: Appleton: 1885. **132.** Davies, B., & Harré, R. (1990). Positioning: the discursive production of selves. *Journal for the Theory of Social Behaviour, 20:*43-63. **133.** de Grazia, A. (1960). The sciences and values of administration-I. *Administrative Science Quarterly,* 5:421-447. **134.** de Man, P. (1986). *The resistance to theory.* Minneapolis: University of Minneapolis Press. **135.** de Shazer, S. (1991). *Putting difference to work.* New York: W.W. Norton. **136.** de Shazer, S. (1994). *Words were originally magic.* New York: W.W. Norton. P. 10. **137.** Deese, J. (1984). *American freedom and the social sciences.* New York: Columbia University Press. **138.** Deleuze, G., & Guattari, F. (1983). *Anti-Oedipus, capitalism and schizophrenia.* Minneapolis: University of Minnesota Press. **139.** DeMause, L. (1982). *Foundations ofpsychohistory.* New York: Creative Roots. **140.** Denzin, N., & Lincoln, Y. (2000). *Handbook of qualitative research.* 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage. **141.** Derrida, J. (1977). *Of grammatology* (G.C Spivak, Trans.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. **142.** Dershowitz, A.M. (1994). *The abuse excuse.* Boston: Little Brown. **143.** Dewey, J. (1916). *Democracy and education: an introduction to the philosophy of education.* New York: Free Press. **144.** Doan, R.E. (1998). The king is dead; long live the king: narrative therapy and practicing what we preach. *Family Process, 37:* 379-385. **145.** Douglas, M. (1986). *How institutions think.* Syracuse, NY: Syracuse University Press. **146.** Driscoll, M., & Brahn, G. (1995). *Prosthetic territories: politics and hyper-technology.* Boulder, CO: Westview. **147.** du Preez, P. (1980). *The politics of identity.* New York: St. Martin's Press. **148.** Eagleton, T. (1996). *The illusions of postmodernism.* Oxford: Blackwell. **149.** Eco, U. (1983). *Postscript to the Name of the Rose.* San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. P. 67. **150.** Edwards, D., Ashmore, M., & Potter, J. (1995). Death and furniture: the rhetoric and politics and theology of bottom line arguments against relativism. *History of the Human Sciences, 8:* 25-49. **151.** Edwards, D., & Mercer, N. (1987). *Common knowledge, the development of understanding in the classroom.* London: Methuen. **152.** Edwards, D., & Potter, J. (1992). *Discursive psychology.* London: Sage. **153.** Egelund, M. (1997). (Ed.) *Enforskel der gor enforskel: Reflekterende proceser hos born, foroeldre og personate pa en dogninstitution.* Kobenhaven: Hans Reitzels Forlag. **154.** Elder, G.H. (1974). *Children of the great depression.* Chicago: University of Chicago Press. **155.** Elias, N. (1978). *The civilizing process.* New York: Urizen Books. **156.** Ellis, C. (1995). *Final negotiations: a story of love, loss, and chronic illness.* Philadelphia: Temple University Press. **157.** Ellis, C, & Bochner, A.P. (Eds.). (1996). *Composing ethnography.* Walnut Creek, CA: Alta Mira. **158.** Epston. D., & White, M. (1995). Termination as a rite of passage: questioning strategies for a therapy of inclusion. In R. Neimeyer & M. Mahoney (Eds.), *Constructivism in psychotherapy* (pp. 339-354). Washington, DC: American Psychological Association. **159.** Epston, D., White, M, & Murray, K. (1992). A proposal for re-authoring therapy: Rosie's revisioning of her life and a commentary. In S. McNamee & K.J. Gergen (Eds.), *Therapy as social construction* (pp. 96-115). London: Sage. **160.** Erikson, E.H. (1975). *Life history and the historical moment.* New York: Norton. **161.** Etzioni, A. (1993). *The spirit of community.* New York: Crown. **162.** Fay, B. (1987). *Critical social science, liberation and its limits.* Ithaca, NY: Cornell University Press. P. 23. **163.** Featherstone, M., Hepworth, M., & Turner, B. (1991). *The body: social processes and cultural theory.* London: Sage. **164.** Feyerabend, P. (1976). *Against method.* New York: Humanities Press. **165.** Feyerabend, P. (1978). *Science in a free society.* London: Thetford Press. P. 183. **166.** Fish, S. (1980). *Is there a text in this class?' The authority of interpretive communities.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **167.** Fisher, H. (1995). Whose right is it to define the self? *Theory and Psychology,* 5:323-352. **168.** Fleck, L. (1979). *Genesis and development of a scientific fact.* Chicago: University of Chicago Press. **169.** Foucault, M. (1978). *The history of sexuality, Vol. 1* (R. Hurley, Trans.) New York: Pantheon. **170.** Foucault, M. (1979a). *Discipline and punish: the birth of the prison.* New York: Random House. **171.** Foucault, M. (1979b). What is an author? In V.H. Josue (Ed.), *Textual strategies: perspectives in post-structuralist criticism.* Ithaca, NY: Cornell University Press. **172.** Foucault, M. (1980). *Power/knowledge.* New York: Pantheon. **173.** Fowers, B.J., & Richardson, F.C. (1996). Individualism, family ideology and family therapy. *Theory and Psychology, 6:*121-151. **174.** Frank, A.W. (1995). *The wounded storyteller.* Chicago: University of Chicago Press. **175.** Frascina, F., & Harrison, C. (Eds.). (1982). *Modern art and modernism.* London: Open University Press. **176.** Frederick, W. (1963). The next development in management science: a general theory. *Academy of Management Journal, 6:* 212-219. **177.** Freeman, J., Epston, D., & Lobovits, D. (1997). *Playful approaches to serious problems: narrative therapy with children and their families.* New York: W.W. Norton. **178.** Freedman, D.H. (1992). Is management still a science? *Harvard Business Review,* Nov.-Dec: 626-657. **179.** Freedman, J., & Combs, G. (1996). *Narrative therapy: the social construction of preferred realities.* New York: Guilford Publications. **180.** Freeman, M. (1993). *Rewriting the self: history, memory, narrative.* New York: Routledge. **181.** Freeman, M. (1999). Culture, narrative, and the poetic construction of selfhood. *Journal of Constructivist Psychology, 12:*144-161. **182.** Friedman, S. (Ed.). (1993). *The new language of change: constructive collaboration in psychotherapy.* New York: Guilford Press. **183.** Friere, P. (1972). *Pedagogy of the oppressed.* New York: Herder and Herder. P. 57. **184.** Friere, P. (1985). *The politics of education.* South Hadley, MA: Bergin and Garvey. **185.** Frisby, D. (1985). *Fragments of modernity.* London: Polity Press. **186.** Fromm, E. (1941). *Escape from freedom.* New York: Rinehart. **187.** Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man.* New York: Free Press. **188.** Garfinkel, H. (1967). *Studies in ethnomethodology.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. **189.** Garroutte, E.M. (1992). When scientists saw ghosts and why they stopped: American spiritualism in history. In T. Wuthnow (Ed.), *Vocabularies of public life.* London: Routledge. **190.** Gates, H.L. (1994). *Colored people: a memoir.* New York: Knopf. **191.** Gebser, J. (1985). *The ever-present origin.* Athens, OH: Ohio University Press. **192.** Gee, J.G. (1992). *The social mind.* New York: Bergin and Garvey. P. 104. **193.** Gephart, R.P. (1992). *Environmental disasters in the postmodern era: theory and methods for organizational change.* Paper presented at the National Academy of Management Meetings, Las Vegas, Nevada. **194.** Gergen, K.J. (1973). Social

psychology as history. *Journal of Personality and Social Psychology, 26:* 309-320. **195.** Gergen, K.J. (1987). The language of psychological understanding. In H.J. Stam, T.B. Rogers, & K.J. Gergen (Eds.) *The analysis of psychological theory* (pp. 15-128). New York: Hemisphere. **196.** Gergen, K.J. (1991). *The saturated self: dilemmas of identity in contemporary life.* New York: Basic Books. **197.** Gergen, K.J. (1992). Organization theory in the postmodern era. In M. Reed & M. Hughes (Eds.), *Rethinking organization: new directions in organization theory and analysis* (pp. 207-226). London. Sage. **198.** Gergen, K.J. (1994a). *Realities and relationships: soundings in social construction.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **199.** Gergen, K.J. (1994b). Mind, text, and society: self memory in social context. In U. Neisser & R. Fivush (Eds.), *The remembering self.* New York: Cambridge University Press. **200.** Gergen, K.J. (1994c). *Toward transformation in social knowledge* (2nd ed.). London: Sage. **201.** Gergen, K.J. (1995a). Metaphor and monophony in the twentieth century psychology of emotions. *History of the Human Sciences, 8:*1-23. **202.** Gergen, K.J. (1995b). Performative psychology: the play begins. *Psychology and the Arts,* Fall: 8-9. **203.** Gergen, K.J. (1996). Technology and the self: from the essential to the sublime. In D. Grodin & T. Lindlof (Eds.), *Constructing the self in a mediated age* (pp. 127-140). Beverly Hills, CA: Sage. **204.** Gergen, K.J. (1999). *An invitation to social construction.* London: Sage. **205.** Gergen, K.J., & Gergen, M.M. (Eds.). (1984). *Historical social psychology.* Hillsdale, NJ: Erlbaum. **206.** Gergen, K.J., & Gergen, M.M. (1986). Narrative form and the construction of psychological science. In T. Sarbin (Ed.), *Narrative psychology: the storied nature of human conduct.* New York: Praeger. **207.** Gergen, K.J., & Gergen, M.M. (1994). *Sandoz in the new century, an incorporative vision of communication for managerial effectiveness.* Basle: Sandoz Pharma. **208.** Gergen, K.J., Gulerce, A., Lock, A., & Misra, G. (1996). Psychological science in cultural context. *American Psychologist, 51:* 496-503. **209.** Gergen, K.J., & Kaye, J. (1992). Beyond narrative in the negotiation of human meaning. In S. McNamee & K.J. Gergen (Eds.), *Therapy as social construction* (pp. 166-185). London: Sage. **210.** Gergen, K.J., & Walter, R. (1998). Real/izing the relational. *Journal of Social and Personal Relationships. 15:*110-126. **211.** Gergen, K.J., & Whitney, D. (1997) Technologies of representation in the global organization: power and polyphony. In D.M. Boje, R.P. Gephart, & T. Joseph (Eds.), *Postmodern management and organization theory.* Thousand Oaks, CA: Sage. **212.** Gergen, M.M. (1988). Toward a feminist metatheory and methodology in the social sciences. In M. Gergen (Ed.), *Feminist thought and the structure of knowledge.* New York: New York University Press. **213.** Gergen, M.M. (2001). *Feminist reconstructions in psychology: narrative, gender, and performance.* Thousand Oaks, CA: Sage. **214.** Giddens, A. (1984). *The constitution of society.* Cambridge: Polity. **215.** Giddens, A. (1990). *Consequences of modernity.* Stanford, CA: Stanford University Press. **216.** Gigerenzer, G. (1996). From tools to theories: discovery in cognitive psychology. In C. Graumann & K. Gergen (Eds.), *Historical dimensions of psychological discourse.* New York: Cambridge University Press. **217.** Gilligan, C. (1982). *In a different voice: psychological theory and women's development.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **218.** Gilligan, S., & Price, R. (Eds.). (1993). *Therapeutic conversations.* New York: W.W. Norton. **219.** Giroux, H. (1992). *Border crossings.* New York: Routledge, Chapman and Hall. **220.** Gitlin, T. (1993). The rise of ‚identity polities'. *Dissent, 40:*172-177. **221.** Glendon, M.A. (1991). *Rights talk: the impoverishment of political discourse.* New York: Free Press. **222.** Goldberg, D.T. (1993). *Racist culture.* Oxford: Blackwell. **223.** Goldner, V. (1998). The treatment of violence and victimization in intimate relationships. *Family Process, 37:* 263-286. **224.** Goldner, V., Penn, P., Sheinberg, M., & Walker, G. (1990). Love and violence: gender paradoxes in volatile attachments. *Family Process, 29:* 342-364. **225.** Goncalves, O.F. (1995). Cognitive narrative psychotherapy: the hermeneutic construction of alternative meanings. In M.J. Mahoney (Ed.), *Cognitive and constructive psychotherapies.* New York: Springer. **226.** Goodman, N. (1978). *Ways of worldmaking.* New York: Hackett. **227.** Goolishian, H., & Anderson, H. (1987). Language systems and therapy: An evolving idea. *Journal of Psychotherapy, 24:* 529-538. **228.** Graumann, C.F., & Gergen, K.J. (Eds.). (1996). *Historical dimensions of psychological discourse.* New York: Cambridge University Press. **229.** Gray, C.H. (Ed.). (1995). *The cyborg handbook.* New York: Routledge. **230.** Greenberg, D., & Sadofsky, M. (1992). *The Sudbury Valley School experience.* Framingham, MA: Sudbury Valley School Press. **231.** Griffith, J.L., & Griffith, M.E. (1992). Therapeutic change in religious families: working with the God construct. In L.A. Burton (Ed.), *Religion and the family: when God helps* (pp. 63-86). New York: Ha worth Press. **232.** Griffith, J.L. & Griffith, M.E. (1994). *The body speaks: therapeutic dialogues for mind-body problems.* New York: Basic Books. **233.** Gross, B., & Levitt, N. (1994). *Higher superstition: the academic left and its quarrels with science.* Baltimore: Johns Hopkins University. **234.** Grossen, M. (1988). *L'interaction sociale en situation de test* (doctoral thesis, University of Neuchatel). **235.** Grosz, E. (1988). The intervention of feminist knowledge. In B. Caine, E.A. Grosz, & M. de Lepervanche (Eds.), *Crossing boundaries, feminisms and the critique of knowledge.* North Sydney: Allen and Unwin Australia. **236.** Gubrium, J., Holstein, J.A., & D. Buckholdt (1994). *Constructing the life course.* Dix Hills, NY: General Hall. **237.** Fox, M. (1993). Personal communication. **238.** Habermas, J. (1971). *Knowledge and human interests.* Boston: Beacon. **239.** Habermas, J. (1993). *Justification and application: remarks on discourse ethics.* Cambridge, MA: MIT Press. **240.** Hacking, I. (1995). *Rewriting the soul.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **241.** Hacking, I. (1999). *The social construction of what?* Cambridge, MA: Harvard University Press. **242.** Hackman, R., & Lawler, E. (1971). Employee reactions to job characteristics. *Journal of Applied Psychology, 60:*159-170. **243.** Hage, J. (1963). An axiomatic theory of organizations. *Administrative Science Quarterly, 10:* 289-320. **244.** Hage, J., & Powers, C.H. (1992). *Post-industrial lives.* Thousand Oaks, CA: Sage. 245. Haire, M. (Ed.). (1959). *Modern organization theory.* New York: Wiley. **246.** Hammond, S.A. (1996). *Appreciative inquiry.* Chagnin Falls, OH: Taos Institute. **247.** Harding, S. (1986). *Whose science, whose knowledge?* Ithaca, NY: Cornell University Press. **248.** Hare-Mustin, R., & Marecek, J. (1988). The meaning of difference: gender theory, postmodernism, and psychology. *American Psychologist, 43:*455-464. **249.** Haraway, D. (1985). Manifesto for cyborgs: science, technology and socialist feminism in the 1980s. *Socialist Review, 80:* 65-108. **250.** Harré, R. (Ed.). (1986). *The social construction of emotions.* Oxford: Blackwell. **251.** Harré, R. (1992). What is real psychology: a plea for persons. *Theory and Psychology, 2:*153-158. **252.** Harré, R., & Finlay-Jones, R. (1986). Emotion talk across times. In R. Harré (Ed.), *The social construction of emotions.* Oxford: Blackwell. **253.** Harré, R., & Gillett, G. (1994). *The discursive mind.* Thousand Oaks, CA: Sage. P. 21-22, 49, 79. **254.** Harré, R., & Krausz, M. (1996). *Varieties of relativism.* Oxford: Blackwell. **255.** Harvey, D. (1989). *The condition of postmodernity: an inquiry into the origins of cultural change.* Oxford: Blackwell. P. 102. **256.** Harvey, D. (1993). Class relations, social justice and the politics of difference. In J. Squires (Ed.), *Principled positions, postmodernism and*

the rediscovery of value. London: Lawrence and Wishart. **257.** Hassard, J. (1991). Multiple paradigms and organizational analysis: a case study. *Organization Studies, 12:* 275-299. **258.** Healy, D. (1997). Cyberspace and place. In D. Porter (ed.), *Internet culture.* New York: Routledge. P. 62, 148. **259.** Hebdige, D. (1987). *Subculture, the meaning of style.* London: Routledge. P. 136–7. **260.** Heelas, P., & Lock, A. (Eds.). (1981). *Indigenous psychologies: the anthropology of the self.* London: Academic Press. **261.** Held, B. (1996). *Back to reality: a critique of postmodern psychotherapy.* New York: W.W. Norton. **262.** Hepworth, J. (1999). *The social construction of anorexia nervosa.* London: Sage. **263.** Herman, J. (1992). *Trauma and recovery.* New York: Basic Books. **264.** Hermans, H.J.M., & Kempen, H.J.G. (1993). *The dialogical self: meaning as movement.* San Diego, CA: Academic Press. P. 8-10, xx. **265.** Hetrick, W., & Lozada, H. (1992) *Postmodernism and anti-theory: the illusion of organizational science.* Paper presented at the National Academy of Management Meetings, Las Vegas, Nevada. **266.** Hirschman, A.O. (1991). *The rhetoric of reaction.* Cambridge, MA: Belknap. **267.** Hobbes, T. (1651). *The Leviathan.* London: Crooke. **268.** Hoffman, L. (1990). Constructing realities: an art of lenses. *Family Process, 29:*1-12. **269.** Hoffman, L. (1993). *Exchanging voices: a collaborative approach to family therapy.* London: Karnac Books. P. 4. **270.** Hollinger, R. (1994). *Postmodernism and the social sciences.* Thousand Oaks, CA: Sage. **271.** Hollingsworth, S., & Sockett, H. (1994). Positioning teacher research in educational reform: movement and momentum. In S. Hollingsworth & H. Sockett (Eds.), *Teacher research and educational reform.* Chicago, IL: University of Chicago Press. **272.** Holzman, L. (1997). *Schools for growth.* Mahwah, NJ: Erlbaum. **273.** Hoover, S.M. (1988). *Mass media religion.* Thousand Oaks, CA: Sage. **274.** Horkheimer, M. (1974). *Eclipse of reason.* New York: Seabury. **275.** House, R. (1971). A path goal theory of leadership effectiveness. *Administrative Science Quarterly, 16:* 321-338. **276.** Hoyt, M.F. (Ed.). (1994). *Constructive therapies.* New York: Guilford Press. **277.** Hoyt, M.F. (Ed.). (1996). *Constructive therapies: volume 2.* New York: Guilford Press. **278.** Hoyt, M.F. (Ed.). (1998). *The handbook of constructive therapies: innovative approaches from leading practitioners.* San Francisco: Jossey-Bass. **279.** Hume, D. (1977). *Treatise on human nature.* New York: Dutton. (First published in 1739). **280.** Hunt, N.M. (1959). *The natural history of love.* New York: Knopf. **281.** Hunter, J.D. (1991). *Culture wars.* New York: Basic Books. **282.** Izard, CE. (1977). *Human emotions.* New York: Plenum. **283.** Jackson, P. (1968). *Life in classrooms.* New York: Holt, Rinehart and Winston. **284.** Jacques, R. (1992). Critique and theory building: producing knowledge from the kitchen. *The Academy of Management Review, 17:* 582-606. **285.** Jameson, F. (1984). Postmodernism, or the cultural logic late capitalism. *New Left Review, 146:* 53-92. **286.** Johnson D.W., & Johnson, R.T. (1989). *Leading the cooperative school.* Edina, MN: Interaction Books. **287.** Joseph, T. (1994). Organizations as texts: hermeneutics as a model for understanding organizational change. Unpublished doctoral dissertation, Case Western Reserve University. **288.** Jung, CG. (1973). *Four archetypes.* Princeton, NJ: Bollingen. (Originally published in 1945). P. 91. **289.** Kaslow, F.W. (Ed.) (1996). *Handbook of relational diagnosis and dysfunctional family patterns.* New York: John Wiley and Sons. **290.** Kelly, G. (1955). *The psychology of personal constructs.* New York: W.W. Norton. **291.** Kern, S. (1992). *The culture of love, Victorians to moderns.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **292.** Kesey, K. (1989). *Caverns.* Harmondsworth: Penguin. **293.** Kessen, W. (1990). *The rise and fall of development.* Worcester, MA: Clark University Press. **294.** Kessler, S.J., & McKenna, W. (1978). *Gender: an ethnomethodological approach* New York: Wiley. **295.** Kilduf, M. (1993). Deconstructing organizations. *The Academy of Management Review 18:*13-3. **296.** Kilmann, R., Thomas, K., Slevin, D., Nath, R., & Jerrell, L. (Eds.). (1983). *Producing useful knowledge for organizations.* New York: Praeger. **297.** Kirschner, S.R. (1996). *The religious and romantic origins of psychoanalysis.* New York: Cambridge University Press. **298.** Kleinman, A. (1988). *The illness narratives.* New York: Basic Books. **299.** Knorr-Cetina, K.D. (1981). *The manufacture of knowledge.* Oxford: Pergamon. **300.** Kogan, S., & Brown, A.C. (1998). Reading against the lines: resisting foreclosure in therapy discourse. *Family Process, 37:*495-512. **301.** Kohlberg, L. (1981). *Philosophy of moral development: moral stages and the idea of justice.* San Francisco: Harper & Row. **302.** Kostera, M. (1997). Personal performatives: collecting poetical definitions of management. *Organization, 4:* 345-353. **303.** Kozulin, A. (1998). *Psychological tools, a sociocultural approach to education.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **304.** Kuhn, T. (1962). *The structure of scientific revolutions.* Chicago: University of Chicago Press. **305.** Kuhn, T.S. (1970). *The structure of scientific revolutions.* 2nd rev. (ed.). Chicago: University of Chicago Press. **306.** Kutchins, H, & Kirk, S.A. (1997). *Making us crazy: DSM the psychiatric bible and the creation of mental disorders.* New York: Free Press. **307.** Kvale, S. (1987). Examinations - a psychometric test or a censorship of knowledge? *Nordisk Pedagogik, 4:* 221-234. **308.** Kvale, S. (Ed.). (1992). *Psychology and postmodernism.* London: Sage. **309.** Lacan, J. (1953). Actes due Congress du Rome. *La Psychoanalyze,* I. P. 203. **310.** Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and socialist strategy.* London: Verso. **311.** Laing, R.D. (1967). *The politics of experience.* New York: Ballantine Books. P. 100. **312.** Laing, R.D. (1967). *The politics of experience.* Harmondsworth, Penguin. **313.** Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by.* Chicago: University of Chicago Press. **314.** Landau, M. (1991). *Narratives of human evolution.* New Haven, CT: Yale University Press. **315.** Lange, A. (1996). Using writing assignments with families managing legacies of extreme traumas. *Journal of Family Therapy, 18:* 375-388. **316.** Lannamann, J.W. (1998). Social construction and materiality: the limits of indeterminancy in therapeutic settings. *Family Process, 47:* 393-413. **317.** Larner, G. (1996). Narrative child family therapy. *Family Process, 35:*423-440. **318.** Larochelle, M., Bednarz, N, & Garrison, J. (Eds.). (1998). *Constructivism and education.* Cambridge: Cambridge University Press. **319.** Lasch, C. (1979). *The culture of narcissism.* New York: Norton. **320.** Lasch, C. (1991). *The true and only heaven, progress and its critics.* New York: Norton. **321.** Lather, P. (1991). *Getting smart.* New York: Routledge. P. 105. **322.** Latour, B., & Woolgar, S. (1979). *Laboratory life, the social construction of scientific fact.* Beverly Hills, CA: Sage. **323.** Lavipour, F.G., & Sauvant, K. (Eds.). (1976). *Controlling multinational enterprises: problems, strategies, counter strategies.* Boulder, CO: Westview. **324.** Lawrence, P.R., & Lorsch, J. (1967). *Organization and environment.* Cambridge, MA: Harvard School of Business. **325.** Layder, D. (1987). Key issues in structuration theory: some critical remarks. *Current Perspectives in Social Theory, 8:* 25-46. **326.** Leary, D. (Ed.). (1990). *Metaphors in the history of psychology.* New York: Cambridge University Press. **327.** Lee, A. (1991). Integrating positivist and interpretive approaches to organizational research. *Organization Science, 2:*342-365. **328.** Leo, J. (1991). The lingo of entitlement. *U.S. News and World Report,* 14 October: 22. **329.** Levenson, M. (1984). *A geneology of modernism.* Cambridge: Cambridge University Press. **330.** Levin, G.H. (1982). *Writing and logic.* New York: Harcourt Brace Jovanovich. **331.** Levinas, E. (1981). *Otherwise than being or beyond essence* The Hague: Martinus Nijhof.

332. Levitt, K. (1970). *Silent surrender: the multinational corporation in Canada.* Toronto: Macmillan. **333.** Levy, R.I. (1989). The quest for mind in different times and different places. In A.E. Barnes & P.N. Stearns (Eds.), *Social history and issues in human consciousness.* New York: New York University Press. **334.** Lieblich, A. (1993). Looking at change. In R. Josselson & A. Lieblich (Eds.), *The narrative study of lives.* Newbury Park, CA: Sage. P. 93, 105. **335.** Lifton, R.J. (1993). *The protean self: human resilience in an age of fragmentation.* New York: Basic Books. **336.** Lipman-Blumen, J. (1984). *Gender roles and power.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. **337.** Lobel, S.A. (1990). Global leadership competencies: managing to a different drumbeat. *Human Resource Management, 29:* 39-47. **338.** Locke, E.A. (1968). Toward a theory of task motivation and incentives. *Organizational Behavior and Human Performance,* 3:157-189. **339.** Locke, J. (1959). *An essay concerning human understanding.* New York: Dover. **340.** Loewenberg, P. (1983). *Decoding the past: the psychohistorical approach.* New York: Knopf. **341.** Lopes, L.L. (1991). The rhetoric of irrationality. *Theory and Psychology, 1:* 65-82. **342.** Luhmann, N. (1976). A general theory of organized social systems. In G. Hofstede & S. Kassem (Eds.), *European contributions of organization theory* (pp. 96-113). Amsterdam: Van Gocum. **343.** Luhmann, N. (1987). *Love as Passion.* Harvard, MA: Harvard University Press. **344.** Lukes, S. (1974). *Power: a radical view.* London: Macmillan. **345.** Lukes, S. (1977). Essays *in social theory.* London: Macmillan. **346.** Lutz, C. (1988). *Unnatural emotions.* Chicago: University of Chicago Press. **347.** Lyons, W. (1986). *The disappearance of introspection.* Cambridge, MA: MIT Press. **348.** Lyotard, J. (1984). *The postmodern condition: a report on knowledge* (G. Bennington & B. Massouri, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 4-5. **349.** Lyotard, J., & Thebaud, J. (1985). *Just gaming.* Minneapolis: University of Minneapolis Press. P. 94. **350.** MacIntyre, A. (1984). *After virtue* (2nd ed.). Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. P. 202, 207, 210. **351.** MacKinnon, L., & Miller, D. (1987). The new epistemology and the Milan approach: feminist and sociopolitical considerations. *Journal of Marital and Family Therapy,* 13« 139-155. **352.** Madigan, S., & Epston, D. (1995). From 'spy-chiatric' gaze to communities of concern: from professional monologue to dialogue. In S. Friedman (Ed) *The reflecting team in action.* New York: Guilford Press. **353.** Mancuso, J.C. (1996). Constructionism, personal construct psychology and narrative psychology. *Theory and Psychology,* 6: 47-70. **354.** Mannheim, K. (1951). *Ideology and Utopia.* New York: Harcourt Brace. **355.** March, J.G., & Simon, H.A. (1958). *Organizations.* New York: John Wiley. **356.** Marcus, G.E., & Fisher, M. (1986). *Anthropology as cultural critique: an experimental moment in the human sciences.* Chicago: University of Chicago Press. **357.** Marcuse, H. (1964). *One dimensional man.* Boston: Beacon. **358.** Martin, E. (1994). *Flexible bodies: tracking immunity in American culture from the days of polio to the age of AIDS.* Boston: Beacon Press. **359.** Martin, J. (1990) Deconstructing organizational taboos: the suppression of gender conflict in organizations. *Organizational Science,* 1: 339-359. **360.** Martin, J. and Sugarman, J. (1999). *The psychology of human possibility and constraint.* Albany: State University of New York Press. **361.** Martindale, C. (1975). *The romantic progression: the psychology of literary history.* Washington, DC: Hemisphere. **362.** Martindale, C. (1990). *The clockwork muse: the predictability of artistic change.* New York: Basic Books. **363.** McCloskey, D.N. (1985). *The rhetoric of economics.* Madison, WI: University of Wisconsin Press. **364.** McLaren, P. (Ed.). (1994). *Post-modernism, post-colonialism, and pedagogy.* Albert Park, Australia: James Nicholas. P. 201. **365.** McLeod, J. (1997). *Narrative and psychotherapy.* London: Sage. **366.** McLibben, B. (1989). *The end of nature.* New York: Random House. **367.** McNamee, S., & Gergen, K.J. (Eds.). (1992). *Therapy as social construction.* London: Sage. **368.** McNamee, S., & Gergen, K.J. (1999). *Relational responsibility: resources for sustainable dialogue.* Thousand Oaks, CA: Sage. **369.** Mehan, H. (1979). *Learning lessons, social organization in the classroom.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **370.** Merttens, R. (1998). What is to be done (with apologies to Lenin). In I. Parker (Ed.), *Social constructionism, discourse, and realism,* (pp. 59-74). London: Sage. **371.** Messer, S.B., Sass, L.A., & Woolfolk, R.L. (Eds.). (1988). *Hermeneutics and psychological theory.* New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. **372.** Meyrowitz, J. (1985). *No sense of place.* New York: Oxford University Press. **373.** Michael, M. (1996). *Constructing identities.* London: Sage. **374.** Miles, R.E., & Snow C.C. (1978). *Organizational strategy, structure and process.* New York: McGraw-Hill. **375.** Miller, G., & de Shazer, S. (1998). Have you heard the latest rumor about solution-focused therapy as a rumor? *Family Process, 37:* 363-377. **376.** Minuchin, S. (1991). The seductions of constructivism. *The Family Therapy Netivorker, 15:* 47-50. **377.** Mitchell, S. (1993). *Hope and dread in psychoanalysis.* New York: Basic Books. **378.** Modell, J. (1989). A note on scholarly caution in a period of revisionism and interdisciplinarity. In A.E. Barnes & P.N. Stearns (Eds.), *Social history and issues in human consciousness.* New York: New York University Press. **379.** Morawski, J.G. (1985). The measurement of masculinity and femininity: engendering categorical realities. *Journal of Personality,* 53:171-197. **380.** Morawski, J.G. (Ed.). (1988). *The rise of experimentation in American psychology.* New Haven, CT: Yale University Press. **381.** Morawski, J.G. (1994). *Practicing feminisms, reconstructing psychology: notes on a liminal science.* Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. **382.** Morgan, G. (Ed.). (1983). *Beyond method: strategies for social research.* Beverly Hills, CA: Sage. P. 12-13. **383.** Morgan, G. (1990). Paradigm diversity of organizational research. In N. Hassard & D. Pym (Eds.). *The theory and philosophy of organizations.* London: Routledge. **384.** Morgan, G. (1993). *Images of organization* (2nd ed.). London: Sage. **385.** Morgan, R.E. (1984). *Disabling America: the 'rights industry' in our time.* New York: Basic Books. **386.** Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. In R. Farr & S. Moscovici (Eds.), *Social representations.* London: Cambridge University Press. **387.** Mulkay, M. (1985). *The word and the world: explorations in the form of sociological analysis.* London: Allen & Unwin. P. 10-11. **388.** Mumby, D.K., & Putnam, L. (1992). The politics of emotions: a feminist reading of bounded rationality. *The Academy of Management Review, 17:*465-486. **389.** Mustin, R.T. (1994). Discourse in the mirrored room: A postmodern analysis of therapy. *Family Process,* 33:199-236. **390.** Myerson, G. (1994). *Rhetoric, reason and society.* London: Sage. **391.** Natter, W., Schatzki, T.R., & Jones, J.P. (Eds.). (1995) *Objectivity and its other.* New York: Guilford. **392.** Neimeyer, G.J., & Neimeyer, R. A. (1985). Relational trajectories: a personal construct contribution. *Journal of Social and Personal Relationships,* 2: 325-349. **393.** Neimeyer, R.A. (1999). Narrative strategies in grief therapy. *Journal of Constructivist Psychology, 12:* 65-86. **394.** Neimeyer, R., & Mahoney, M. (Eds.). (1995). *Constructivism in psychotherapy.* Washington, DC: American Psychological Association. **395.** Nielsen, Eric H. (1992) *Modernism, postmodernism and managerial competences.* Paper presented at the National Academy of Management Meetings, Las Vegas, Nevada. **396.** Newman, F., & Holzman, L. (1996). *Unscientific psychology a cultural-performatory approach to understanding human life.* Westport, CT: Praeger. **397.** Newman, F., & Holzman, L. (1997). *The end of*

knowing: a new developmental way of learning. London: Routledge. **398.** Newman, F., & Holzman, L. (1999). Beyond narrative to performed conversation. *Journal of Constructivist Psychology, 12:* 23-41. **399.** Nkomo, S. (1992). The emperor has no clothes: rewriting race in organizations. *The Academy of Management Review, 17:* 487-513. **400.** Norris, C. (1983). *The deconstructive turn.* London: Methuen. **401.** Norris, C. (1990). *What's wrong with postmodernism?* Baltimore: Johns Hopkins University Press. **402.** Novick, P. (1989). *That noble dream.* New York: Cambridge University Press. **403.** Ogilvy, J. (1990). This postmodern business. *Marketing and Research Today, 18:* 4-21. **404.** O'Hanlon, W.H. (1993). Possibility therapy: from iatrogenic injury to iatrogenic healing. In S. Gilligan & R. Price (Eds.), *Therapeutic conversations.* New York: W.W. Norton. P. 7. **405.** O'Hanlon, W., & Weiner-Davis, M. (1988). *In search of solutions: a new direction in psychotherapy.* New York: W.W. Norton. **406.** Olssen, M. (1996). Radical constructivism and its failings: anti-realism and individualism. *British Journal of Educational Studies, 44:* 275-296. **407.** O'Neill, P. (1998). *Negotiating consent.* New York: New York University Press. **408.** Ong, W.J. (1982). *Orality and literacy.* London: Methuen. **409.** Osbeck, L. (1993). Social constructionism and the pragmatic standard. *Theory and Psychology, 3:* 337-349. **410.** Osborne, J.F. (1996). Beyond constructivism. *Science and Education, 80:*53-83. **411.** Paranjpe, A. (1998). *Self and identity in modern psychology and Indian thought.* New York: Plenum. **412.** Parker, I. (1998). Against postmodernism: psychology in cultural context. *Theory and Psychology, 9:* 601-627. **413.** Parker, I., Georgas, E., Harper, D., McLaughlin, T., & Stowall-Smith, M. (1995). *Deconstructing psychopathology.* London: Sage. **414.** Parker, I., & Shorter, J. (Eds.). (1990). *Deconstructing social psychology.* London: Routledge & Kegan Paul. **415.** Parker, M. (1992) Post-modern organizations or postmodern organization theory? *Organization Studies, 13:*1-17. **416.** Parré, D.A., & Sawatzky, D.D. (1999). *Discursive wisdom: reflections on ethics and therapeutic knowledge.* Unpublished paper, Lousage Institute. **417.** Parry, A., & Doan, R.E. (1994). *Story re-visions: narrative therapy in the postmodern world.* New York: Guilford Press. **418.** Parsons, T. (1956). Suggestions for a sociological approach to the theory of organizations. *Administrative Science Quarterly, 1:* 63-85. **419.** Parsons, T. (1969). On the concept of political power. In R. Bell, D. Edwards, & R. Wagner (Eds.), *Political power: a reader in theory and research* (pp. 251-284). New York: Free Press. **420.** Pearce, W.B., & Littlejohn, S.W. (1997). *Moral conflict: when social worlds collide.* Thousand Oaks, CA: Sage. **421.** Peck, S. (1992). *A world waiting to be born.* New York: Bantam. **422.** Penn, P. (1988). Rape flashbacks: Constructing a new narrative. *Family Process,* 37, 299-310. **423.** Penn, P., & Frankfurt, M. (1994). Creating a participant text: writing, multiple voices, narrative multiplicity. *Family Process, 33:* 217-231. **424.** Pepper, W.C. (1942). *World hypotheses.* Berkeley: University of California Press. **425.** Peters, T. (1992). *Liberation management: necessary disorganization for the nanosecond Nineties.* New York: A.A. Knopf. **426.** Pettigrew, T.F., & Martin, J. (1987) Shaping the organizational context for black American inclusion. *Journal of Social Forces, 43:* 41-78. **427.** Pfeffer, J. (1982). *Organizations and organization theory.* Boston: Pitman. **428.** Pfohl, S. (1992). *Death at the parasite cafe.* New York: St. Martins Press. P. 8, 54, 59, 79, 264. **429.** Phelan, S. (1989). *Identity politics.* Philadephia, PA: Temple University Press. P. 170. **430.** Phillips, D.C. (1997). How, why, what, when and were: perspectives on constructivism in psychology and education. *Issues in Education, 3:*151-194. **431.** Piaget, J. (1954). *The construction of reality in the child.* New York: Basic Books. **432.** Pitkin, H. (1972). *Wittgenstein and justice.* Berkeley, CA: University of California Press. **433.** Polkinghorne, D.E. (1988). *Narrative knowing and the human sciences.* Albany, NY: State University of New York Press. **434.** Potter, J., & Wetherell. (1987). *Discourse and social psychology: beyond attitudes and behavior.* London: Sage. **435.** Pugh, D.S., Hickson, D.J., Hinings, C.R., Macdonald, K.M., Turner, C, & Lupton, T. (1963). A conceptual scheme of organizational analysis. *Administrative Science Quarterly, 8:* 289-315. **436.** Ramirez, M. (1983). *Psychology of the Americas: Mestizo perspectives on personality and mental health.* Elmsford, NY: Pergamon. **437.** Randall, J.H. (1940). *The making of the modern mind.* Boston: Houghton Mifflin. **438.** Rawlins, W.K. (2000). Teaching as a mode of friendship. *Communication Theory, 10:* 5-26. **439.** Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.) (2001). *Handbook of action research.* London: Sage. **440.** Reed, M., & Hughes (Eds.). *Rethinking organization.* London: Sage. **441.** Rheingold, H. (1993). *The virtual community: homesteading on the electronic frontier.* Reading, MA: Addison-Wesley. P. 7. **442.** Richards, J. & von Glasersfeld, E. (1979). The control of perception and the construction of reality. *Dialectica,* 33: 37-58. **443.** Richards, P.S., & Bergin, A.E. (1997). *A spiritual strategy for counseling and psychotherapy.* Washington, DC: American Psychological Association. **444.** Riesman, D. (1953). *The lonely crowd.* New Haven, CT: Yale University Press. **445.** Riikonen, E., & Smith, G.M. (1997). *Re-imagining therapy: living conversation and relational knowing.* London: Sage. P. 25, 90, 123. **446.** Rogoff, B. (1990). *Apprenticeship in thinking.* New York: Oxford University Press. **447.** Rorty, R. (1979). *Philosophy and the mirror of nature.* Princeton, NJ: Princeton University Press. **448.** Rorty, R. (1982). *Consequences of pragmatism.* Minneapolis: University of Minneapolis Press. **449.** Rose, N. (1985). *The psychological complex: psychology, politics and society in England, 1869-1939.* London: Routledge & Kegan Paul. **450.** Rose, N. (1990). *Governing the soul: the shaping of the private self.* London: Routledge. **451.** Rosen, H., & Kuehlwein, K.T. (Eds.). (1996). *Constructing realities: meaning-making perspectives for psychotherapists.* San Francisco: Jossey-Bass Publishers. **452.** Rosenau, P.M. (1992). *Postmodernism and the social sciences.* Princeton, NJ: Princeton University Press. **453.** Rosengren, W. (1967). Structure, policy and style: strategies of organizational control. *Administrative Science Quarterly, 12:*140-164. **454.** Rumelt, R. (1974). *Strategy, structure, and economic performance.* Boston: Harvard Business School. **455.** Rushing, W. (1967). The effects of industry size and division of labor on administration. *Administrative Science Quarterly, 12:* 273-295. **456.** Rychlak, J.F. (1988). *The psychology of rigorous humanism* (2nd ed.). New York: New York University Press. **457.** Salomon, G. (Ed.). (1996). *Distributed cognitions: psychological and educational considerations.* New York: Cambridge University Press. **458.** Sampson, E.E. (1977). Psychology and the American ideal. *Journal of Personality and Social Psychology, 35:* 767-782. **459.** Sampson, E.E. (1978). Scientific paradigms and social values: Wanted - a scientific revolution. *Journal of Personality and Social Psychology, 36:* 730-7'43. **460.** Sampson, E.E. (1988). The debate on individualism. *American Psychologist, 43:*15-22. **461.** Sampson, E.E. (1989). The challenges of social change for psychology: globalization and psychology's theory of the person. *American Psychologist, 44:* 914-921. **462.** Sampson, E.E. (1993a). *Celebrating the other, a dialogic account of human nature.* Boulder, CO: Westview. **463.** Sampson, E.E. (1993b). Identity politics: challenges to psychology's understanding. *American Psychologist, 48:*1219-1230. **464.** Sandel, M.J. (1982). *Liberalism and the limits of justice.* Cambridge: Cambridge University Press. **465.** Sarbin, T.R. (Ed.). (1986). *Narrative psychology: the storied nature of human conduct.* New York: Praeger. **466.** Sarbin, T.R., & Mancuso, J.C. (1980). *Schizophrenia:*

medical diagnosis or verdict. Elmsford, NY: Pergamon. **467.** Sass, L.A. (1992a). *Madness and modernism.* New York: Basic Books. **468.** Sass, L.A. (1992b). The epic of disbelief: the postmodern turn in contemporary psychoanalysis. In S. Kvale (Ed.), *Psychology and postmodernism* (pp. 166-182). London: Sage. **469.** Schein, E. (1993). On dialogue, culture, and organizational learning. *Organizational Dynamics, 22:* 40-51. **470.** Schnitman, D.F. (1996). Between the extant and the possible. *Journal of Constructivist Psychology, 9:* 263-282. **471.** Schon, D.A. (1983). *The reflective practitioner: how professionals think in action.* New York: Basic Books. **472.** Schwartz, B. (1986). *The battle for human nature.* New York: Norton. **473.** Seeger, F. Voigt, J., & Waschescio, U. (1998). *The culture of the mathematics classroom.* New York: Cambridge University Press. **474.** Seikkula, J., Aaltonen, J., & Alakare, B. (1995). Treating psychosis in western Lapland: reflective processes and open dialogue instead of hospitalization and heavy medication. In S. Friedman (Ed.), *The reflecting team in action* (pp. 62-81). New York: Guilford Press. **475.** Selvini-Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G. (1980). Hypothesizing, circularity, neutrality: three guidelines for the conduct of the session. *Family Process, 19:* 3-12. **476.** Semin, G., & Chassein, J. (1985). The relationship between higher order models and everyday conceptions of personality. *European Journal of Social Psychology, 15:* 1-16. **477.** Senge, P. (1990). *The fifth discipline: the art and practice of the learning organization.* New York: Currency Doubleday. **478.** Shafritz, J.M., & Ott, S. (1987). *Classics of organization theory.* Chicago: Dorsey Press. **479.** Shapin, S. (1994). *A social history of truth.* Chicago: University of Chicago Press. **480.** Shapin, S. (1996). *The scientific revolution.* Chicago: University of Chicago Press. **481.** Sharan, S. (1990). *Cooperative learning.* New York: Praeger. **482.** Sheinberg, M., & Penn, P. (1991). Gender dilemmas, gender questions and the gender mantra. *Journal of Marital and Family Therapy, 17:* 33-44. **483.** Shorter, E. (1992). *From paralysis to fatigue, a history of psychosomatic illness in the modern era.* New York: Free Press. **484.** Shotter, J. (1980). Action, joint action and intentionality. In M. Brenner (Ed.), *The structure of action.* Oxford: Blackwell. **485.** Shotter, J. (1984). *Social accountability and selfhood.* Oxford: Blackwell. **486.** Shotter, J. (1990). The social construction of remembering and forgetting. In D. Middleton & D. Edwards (Eds.), *Collective remembering.* London: Sage. **487.** Shotter, J. (1993a). *Cultural politics of everyday life.* Toronto: University of Toronto Press. P. 180. **488.** Shotter, J. (1993b). *Conversational realities.* London: Sage. P. 58–9. **489.** Shotter, J. (1995). In dialogue: social constructionism and radical constructivism. In L.P. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism in education.* Hillsdale, NJ: Erlbaum. **490.** Shweder, R.I. (1991). *Thinking through cultures.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **491.** Simon, H. (1957). *Administrative behavior* (2nd ed.). New York: Macmillan. **492.** Simonds, R.H. (1959). Toward a science of business administration. *The Journal of the Academy of the Management,* 2:135-138. **493.** Simons, H.W. (Ed.). (1989). *Rhetoric in the human sciences.* London: Sage. **494.** Simons, H. (Ed.). (1990). *Case studies in the rhetoric of the human sciences.* Chicago: University of Chicago Press. **495.** Simonton, D.K. (1984). *Genius, creativity, and leadership.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **496.** Simonton, D.K. (1990). *Psychology, science and history: an introduction to historiometry.* New Haven, CT: Yale University Press. **497.** Sloterdijk, P. (1987). *Critique of cynical reason.* Minneapolis: University of Minnesotta Press. **498.** Sluzki, C.E. (1992). Transformations: a blueprint for narrative changes in therapy. *Family Process, 31:* 217-230. **499.** Smedslund, J. (1978). Bandura's theory of self-efficacy, a set of common sense theorems. *Scandinavian Journal of Psychology, 19:*1-14. **500.** Smedslund, J. (1988). *Psychologic.* New York: Springer-Verlag. **501.** Smith, B.H. (1997). *Belief and resistance.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **502.** Smith, D.E. (1987). Women's perspective as a radical critique of sociology. In S. Harding (Ed.), *Feminism and methodology.* Bloomingon, IN: Indiana University Press. **503.** Snyder, M. (1996). Our 'other history': poetry as a metaphor for narrative therapy. *Journal of Family Therapy, 18:* 337-359. **504.** Soyland, A.J. (1994). *Psychology as metaphor.* London: Sage. **505.** Spacks, P.M. (1995). *Boredom, the literary history of a state of mind.* Chicago: University of Chicago Press. **506.** Spector, M., & Kitsuse, J.I. (Eds.) (1977). *Constructing social problems.* Menlo Park, CA: Cummings. **507.** Spence, D. (1982). *Narrative truth and historical truth.* New York: W.W. Norton. **508.** Spencer, H. (1885). *Principles of psychology.* New York: Appleton. **509.** Srivastva, S., & Barrett, F.J. (1988). The transforming nature of metaphors in group development: a study in group theory. *Human Relations, 41:* 31-63. **510.** Srivastva, S., Cooperrider, D.L., & Associates (1990). *Appreciative management and leadership: the power of positive thought and action in organizations.* San Francisco: Jossey-Bass. **511.** Stearns, C.Z., & Stearns, P.N. (1986). *Anger: the struggle for emotional control in America's history.* Chicago: University of Chicago Press. **512.** Stearns, P. (1989). *Jealousy: the evolution of an emotion in American history.* New York: New York University Press. **513.** Stearns, P. (1994). *American cool.* New York: New York University Press. **514.** Steffe, L., & Gale, J. (Eds.). (1995). *Constructivism in education.* Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. **515.** Steffe, L., & Gale, J. (Eds.). (1996). *Alternative epistemologies in education.* Hillsdale NJ: Erlbaum. **516.** Stenner, P., & Eccleston, C. (1994). On the textuality of being. *Theory and Psychology, 4:* 85-103. **517.** Sternberg, R.J. (1989). *The ethnic myth.* Boston: Beacon. **518.** Sternberg, R.J. (Ed.). (1990). *Wisdom, its nature, origin and development.* New York: Cambridge University Press. **519.** Stewart, E.C. (1972). *American cultural patterns: a cross-cultural perspective.* Chicago: Intercultural Press. **520.** Stone, A.R. (1995). *The war of desire and technology at the close of the mechanical age.* Cambridge: MIT Press. **521.** Strati, A. (1992). Aesthetic understanding of organizational life. *The Academy of Management Review, 17:*568-581. **522.** Suddaby, K, & Landau, J. (1998). Positive and negative timelines: a technique for restorying. *Family Process, 37:* 287-298. **523.** Sugiman, R., Karasawa, M., Liu, J.H., & Ward, C. (Eds.) (1999). *Progress in Asian social psychology* (Vol. 2) Seoul: Kyoyook-Kwahak-Sa. **524.** Suleiman, S.R. (1986). *The female body in western culture: contemporary perspectives.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **525.** Sykes, C.J. (1992). *A nation of victims, the decay of the American character.* New York: St. Martins. **526.** Szasz, T.S. (1997). *The manufacture of madness: a comparative study of the inquisition and the mental health movement.* New York: Syracuse University Press. (Originally published in 1970). **527.** Taggart, M. (1985). The feminist critique in epistemoiogical perspective: questions of context in family therapy. *Journal of Marital and Family Therapy, 11:*113-126. **528.** Tavris, L.A. (Ed.). (1982). *Multinational managers and poverty in the Third World.* South Bend, IN: Notre Dame University Press. **529.** Tavris, C. (1982). *Anger, the misunderstood emotion.* New York: Simon & Schuster. **530.** Taylor, C. (1989). *Sources of the self.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **531.** Taylor, T. (1992). *Mutual misunderstanding.* Durham, NC: Duke University Press. **532.** Thatchenkery, T. (1992). Organizations as texts: hermeneutics as a model for understanding organizational change. *Research in Organizational Change and Development,* 6.197-233. **533.** Thatchenkery, T.J., & Pasmore, W.A. (1992). *Postmodernism and the learning organization: implications for the academy.* Paper

presented at the National Academy of Management Meeting, Las Vegas, Nevada. **534.** Thompson, A.A., & Strickland, A.J. (1992). *Strategic management.* Homewood, IL: Irwin. **535.** Thompson, C.J. (1993). Modern truth and postmodern incredulity: a hermeneutic deconstruction of the metanarrative of 'scientific truth' in marketing research. *International Journal of Research in Marketing.* 10: 32-338. **536.** Thompson, J.D. (1956). On building an administrative science. *Administrative Science Quarterly, 1:*102-111. **537.** Thompson, V.A. (1960). Hierarchy, specialization, and organizational conflict. *Administrative Science Quarterly, 5:* 485-521. **538.** Tiefer, L. (1992). Social constructionism and the study of human sexuality. In E. Stein (Ed.), *Forms of desire.* New York: Routledge. **539.** Tocqueville, A. de (1969). *Democracy in America.* New York: Doubleday. **540.** Tomkins, S. (1962). *Affect, imagery and consciousness,* (Vol. 1). New York: Springer. **541.** Tomm, K. (1999). Co-constructing responsibility. In S. McNamee & K.J. Gergen (Eds.), *Relational responsibility: resources for sustainable dialogue* (pp. 129-138). Thousand Oaks, CA: Sage. **542.** Torbert, W.R. (1991). *The power of balance: transforming self, society, and scientific inquiry.* Newbury Park, CA: Sage. **543.** Tu Weiming (1985). Selfhood and otherness in Confucian thought. In A.J. Marsella, G. Devos, & F.L.K. Hsu, (Eds.), *Culture and self: Asian and western perspectives.* New York: Tavistock. **544.** Tugendhat, C. (1972). *The multinationals.* New York: Random House. **545.** Turkle, S. (1995). *Life on the screen, identity in the age of the internet.* New York: Simon & Schuster. **546.** Turner, B.S. (Ed.). (1990). *Theories of modernity and postmodernity.* London: Sage. **547.** Tyler, S. (1987). *The unspeakable: discourse, dialogue, and rhetoric in the postmodern world.* Madison, WI: University of Wisconsin Press. P. 6, 59. **548.** Ulmer, G. (1987). *Applied grammatology. poste(e)-pedagogy from Jacuqes Derrida to Joseph Beuys.* Baltimore: Johns Hopkins University Press. **549.** Ulmer, G. (1989). *Teletheory/grammatology in the age of video.* London: Routledge. **550.** Usher, R., & Edwards, R. (1994). *Postmodernism and education,* London: Routledge. P. 93. **551.** Ussher, J.M. (1992). *Women's madness: misogyny or mental illness?* Amherst: University of Massachusetts Press. **552.** van den Berg, J.H. (1961). *The changing nature of man.* New York: Norton. **553.** van Dijk, T.A. (1989). *Elite discourse and racism.* Newbury Park, CA: Sage. **554.** van Eemeren, F.H., & Grootendorst, R. (1983). *Speech acts in argumentative discussions,* Dordrecht: Foris. P. 1. **555.** van Maanen. J. (1988). *Tales of the field.* Chicago: University of Chicago Press. **556.** Vernon, R. (1977). *Storm over the multinationals: the real issues.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **557.** vor. Glasersfeld, E. (1979). The control of perception and the construction of reality. *Dialéctica, 33:* 37-50. **558.** von Glasersfeld, E. (1988). The reluctance to change a way of thinking. *Irish Journal of Psychology, 9:* 83-90. **559.** Vroom, V.H. (1964). *Work and motivation.* New York: Wiley. **560.** Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes.* Cambridge, MA: Harvard University Press. P. 139, 142. **561.** Walkerdine, V. (1997). *Ethnomathematics: challenging eurocentrism in mathematics education.* Albany, NY: State University of New York Press. **562.** Walkerdine, V. (1998). *Counting girls out: girls and mathematics.* London: Falmer. **563.** Wallach, L., & Wallach, M.A. (1994). Gergen versus the mainstream: are hypotheses in social psychology subject to empirical test? *Journal of Personality and Social Psychology, 67:* 223-242. **564.** Wallach, M., & Wallach, L. (1983). *Psychology's sanction for selfishness.* San Francisco: W.H. Freeman. **565.** Warriner, C.K., Hall, R., & McKelvey, B. (1981). The comparative description of organizations: a research note and invitation. *Organization Studies, 2:*173-175. **566.** Wartenberg, T. (1990). *The forms of power.* Philadelphia, PA: Temple University Press. **567.** Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1967). *Pragmatics of human communication.* New York: W.W. Norton. **568.** Weber, M. (1958). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism.* New York: Scribner. **569.** Weick, K. (1995). *Sensemaking in organizations.* Thousand Oaks, CA: Sage. **570.** Weick, K.E., & Van Orden, P.W. (1990). Organizing on a global scale: a research and teaching agenda. *Human Resource Management, 29:* 49-61. **571.** Weingarten, K. (1991). The discourse of intimacy: adding a social constructionist and feminist view. *Family Process, 30:* 285-305. **572.** Weingarten, K. (1998). The small and the ordinary in the daily practice of a postmodern narrative therapy. *Family Process, 37:* 3-15. **573.** Wells, G. (1999). *Dialogic inquiry, towards a sociocultural practice and theory of education.* Cambridge: Cambridge University Press. **574.** Wertsch, J.V. (1991). *Voices of the mind: a sociocultural approach to mediated action.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **575.** Wertsch, J.V., & Toma, C. (1995). Discourse and learning in the classroom: A sociocultural approach. In L.P. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism in education.* Hillsdale, NJ. Erlbaum. **576.** West, C. (1993). *Race matters.* New York: Vintage. **577.** White, M., & Epston, D. (1990). *Narrative means to therapeutic ends.* New York: W.W. Norton. **578.** Whitley, R. (1992) The social construction of organizations and markets: the comparative analysis of business recipes. In M. Reed & M. Hughes (Eds.), *Rethinking organization.* London: Sage. **579.** Wiener, M., & Marcus, D. (1994). A sociohistorical construction of depression. In T.A. Sarbin & J.I. Kitsuse (Eds.), *Constructing the social.* London: Sage. **580.** Willmott, H. (1997). Management and organization studies as science? *Organization, 4:* 309-344. **581.** Wise, A. (1979). *Legislated learning.* Berkeley, CA: University of California Press. **582.** Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical investigations.* (G. Anscombe, Trans.). New York: Macmillan. P. 32e. **583.** Wittington, E. (1985). *Sometimes a shining moment: the Foxfire experience.* New York: Anchor Press. **584.** Wolf, W. (1958). Organizational constructs: an approach to understanding organizations. *The Journal of the Academy of Management, 1:* 7-15. 585. Wood, G.H. (1988). Democracy and the curriculum. In L.E. Beyer & M.W. Apple (Eds.), *The curriculum, problems, politics and possibilities.* Albany, NY: State University of New York Press. P. 184. **586.** Wood, T., Cobb, P., & Yackel, E. (1995). Reflections on learning and teaching mathematics in elementary school. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism in education.* Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. **587.** Wortham, S.F. (1994). *Acting out participant examples in the classroom.* Amsterdam: John Benjamins. **588.** Wortham, S. (1996). Are constructs personal? *Theory and Psychology, 6:* 79-84. **589.** Wykoff, G.S. (1969). *Harper handbook of college composition.* New York: Harper & Row. **590.** Yakkhlef, A. (1981). Outsourcing and the construction of accountable worlds. *Organization, 5:* 425-446. **591.** Yakkhlef, A. (1992) Call for special research forum: configurational approaches to organization. *Academy of Management Journal, 35:* 685-692. **592.** Young, K. (1997). *Presence in the flesh.* Cambridge, MA: Harvard University Press. **593.** Zimmerman, J.L., & Dickerson, V.C. (1996). *If problems talked: narrative therapy in action.* New York: Guilford Press.

Кеннет Дж. Герген
Лиза Вархус Стэнтон Уортэм Тоджо Тэтченкери

Социальная конструкция в контексте

Social construction in context

Автор вступительной статьи
доктор психологических наук
Анастасия Владимировна Микляева
(РГПУ им. А. И. Герцена)

Редактор перевода
кандидат филологических наук
Анна Аркадьевна Киселева
(Институт Прикладной Психологии, г. Харьков)

Главный редактор:	*Оксана Викторовна Гритчина*
Техническая редакция:	*Александр Владимирович Коченгин*
Перевод с английского:	*Анна Аркадьевна Киселева* *Юлия Сергеевна Вовк*
Компьютерная верстка:	*Андрей Юрьевич Каменев*
Дизайн обложки:	*«Гуманитарный Центр»*

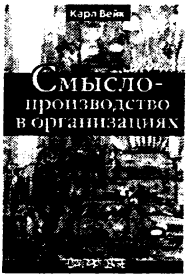
Свидетельство ДК №2009 от 10.11.2004

Подписано в печать 15.01.2016
Формат 60x90 1/16. Печать офсетная.
Усл. печ.л. 20,5. Тираж 1200 экз. Заказ № 71

Институт Прикладной Психологии
«Гуманитарный центр»
61002, Украина, Харьков
отдел продаж (Россия, Украина) тел. (057) 719-52-40
e-mail: huce@iap.kharkov.ua
www.iap.kharkov.ua

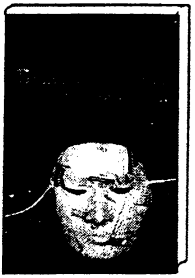
Отпечатано
в типографии «Полиарт»,
тел. (057) 759-11-35

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
представляет библиотеку по теме



К. Вейк. Смыслопроизводство в организациях

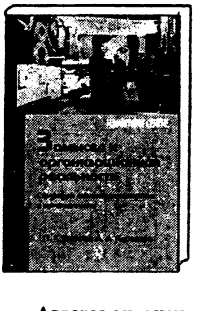
Смыслопроизводство... Каким бы непривычным этот термин нам ни казался, он является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это – процесс, через который люди придают значение своему опыту, и не только в обычной жизни, но и на рабочем месте. Смыслопроизводство в организациях требует от нас искать объяснения и ответы с позиции того, как мы видим что-либо, а не в структурах и системах организации. Карл Вейк – это широко известный ученый, прежде всего своим оригинальным подходом к формированию смыслов – стратегии, изменения, цели, планы, задачи и даже команды не существуют в организациях сами по себе; их источник – это человеческое мышление. Книга будет интересна всем, кто интересуется социальными науками.



Ф. Бомар. Подразумеваемые знания. Интуиция против неопределенности

Филипп Бомар иллюстрирует феномен чрезмерного доверия руководителей в условиях неясности очевидным планам, интерпретациям и явным, эксплицированным и кодифицированным знаниям. На примере четырех крупнейших в своих отраслях компаний он исследовал ситуации, когда им пришлось лицом к лицу столкнуться с кризисом. И он обнаружил, насколько важно в ситуации кризиса уметь управлять или, по крайней мере, снижать неопределенность. Традиционная, рациональная модель принятия решений игнорирует подразумеваемые и интуитивные процессы, которые часто имеют ключевое значение для успешного бизнес-результата. Эта книга «отслеживает неясность» и погружается под поверхность организаций, чтобы понять структурную основу знаний руководителей. Книга бросает вызов и становится бесценным ресурсом для исследования внутренней стратегии компании.

Книга найдет своих читателей, прежде всего, среди руководителей организаций, менеджеров, специалистов по работе с персоналом, маркетологов, рекламщиков, и среди всех тех, кто стремится превратить знания организации в уникальный и востребованный продукт.



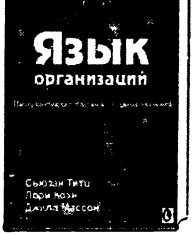
П. К. Власов, А. А. Киселева, В. П. Третьяков, О. С. Дейнека. Замысел и организационная реальность. Структура смыслопроизводства в организациях

В центре внимания авторов книги – концепт организационной культуры и замысла как креативного компонента процесса проектирования организаций. В книге представлен анализ теоретических подходов к исследованию организаций как социально-экономических систем. Особое внимание авторы уделяют месту и роли предпринимателя и анализу образа «предпринимателя», который формируется скорее под влиянием стереотипов и клише, и не реальных достижений и успехов человека-инициатора организатора.

С психологических позиций рассмотрена внешняя среда и представлены факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие организаций. Авторы подробно обсуждают влияние таких факторов, как экономическое мировоззрение, деятельность и ценности, а также разрабатывают типологию ценностей.

Авторы анализируют процесс производства смысла в организации, влияние дискурса на организационную культуру и реальность и искажение и идеологизацию замысла как возможный результат этого влияния. В книге предложены основные виды организационных интервенций и обоснована их практическая значимость и ценность.

Книга снабжена большим количеством примеров, практического и экспериментального материала и предназначена для специалистов в области организационной психологии и лингвистики. Она может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям соответствующих специальностей, а также для широкого круга профессионалов, которые занимаются проблемами управления и организационного консультирования.



С. Титц, Л. Коэн, Дж. Массон. Язык организаций. Интерпретация событий и создание значений

«Язык организаций» – это книга об интереснейшем процессе создания значений в организациях, который составляет основу управления, лидерства, корпоративной культуры, лояльности, решения проблем. Авторы новаторски применяют такие лингвистические категории, как интерпретация, метафора, дискурс, значение – к проблемам создания социальной и организационной реальности. Это дает новый взгляд и объясняет причины сложных организационных проблем. Книга представляет интерес для исследователей, практиков и руководителей организаций, а также для всех тех, кто интересуется проблемами языка в организациях.